УРАЛ

ДЕКАБРЬ |2011|

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

УРАЛ

Декабрь' 2011



**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

Издается с января 1958 года

**Государственное областное учреждение «Редакция журнала «Урал»
Учредитель Правительство Свердловской области**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ДЕТСКАЯ

Екатеринбург

БЕЗ ВЫМЫСЛА

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ЧЕРНАЯ МЕТКА

СЛОВО И КУЛЬТУРА

КРИТИКА ВНЕ ФОРМАТА

Юрий Могутин

– 56 по Цельсию

***

Что ни случилось — все поделом,
Все — по моим грехам.
Ругани ржавый металлолом
(Чтоб веселей пахал).

Страх уподобиться ковылю,
Овощу, резеде,
Быть в этой жизни равным нулю
Подстерегал везде.

Бог с ней, с карьерой! Я не о том,
Ни о каких чинах.
Просто обрыдло ходить гуртом,
Расчеловечиться — страх.

Страх оказаться вдруг не у дел
Подле чужого огня...
Перья макая то в кровь, то в мел,
Пишут стихи меня.

***

Вода чумаза, как мое сиротство:
За всю войну ни разу не был в ванной.
Лишь изредка в тазу у Мариванны
От вшей спасался, попросту от скотства.

Юрий Могутин (1937) — родился в семье дипломата, репрессированного в 1938 году и приговоренного к высшей мере, замененной 25 годами лагерей. Вместе с матерью был выслан из Москвы. Детство провел в эвакуации на Урале и в разрушенном войной Сталинграде. После войны учился в школе рабочей молодежи, работал разнорабочим на стройках по восстановлению Сталинграда, матросом на рыболовецком судне на Каспии, служил в авиации в Прикарпатье. Окончил историко-филологический факультет Волгоградского пединститута, преподавал в Забайкалье русский язык, работал в сибирских газетах. Впоследствии окончил Высшие литературные курсы. Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных публикаций в центральной и региональной печати. Живет в Москве.

Безумным оком недочеловека
Выхватывал распад мироустройства.
Мне повезло. Я выжил в бойне века
Среди бесхлебья, слежек и геройства.

А мы темны, беспамятны, поддаты;
Как тубик-зэк, закашлялась эпоха.
Наш мудрый вождь растаскан на цитаты,
Усы и трубка нам дороже Бога.

Но если я не сдох к семи годам,
Теперь вам пережить меня не дам.

***

В больничной палате, в чужом маскхалате,
В палате, где нас — как рабов на галере,
Гребу среди стонов на узкой кровати,
Учусь ежечасно терпенью и вере.

Меж смертью и жизнью здесь нет разногласий.
Пропитаны болью, пульсируют стены.
Болезнь ни больных, ни больницу не красит.
Поддатый прозектор выходит на сцену.

Меня, как и вас, разыграли по нотам.
Попавшим сюда не прорваться из круга.
И вы, либералы, и мы, патриоты,
Равны перед смертью и стоим друг друга...

***

Гитара трень да брень;
С кошелками старухи;
Сибирских деревень
Корявые кликухи.

Гитаре в унисон
Откликнулись баяны.
Похоже, что из зон
Выходят уркаганы.

И каждый здесь, как я,
Гоним и неприкаян
Средь беглых и ворья
И сам себе хозяин.

В расколотой стране,
В чужой, на вырост, коже
Я знаю не вполне,
Что с нами станет позже.

Окукливает мысль
Беды скупые свойства,
Пока крепчает смысл
В пазах мироустройства.

***

А со вчерашнего вечно непруха,
Суета сует и томление духа.
Вот и чешешь на Перекопскую,
Жлобскую или Гоп-стопскую
В цукермаркет Доры Цукерман
И, пока не пьян,
Запасаешь жрачку фабрики
Розы Люксембургской
Или Надежды Крупской,
Лимпопо в пальто.
А все что-то не то.
И во рту ощущение ваты,
А в мозгу не смолкает
Кто-то поддатый.
Над Престольной плывут кучевые волы,
Преизбытком небес завалило дворы;
У сугробов пролежни. Тусклый свет.
Гастарбайтеры гонят в шею снег.
Говорит Маклай:
— Худо, брат Миклуха!
Фуета фует и томленье духа.
Зверский климат здесь, я продрог...
И плывут к ним на облаках
Элефант и единорог,
Вид на жительство сжав в зубах.

***

С неба гуманитарная колкая вермишель,
А поутру колючая крупка секла;
В шапках столбы фонарные, дует в щель,
И хохломой покрылся Малевич окна.

В эту пору деревня сама себе не равна.
Ламп не включает, силы уже не те.
Зимним утром деревня, даже когда весна,
Печь разжигает ощупкою в темноте.

Печь небеленая в зеркале цвета льда.
Тьма, твою мать, и это способно жить?
Лед, однако, припомнит, что он — вода,
И заструится то, что пока лежит.

Двор беззаборный, твой безнадзорный дом.
Местный дурак с мотыгой наперевес —
Вышел полоть бахчу, покрытую льдом.
Неиссякаема вера в возможность чудес.

Счастлив дурак — слюнявую песню поет.
Смотрит деревня с улыбкой на дурака.
В небе не то архангел, не то пилот
Тщательно перемешивает облака.

Шорох крупки сменился шуршаньем струй.
Благословен в юродстве колхозный шиз!
Должен же быть настройщик у этих струн,
Чтобы настроить мир на любовь и жизнь.

Гипсовый горнист

Гипсовоглаз, как эллин,
Пьет из горла свой горн.
В теле, как и велели,
Пламенный, блин, мотор.

Фон написал Дейнека:
Горы, аэростат.
Первый горнист «Артека»,
Домны и Госкомстат.

Клятвы дают на верность
Гипсовые юнцы.
Веры их достоверность
В гроб заберут отцы.

Первый — Морозов Павлик,
Сдавший отца впервой,
Даже в учебник вставлен.
Но протрубит Второй.

Снегопад на Пушкинской площади

Каких еще вам надо аргументов?
Пришел. Нерукотворное воздвиг.
Явился с неба снег без документов
И свел на нет всяк сущий в нем язык.

Он падок был на груди. Шантрапа
Все норовила сунуть снег за лифчик.
И заросла народная тропа...
А он все шел. Знать, к Пушкину, счастливчик!

И некто пел в подземном переходе,
Как поплывет на белом пароходе.
А гений слушал сей пустой мотив,
На грудь главу печально опустив...

Прошли менты с жестокою зевотой,
Молчал поэт с чалмой на голове,
Но сообщал таинственное что-то
Заснеженным прохожим и Москве.

– 56 по Цельсию

А вчера река разучилась течь,
До весны карбас в ее тело вмерз.
Снеговей в гортань загоняет речь
И живьем с живого сдирает ворс.

Открываешь кран — а вода тверда,
Хоть совсем к шутам ее отмени.
Ни умыться тут, ни набрать ведра,
И насос в сердцах перегрыз ремни.

Бесполезный звук подо льдом возник,
Дребезжат ледышки на дне ведра.
Не пробьется свет в ледяной тайник.
Но в замерзшем времени нет вреда.

Серебрится день, изукрашен в лоск,
А еда тверда, как кремень-руда.
Потому что мир — мягкотелый воск:
Застывает вмиг среди льда.

Это явь иль бред? Или снится мне
Голос вешних птиц и оживших вод?
Будто звук живой долетел извне
И плывет ко мне пароход...

Хоть убей-казни, не возьму я в толк,
У кого когда занимал я в долг,
Снежной молью битый, железный наст?
Спой-ка песнь, где нет ничего про нас.

Дарья Симонова

Амнистия

Рассказ

— Иной раз, что греха таить, мне кажется, лучше написать плохое слово, чем сказать. Дабы не оскорблять слуха человеческого и Божественного, — улыбнулся, скривив лицо в уютную плюшку, преподаватель. — Глазам-то можно не верить... стереть, замазать, порвать. Но злоупотребление ненормативом все-таки не наш путь. И помните, легкомысленные господа и глубокомысленные дамы: надо быть беспощадным, чтобы описывать людей точно!

Этот засидевшийся в доцентах пожилой халтурщик вызывал ленивую симпатию. Игорь давно смирился с такими соскребателями халявы — хотя бы никого не подставляют. Добывают свой хлеб, как умеют, учат пустоте, но ведь и большего не обещают. Сам Игорь попал в эту аудиторию только потому, что старая боевая подруга от непредсказуемо христианских побуждений подарила ему на день рождения... курсы начинающих сценаристов. Она, конечно, извинялась за свою доморощенную оригинальность, за оскорбительную неуместность — нашла, мол, начинающего! Но не пропадать же добру. Досталась ей бесплатная оказия для узкого круга к кому-то приближенных, а ей она ни к чему. Игорек в славные времена, лет пятнадцать назад, писал — не дописывал киноповести: «Ведь было же, вспомни!»

Игорь не отпирался. Было дело, графоманствовал, приукрашивая выдумки приправой «кино-» из ребяческого понта. Восторженно выписывал никогда не виданные им пейзажи: в белесой дымке Арарат или ванильные рассветы Антиба. Да кто не грешен по молодости... но та струна, похоже, не порвалась, раз он принял навязанное благо. Послушался. Потрусил на окраину города, втянулся. Курсы меж тем назывались «Как сочинить Гамлета за 30 дней». Стыдно произнести. Затея с душком лихих девяностых. Но боевая подруга не старела душой, как ветеран, все крутила педали на тренажерах для мозга.

— Не смущайся, это всего лишь ассоциация с поговоркой «за неделю Гамлета на суахили можно перевести», знаешь, да?

Игорь кивал с вежливым демонстративным равнодушием. В ту осень ему было до омерзения одиноко в Москве.

Или это не его фраза и не про ту осень. Милка так говорила — а он не очень внимательно ее слушал. Точнее, давал ей выговориться после черной полосы, но не вникал. Они только-только познакомились тогда и еще не знали, чем обернется знакомство, и, как водится, на главное глядели вскользь. Зато теперь Игорь жадно выковыривал все детали, застрявшие в

Дарья Симонова — родилась в Екатеринбурге, окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Работала журналистом, корректором, редактором в различных изданиях Петербурга. Автор книг «Половецкие пляски», «Узкие врата», «Свингующие». Печаталась в журналах «Урал», «Новый мир», «Знамя», «Крещатик» и др. В настоящее время живет в Москве.

сгнивших резцах памяти, развлекал себя во время полусонной дороги на предпоследнем метро. Дрема, невольная игра пассажиров в бутылочку, когда бродячая пивная тара катается из угла в угол, — и шквалом обрушивающееся прошлое, и не отпущенный, не отмоленный грех. Все это Игорь пытался уместить в сценарный формат, и не понимал, зачем это ему, и одновременно возгорался неожиданно тонизирующим, бодрящим азартом. Хотя бы таким способом исповедоваться, выплеснуть, сознаться. Вальяжный доцент, ведущий курсы, дал задание: написать так, чтобы он, Его величество, поверил. Напоминало дешевое шоу, но чего ждать еще от свалившихся на голову гамлетовских курсов.

— Дайте мне откровение, удивление, слезу, хохот, — что угодно, но чтобы сама жизнь обрушилась... чтобы тряхнуло, и перевернуло, и навсегда бы меня сделало иным... как воду после крещения. Пусть это будет сыро и шероховато, пусть требует доработки — но красота замысла проступает. В общем, вы меня поняли.

Поняли и принялись кормить сырой «рыбой». Обыденная ловушка — позволение незавершенности. Здесь не прокатит прелесть этюда, фрагмента. И красота замысла не проступит, пока не пройдешь окончательные родовые муки. Нельзя родить ребенка наполовину. Поэтому Игорь подготовил свое болезненное творение одним из последних, зато оно было завершенным, даже излишне завершенным, — многие зевали, потому что приходилось слушать всех. Доцент, с полным правом позволяя себе непрофессиональный подход, перебивал, ерничал и делал вид, что учит динамике, агрессивному захвату интереса потребителя, — словом, «западному» прагматичному подходу. Без длиннот, статичностей и прочей зауми. Многие клевали на его шашни с аудиторией — как-никак лучшим обещали открыть дверцу в заветный киномир, оказать протекцию и разные другие сырные объедки из мышеловки. Ну-ну. Игорь лепил свою «красоту замысла» без столь смелых прикидок на будущее. Пусть будет, напишется, завалится за печку — а через века какой-нибудь Шлиман, прости Господи, откопает Игореву рукопись или инопланетяне расшифруют. Во всяком случае, лучше, чем ничего. Хотя бы в кругу друзей-неудачников оправдание своему краху. Потерпевший — лучший танцор, оправдание — готовый тост. Вот, господа, я использовал данный мне шанс, давайте выпьем за то, чтобы нас, как Баха, вспомнили через сто лет. Или хрен с ним, обнимем тростник и уйдем в хаос, ничем не потревожив вселенную?

Игорь написал. Теперь, изрядно отточившись с давних золотых времен, он не рисковал обозначать жанр. Никаких уже киноповестей и тем более сценариев. Просто история — а там хоть горшком назовите! История о происшествии, таком далеком и странном теперь...

Итак, неважно, сколько лет назад, Игорь, патлатый, заводной и неунывающий, был вынужден покинуть съемное насиженное гнездо. Цены взлетели, и назрело старинное бродяжническое решение найти компаньона, чтобы поделить ежемесячное ярмо на двоих. И что-то масть не покатила, и «подельник» в сети шел какой-то ненадежный, и мироощущение, как тонконогий треножник, зашаталось. В такие моменты легко запить, учитывая вредоносное межсезонье, но знакомцы бросили Игорю соломинку в виде «не мальчика, но девочки». То есть Милы, прихрамывающей барышни с дружелюбными глазами.

Говорят, Пророк влюбился в походку Айши, увидев ее впервые ребенком. Мила ходила так, словно ей это занятие непривычно. Словно она ходит по горячему песку. Словно она подросток, которого впервые вывезли на море. Подросток чахоточный, но выздоравливающий. И в этой обнадеживающей ноте все дело!

Хотя, впрочем, затяжные описательные цепочки — неизбежные шлаки сочинителя. Возможно, все куда проще. Просто бывает так, что недуг не настораживает, а располагает. В детстве Игорь обожал подругу родителей, справную хохотушку, страдавшую артритом, язвой, ревматизмом и даже туберкулезом костей. Некоторые женщины красиво и завлекательно болеют. Вокруг них клубится необъяснимая удача.

Мила милосердно завершила собой текучесть ненадежных компаньонов. Хотя воображение рисовало совсем иной фоторобот надежного соседа, который наконец-то будет без закидонов. Например, справный менеджер досемейного образца или тертый интеллигентный гастарбайтер, каких полно вопреки предрассудкам коренного населения столицы. Или даже молодая пара без претензий, почему нет? Игорь умел уживаться и делил пристанище со многими типажами. Но знакомцы порекомендовали Милу, и Игорь подумал: нехай, let it be, лишь бы не доставала. А то есть некоторые, брезгливо принюхивающиеся к пепельницам и случайно оставленным носкам в ванной. И никакая чистота намерений — в том смысле, что вот-вот собирался помыть-постирать, — их не убеждает.

Ладно, бытовуха за кадром, тем более момент тут спорный, потому что Мила была как раз из принюхивающихся. Но не осуждающих. Она замечала промахи и прощала. Но замечала! То есть платформа для напряжения имелась. И волну легкого беспокойства Игорь ловил, но не придавал ей значения, потому что Мила была совсем не опасной. Без двусмысленностей и ловушек.

— Неужели мальчики тоже боятся девочек? — смеялась она, когда Игорь рассказывал ей свои тайные мысли, а она признавалась в обонятельном шпионстве за ним и более тяжких подозрениях.

— Еще как! Но не все. Есть старые бойцы без страха и упрека.

— Голубые, наверное, да?! С ними, пожалуй, опаснее, чем с обычными мужчинами.

— Да почему же?! — изумлялся Игорь

— Потому что принюхиваться буду уже не я, а ко мне. Известное дело, они чистюли.

Совместное существование без совместной жизни — дело тонкое. Подчиняется оно порой неожиданным закономерностям и вряд ли приводит к пленительному результату. Разве что изредка, по прихоти рока. Как говорил общий приятель Милы и Игоря, с легкой руки которого они и сошлись под одной крышей, «бесплатная баба дороже обойдется». Это он о выгодах продажной любви, в которой сек не более, чем овца в теореме Гаусса, но теоретизировал густо. «Любовница дороже проститутки, жена дороже любовницы». Сам теоретик много лет уж не имел ни первого, ни второго, ни третьего. Жена, правда, маячила, но уже бывшая и рассерженная до крайности скупостью и вредностью экс-супруга.

— ...а он теперь работает Петрухой в ресторане «Белое солнце пустыни», — сообщила Мила. — Очень доволен.

— Кем-кем он работает? — удивился Игорь.

— Таким человеком в белой форме, в портянках, с игрушечным ружьем, который встречает посетителей, открывает им двери машины и оказывает всяческое почтение.

— М-да. Хотя почему нет... снобиссимо ему! Человечек этот всегда алкал бомонда и наконец получил его.

— Да, вот только вчера рассказывал, что нес огромный букет цветов, подаренный известной депутатше, и якобы ее ущипнул.

— Эротические фантазии у него такие же плоские, как птолемеевская модель Земли. А почему Петруху не могли выбрать помоложе?

— Там есть двое молодых сменщиков, но он считает себя лучшим.

В жизни всегда есть место социалистическому соревнованию, в этом Игорь давно убедился. Так вот, «Петруха» еще в лохматые годы стал пионером эмансипации. В том смысле, что выступал за финансовое равенство полов. Через него, зануду грешного, неисповедимыми путями Игорь получил Милу, отношения с которой начались с самой что ни есть паритетной основы. Все как мечтал жадный губастый Петруха. Но слишком поздно Игорь начал задумываться о том, такой ли уж вздор нес любитель депутатш. И, возможно, стоит принять материальное равенство априори, а не метаться от него к схемам традиционно патриархальным?

Кому как, а Игорь не решался. Когда женщина сама за себя платит и табачок врозь — может ли взрасти на столь прагматической закваске чувство? Понятно, что оно, как багульник, может взрасти на чем угодно. Но все же не противоречит ли это житейскому миропорядку? И не исключено, что любовное притяжение, которому Игорь впоследствии присвоил чуть ли не первое место среди своих страстей, — всего лишь тривиальное добрососедское любопытство... Ведь, живя рядом с Милой, Игорь знал ее глубинные, сокровенные подробности — но не знал куда более поверхностных слоев естества. Что порождало томление, и неловкость, и смутную тоску, и всевозможные сиюминутные, но цепкие догадки, от которых хотелось избавиться разом. А для этого путь один — спровоцировать близость. Благо, что это было нетрудно: Мила не из тех, кто упорствует в отказе, если мужчина ухаживает интеллигентно. Интеллигентность в данном случае — всего лишь ненавязчивость и необременительная степень великодушия. Иными словами, фикция. Но Мила не зрит в корень, она храбро идет в ловушку и честно мотает «срок». Срок любви, если угодно, пока не наступит амнистия. А пока она не наступит, то срок все длится и длится, потому что сердце человеческое — как в детстве избитый зверь — не идет в незнакомые руки.

Бог с ним. Все это к тому, что по тогдашнему недостатку опыта Игорь сомневался в том, что «удобные» отношения с Милой не суррогат. Сомневался на первых порах, а когда его уже закрутил любовный вихрь, сомнения вышли боком. Ныряя в стихию, надо сразу отдаваться ей, расслабленно и свободно. Даже самый крошечный осадок недоверия сковывает тело, мешает правильной траектории. Но... вот эту самую траекторию испортила жилищная предпосылка. Смазала впечатление. Игорю, идиоту, видите ли, не хватало поначалу спонтанности и непреднамеренности! По прошествии эпох и катаклизмов он понял, как был чудовищно не прав в своих сомнениях. Господь предоставил «удобство» как небесный подарок, а одаряемый тщательно осматривал зубы дареного коня. Стоит ли удивляться усталости Всевышнего после такой неблагодарности. Не понятая и не принятая адресатом удача горчит на губах у судьбы...

«Петруха» — вот кто оценил бы шанс по достоинству! Но зато цинично испортил бы красоту момента. Мысль о возможной близости Милы и этого брюзги представлялась мерзкой. Но так уж повелось: либо красота момента, либо его выгода. «Петруха» выбирал последнее. Теперь уж Игорь с ним соглашался и был готов последовать приземленной мудрости — только момент больше не возвращался.

Оставалось возвращать его мысленно. Самой сладкой была увертюра — лучшая часть наших романов, сродни пятнице, за которой еще два блаженных выходных. Сошлись компаньоны-соседи-любовники на общей теме. В угоду Миле, привязанной к страдальцам и гениям Серебряного века, и в частности, к беспощадной Нине Берберовой, тему можно было бы обозначить как «Люди и лоджии». К Берберовой, к ее писаниям и творению «Люди и ложи» возвращались неминуемо, когда намечались разногласия. Мила вообще любила примешивать к реальности разных именитых призраков и доживающих свой век патриархов, привлекать их в помощь своей ри-

торике, аргументы от них считала неоспоримыми и очень удивлялась тому, что для Игоря, бывшего не слишком в теме, они не авторитеты.

— Странно. Во многом ты разбираешься, как культурный человек...

Спасибо и на том. Во многом — значит, в мирском, в житейском. То есть не в ложах, но лоджиях. В хозяевах и их квадратных метрах. В старухах-процентщицах или милосердных попустителях, жадных рантье или рабочих лошадках, дельцах или благодетелях... Наконец, в соседях — красавицах и чудовищах. На одну красавицу сто чудовищ, увы! Тут как раз беспощадность — столь ценимая на гамлетовских курсах и присущая несравненной госпоже Берберовой, — как нельзя кстати. Страшные женщины квадратно-халатной комплекции заклевывают чужих птенцов. Таких, как Мила. Она, можно сказать, образец дичи для этих махровых тумбочек с тяжелой коридорной поступью. А уж эта поступь... Шаги по коридору, если вспомнить историю XX века, звук зловещий. Генетическая память его инстинктивно отторгает, тем более память чувствительных особ. Им не место в коммуналках, где шагают тетки, хранительницы традиций НКВД. Они тоже ходят и стучат в двери. Не ведут на расстрел, конечно, но смысл их существования тот же, что и у карателей: не давать свободы, вытоптать душу, посеять страх и безнадегу. Ведь коммунальные бои не приводят ни к чьей победе, борьба с хамами, скандалистками и алкашами сродни неравной схватке с режимом. Впрочем, столько спето об этом! Да и женская дедовщина — тема вроде бы известная, но для сценариев неудобная. Чернуха из моды вышла, — разве что устроить бурлеск, комедию в духе «Волшебной силы искусства».

Но Мила могла часами вспоминать о мытарствах по гарсоньеркам, «комнаткам для прислуги», как называла свои адреса. Выговаривалась Игорю, потому как уже мыслила его защитником своим. И надо признать, делала это небесталанно. Из жестоких теней вдруг неожиданно проступал выпуклый добрососедский образ. Скажем, муж Иры, добрый армянин. Просачивался сложный эпитет единым словом и начинал жить своей жизнью, и вот уже Игорю казалось, что в унылых коридорах одно спасение — пожилой кавказец и его жена, молочная, рязанская и добрая, и их темно-вишневая дочь с колокольным голосом. Чудесная семья, но не заправилы, конечно. Ангелы без полномочий. Они одни на сотню демонов. Но если бы их не было, то какой смысл вообще жить на свете?

— Тебе нельзя было селиться в таких ульях, Мила. Неужели не ясно?! Надо было искать такой же, как у нас, вариант, в складчину с подругами, с надежными людьми.

— Всякое было. Сам знаешь, случается затык, ищешь — и не находишь. Когда не надо — пожалуйста, ворох предложений. А понадобилось срочно — тишина. И еще такой чувствительный момент. Я его называю «запаздывание мировой энергии». После того, как ударили по рукам и деньжищи перетекли из твоего прохудившегося в тугой хозяйский карман, — надо, чтобы теперь не выскочил, как черт из табакерки, тот вариант, о котором мечталось. За неимением его в нужную минуту ты снимаешь что попало, то есть меньшее из зол. И опа — вдруг жирный алтын! Но деньги-то уже отданы, манатки перевезены... Потому лучше и не знать о том, что потерял, чтобы локти не грызть. Признайся, у тебя так бывало?

Игорь кивал и хмурился. Мировая энергия порой так чудит, что запаздывание — еще пустяк. Тревожило другое — Милу словно бы сглазили. Игорь стыдился за бабий жаргон, но слова точнее подобрать не мог. Чрезмерная незащищенность? Нет, слишком размыто и отсылает к тургеневским девушкам. Непрактичность, нерациональность? Тоже неточно: Милка при всей ее ломкости прошла огонь, воду — все, кроме медных труб, — и ведь ничего, живет. И запасы делает — правда, смешные какие-то, в пыльных мешочках, как знахарка. Но при простуде ее сыпучие панацеи, корицы-

мелиссы помогали. И силенки у нее есть, и интуиция, и уют навести умеет в духе позднего студенчества, но такое вокруг глаз безразмерное одиночество внезапно проступит, что руки опускаются! Чувствуешь — не по зубам тебе, Игорек, эти демоны, эти чудовища вокруг красавицы, что будут похлеще соседушек-хабалок. И в то же время обнадеживающая, «выздоравливающая» ее походка... Она ею шла к тому, кто ее согреет, и кого она согреет, и кто снимет с нее странное заклятье, из-за которого Мила слабела. На житейскую суету она тратила раз в десять больше сил, чем резистентная женщина, в халате или без оного...

Словом, Игорь с первого дня не мог деваться от странного чувства долга пред всей запаздывающей мировой энергией — за эту странную девушку. И этот долг, эфемерный и почти только слегка беспокоящий поначалу, — как кариес — разросся до ощутимо свербящей боли. Но — постепенно. Как любой хронический недуг, боль долго была еле заметной, терпимой, ей приписывались ошибочные причины вроде усталости и обычной для двоих, решивших жить вместе, притирки.

На этом этапе хорошее неизменно затмевает плохое. Рождаются те самые добрые приметы и счастливые символы, которые потом будут долгие годы скреплять союз — или останутся родимыми пятнами после расставания, а для особ чувствительных — рубцами. Особы чувствительные, конечно, запомнят, как Мила, цитату из Джерома К. Джерома: «Когда Джордж кончит жизнь на виселице, самым дрянным упаковщиком в мире останется Харрис». Лучше не скажешь о переездах, о вечной борьбе мужского и женского — ящиках или сумках. Мила была, как Джордж и Харрис, дурным упаковщиком, и вообще редкая представительница слабого пола в течение жизни может усвоить, что скарб должен иметь геометрически правильные формы, а не расплывчато-сумчатые. Посему Игорь не уставал цитировать «Троих в лодке», а Мила в отместку преподносила выдержку из диснеевского мультфильма. Что-то вроде: ложитесь, поспите «...и проснетесь здоровым, отдохнувшим чайником». Не где-нибудь, а именно в «Красавице и чудовище» есть такой персонаж — заварочный чайник. Сплошное переплетение символов. И каждая любовь состоит из цитат, потому что все происходящее у кого-то уже было. Кстати, если без гонора принять данную аксиому, то есть вероятность пережить нечто свое, особенное, — но так ли это необходимо?

Игорь не особенно размышлял о законах любовной композиции. В те недолгие месяцы он был далек от сценарных потуг и со спокойной иронией принимал пристрастия девушки-цитаты. То есть впускал в свою маленькую частную жизнь ветры титанических великих драм Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Сологуба, Ходасевича... — хотя незачем умалять классиков понурым перечислением. Да и Блока, конечно, с Любовью Дмитриевной Менделеевой. Последняя, правда, вызывала у Милы детское отчаяние.

— Почему она не отпустила Блока, не ушла сама, если гнездо не грело, семьи не получалось, а ведь все страдали — и она сама, и Александр Александрович, и хрупкий Боря Бугаев...

— А это кто такой? — переспрашивал Игорь по-профански, забив рот сочнейшей шпикачкой. Что поделать, как-то мимо него прошел один из самых животрепещущих любовных треугольников русской литературы.

— Андрей Белый, — вздыхала Мила, не упрекая за невежество, потому как ей было важнее донести суть своих всхлипов. — Это его псевдоним.

Игорь, дабы поправить свое покосившееся реноме, тут же отвечал набором банальных общих соображений, что, мол, от гениев не уходят. Мучают и мучаются до упора. Даже если второй тоже гений — все равно. Это как перейти в иную веру — для запредельных женщин. Словом, Игорь лепил что в голову взбредет — а Мила на беду свою, слушала очень внимательно. Пережевывала, соглашалась. Потому что считала, что мужчина все равно

умнее, даже если он не эрудит. У него мозг больше! Кажется, как раз в тот вечер первого диспута о превратностях Любови Дмитриевны Мила и Игорь стали более, чем компаньонами. Паритетная основа хрустнула. Даже самым расчетливым и трезвым любовникам сложно блюсти коммерческую дистанцию. И какое же блаженство послать эту дистанцию к черту! Но где блаженство, там и обратные стороны медали. Игорь запомнил запах крема для рук. Он нервировал его, потому что очень похоже пахло на бабушкиных похоронах. Укол, усиливающий ощущения.

Сенситивным натурам — проще говоря, чувствительным особам — необходимо недосягаемое и необъяснимое, как обывателю прогноз погоды. Так и Мила — могла неделями жалеть о погибшем цвете русской словесности. Однако назвать ее витающей в академических облаках было нельзя. Она обладала великолепной интуицией, но как человек, редко упражняющийся в корысти, не умела ею пользоваться. Ее второе «я», словно лишенное дара речи, брело за телом и отчаянно жестикулировало, подавая знаки, пытаясь предупредить и предсказать. Но Мила не оборачивалась. Она вела себя как тот, кто, чувствуя, что в темной арке его поджидает налетчик с кастетом, начинает напевать «Мурку»... и притом безмятежно идет в ловушку. Таким девушкам непременно нужен бережный штурман — толкователь бессознательных сигналов. Полноте, кому он не нужен...

Собственно, в том и весь Милкин «сглаз». Тогда можно считать, что все земные твари заражены в разной степени сглазом, как грибком. Вот на какие размышления подвиг Игоря злополучный крем для рук. А Мила моментально распушила у себя за спиной павлиний хвост своего мудрого, но немого интуитивного потока, образно говоря, запела «Мурку»:

— Знаешь, благодаря чему я поняла, что живу неправильно? Благодаря запаху. Когда совсем недолго прожила в одной комнатке. Такой малюсенькой, что пол в ней можно было помыть влажной салфеткой. Одна моя тамошняя соседка была совершенно шикарной барышней. Перед ее комнатой валялись лаковые туфли на шпильке. Такие красивые, но поверженные, опрокинутые. В сочетании с окружающим убожеством от них веяло тоской. И я не понимала — почему эта девушка, обладательница всего безупречного, живет здесь? А еще, когда она готовила, бывало, зайдешь на кухню, а там смесь сладких духов и аромата тушеной капусты... или, чего доброго, примесь чеснока! Представь: симпатичная блондинка в черном, голос с приятной хрипотцой, фигура, вкус... И подвозит ее кто-то на «Инфинити» цвета кофе с молоком. Ну зачем ей эта капуста?!

Игорь потом вставил в сценарий этот мимолетный эпизод, жалея, что кино не затрагивает обоняния, — зато со сценариста-любителя спрос невелик, он может нафаршировать свои экзерсисы хоть «Шанелью». Но это после, а тогда он рассмеялся:

— А по мне, так уютная картинка. Блондинка с капустой. И что за вопрос, зачем она ей, — чтобы кушать!

— Сколько можно кушать, когда пора действовать! Неужели ты не понял: она живет только ожиданием. Ожиданием того, что ее позовут в даль светлую, пятикомнатную. Ладно, пускай двухкомнатную, не суть. Главное, что она уверена в будущем и ради него терпит временные неудобства. А я тогда чего жду? Меня никто не подвозит на «Инфинити», мне не светит никаких гарантий. Тогда зачем я терплю все эти диссонансы жизни? Знаешь, я так пронзительно вдруг ощутила, что не надо терпеть, если все твое существо противится настоящему. Срочно выбирайся оттуда, где одиноко, тесно и даже запахи не уживаются друг с другом. И барышне я бы ждать не советовала. Мутное стекло со временем не прояснится. Если человек заставляет ждать и терпеть, скорее всего, с ним ничего не выйдет. Но у женщин своя политика: нельзя торопить, а то спугнешь жениха. Иллюзия! Кто смел, тот и съел.

— А сама-то ты хоть раз попробовала осмелеть?

Мила осеклась, но быстро справилась со смущением. Однако не важно, что она ответила, потому что Игорь и сам знал ответ. Да, она попробовала осмелеть единственный раз — с ним. Ее прозрение посредством шоковой ароматерапии случилось как раз накануне их встречи, перед тем, как она разделила с ним жилплощадь, а потом и ложе. Игорь собственной персоной и есть плод ее смелости. Единственный и червивый. Точнее, мутный.

Почему так? Потому что и его благосклонности пришлось ждать. Мила надеялась — именно надеялась, а не рассчитывала, а грань между этими ипостасями тонкая, — что ее бремя платы за жилье станет меньше или растает вовсе. С того момента, как они с Игорем стали друг другу «мужчиной и женщиной», а не соседями в складчину. Но... «шабадабада, шабадабада» вышла очень неловкой, и французская кинематографическая цитата была бы здесь неуместна. Здесь, конечно, больше подходят наши русские реалии, пусть и Серебряного века, но родные. Хотя куда нашему деревянному с долларовой плесенью веку до серебра!

В общем, Игорек оказался не на высоте. Видит бог, он не пожадничал, но и у него случилась тонкая грань. Во-первых, не потянул он так сразу. Достаток не поспевал за любовью. Во-вторых, взыграла деликатность, плавно переходящая в малодушие: вот так сразу — и предлагать платить за нее?! Намек на продажность в этом почудился: дескать, если предложить это, стало быть, намекнуть, что она к этому сама вела? Еще нельзя забывать, что подлая мыслишка о том, что так оно могло и быть, промелькнула. Хотя в тот момент Игорь торопливо замял в себе гнусные подозрения. Нет-нет, инициатива целиком была на его совести. Но опытные старшие товарищи всегда напирают на женское коварство под личиной хрупкости и наива. Эта личина — непременное пугало их историй, словно ограбление, называемое на жаргоне «на плечах». Старая, но надежная разводка для доверчивых — даже лень ее пересказывать. Звонок в дверь, подходишь к глазку, видишь в нем девушку в халате, которая представляется новой соседкой и лепечет о помощи. Отвратительно, что и дети могут вплетаться в ее аргументацию, и тогда — пропал добрый лох. Он отворяет дверку и огребает по полной от добрых молодцев, что прятались сбоку.

Даже в преступной схеме неблаговидную роль играют все те же тетки в халатах. Зерно, посеянное Милкиными рассказами, проросло — у Игоря появился устойчивый рвотный рефлекс на безобидную домашнюю одежду. Он даже не женился до сих пор из-за своей идиосинкразии. И женщина была подходящая, и срасталось все, вплоть до квартирного вопроса, — но эти ее халаты испортили все дело. А ведь она мнила их орудием соблазнения. Ох... ради бога, но только в следующей жизни. В нынешней остался шрам. И пусть за это бегство чуть не из-под венца Игоря проклинали близкие друзья, родственники, а также упомянутые нудные старшие товарищи и весь клан несбывшейся невесты, но жених не нашел в себе сил одуматься и вернуться. Мила проросла в нем ненавистью к халатам, проросла и аукнулась, отомстила.

Однако прочь лирические отступления, они совсем о другом времени и месте. Прежде чем мстить столь окольно и непреднамеренно, Мила долго терпела и ждала. Любила. Какое-то недолгое время они с Игорем совпадали на все сто. Есть неопровержимый признак подлинности потрясения — от страсти почти не осталось вещественных доказательств. Великие события частной жизни почему-то не оставляют материального следа — как сгоревшая лужица спирта на журнальном столике. От самых любимых людей, ушедших из поля зрения, исчезнувших или умерших, — ничего на память, в лучшем случае безделица, которую никак не приспособить в хозяйстве. Дырявый шарфик или кассета с таким же рваным джазом, которую и про-

слушать уже не на чем, или часы, не поддающиеся починке. Даже ни одной путной фотографии — чисто метет судьба. А быть может, Игорь — исключение из правил, и причина в том, что он слишком хороший упаковщик, отсекающий все лишнее, даже драгоценное лишнее?

Зато остаются фрагменты на внутренней непрерывной кинопленке. Один дождливый день, из тех, чья избранность логически необъяснима. Одна страница, вырванная из книги... Пошли вместе в магазин, купили ватные палочки для ушей, какую-то полуфабрикатную снедь, чтобы долго не готовить, — бифштексы, щедро сдобренные пятнышками петрушки и укропа, рис, сахар, веточку винограда, — и одно пирожное шмякнулось на пол, но не растворилось бесславно на слякотном полу — его подъел энергичный и напряженный от интереса к миру молодой стаффордширдский терьер. Пошел мокрый снег, и все вдруг изменилось, захотелось смотреть кино, зашли в соседний ларек с аудио-видео, и молодой продавец с серьгой в виске не знал, кто такие Танго и Кэш, что простительно, и Мила все равно хотела другой фильм. В результате зацепили какую-то махровую классику вроде «Касабланки» и «Джентльмены предпочитают блондинок», вышли на свет божий — а там ветер, снег, вполне живописное ненастье. Игорь даже озяб и, наклонив голову, пытался застегнуть молнию на куртке, но никак не мог попасть в пазуху бегунка от слезившихся глаз. А дома немного помучились с Милкиным недомоганием, у нее заболел по-женски живот, и она стремилась его греть, а Игорь настоял, что в таком случае надо, напротив, прикладывать холод — неужели она этого не знает? Но Мила настаивала на том, что ее организм подчиняется немного другим законам. Игорь наковырял льда из формочек в морозильнике, сложил их в пакет и положил Миле на живот. Она лежала с печальным и покорным видом, пока талая вода не начала просачиваться из маленькой дырки и стекать на простыню. Потом боль утихомирили таблеткой, примирились на фармацевтической пользе и стали смотреть старинные киношедевры. Обычный выходной. Оказывается, счастливый...

Мила любила повторять, что лучшие моменты жизни должны «настояться», чтобы получить свой почетный статус:

— Однажды для поднятия настроения мне захотелось вспомнить свои «самые любимые дни». Такие... ничем не замутненные, понимаешь? И я нашла их! Два — точно. Не в детстве, нет — это было бы слишком просто, а в недалеком прошлом. И это абсолютно не похожие друг на друга события. Одно из них — просто спонтанная вечеринка, каких миллион случается. Но в ней была неуловимая изюминка — единение со всеми вокруг, благодатная почва для симпатий и удивительная вседозволенность лично для меня. Резвись — и никто тебя не одернет, и никто не перебивает, и ни за кем не надо следить, чтобы не напился. Короче, праздник Маугли. Много новых людей, с которыми я поехала в незнакомый дом, где слушали бесконечно один хит сезона. Точнее, один парень переводил его с английского специально для меня и поправлял произношение, терпеливо поправлял, без гонора, хотя это бесполезняк, ты знаешь, у меня артикуляция настроена на романские языки. И сколько бы я его ни просила — он послушно повторял снова и снова. Может, секрет в том, что тебе как младенцу разрешают бесконечно выбрасывать игрушку из кровати, и кто-то любящий и терпеливый ее подбирает? Впрочем, нет, это редкое мгновенное слияние интересов. И что немаловажно, ни к чему не обязывающее. Заметь, никакой любви там у меня не началось — но это было лучше, чем любовь. Фантастическая точка пересечения любви и свободы. Кто бы мог подумать, что я буду вспоминать тот день как подарок! А название песни переводилось как «Я увидел тебя танцующей», кажется...

— А другой день?

— Тут тихая радость: мама купила мне торт с желтым кремом в честь моего поступления в университет. И все, обрыв пленки. Только сладкое желание вернуться в кадр. Это странно: из универа я быстро перевелась в другой город, крем с красителями давно мне противен, а вот поди ж ты, вспоминаю... Может, все дело — в невозможности объяснить?

Игорь кивал, хотя думал иначе. «Лучше, чем любовь» — в этом причина. Для Милы любовь — трудная работа. До Игоря у нее был долгий и трудный роман, описание которого органично вплетались в бури Серебряного века. Потому как на всю эту литературщину ее подсадил любимый мужчина из породы книжных исследователей, для которых люди-легенды, несомненно, ценнее, чем все прочие. Звали его Семен, он же Сёма, Сэм и Семэн, к чему Мила неизменно прилагала, естественно, цитату: «Семэн, засунь ей под ребро». Водилась якобы за ним эта нехитрая кликуха, которую мог себе любой Семен присвоить. Тип интересный, эрудированный и по-своему невыносимый. Нет, это никак не выделяет его среди прочих — у каждого свои пороки. И разве не стоит быть благодарным тому, кто открывает для тебя миры? За это он много чего требует взамен, но иначе и быть не может. Мила так и не сбросила своего обидчика с пьедестала, хоть он ее и прогнал. Игорю почему-то эта гигантская тень из прошлого совсем не мешала. Она даже инфернально украшала и обостряла реальность, как статуя Будды.

— Он говорил: чтобы помолодеть, надо читать Цветаеву. Есть поэты для юности, для зрелости и для позднего просветления. Семэн фанатично верил, что эта классификация не условность. Магия слова даже морщины разглаживает. Но... как Сэм не уставал предупреждать, проявляются и прочие, уже отягчающие обстоятельства. Ведь молодеть опасно. Молодость — не только свежесть тела, это еще и перепады настроений, болезни роста, уязвимость физическая и душевная, суицидальные порывы, страх, что тебя не любят, муки выбора, ссоры с родными, сомнительные знакомства, первые предательства, непонимание близких, космический ужас одиночества... Сэм говорил, что женщины рвутся помолодеть, потому что у них короткая память. И что надо любить свои морщины. Но это как раз не новость. Все равно многие с его подачи увлеклись стихами Марины Ивановны. Даже, представь себе, консьержка!

— И что — она сильно помолодела?

— Как тебе сказать... она получила роль в фильме. Неожиданный поворот! У Сэма во дворе снимали кино, и нашу тетю Василису сняли в эпизоде. Мы думали, это лажа какая-то, но Сэм мне рассказывал, что бедолага теперь реально мелькает в сериалах.

Пока Игорь с Милой вели речь о непредсказуемом воздействии поэзии на консьержек, о радостях и сложностях любви, об алхимии земного счастья, о капусте, дорогих машинах, лакированной обуви, халатах, мутных стеклах — пока они упоительно жили в унисон, над ними сгущалась туча. Она пришла с той стороны, с которой надо было ожидать, но Игорь позволил Милкиным цитатам и своему неизбежному киноэскапизму затуманить бдительность. Даже теперь, нашпиговав свой квазисценарий милыми подробностями, он не решался перейти к кульминации. Хотя если бы не она, то не стоило бы и ворошить заурядный роман, каких тысячи у малых сих.

Итак, вместо эмпиреев надо было бить тревогу под единственно верным слоганом незабвенного Бернса в исполнении Калягина. Любовь и бедность, конечно! И никакая не свобода. И приземленный исход. Чувственный наплыв влегкую снес хлипкое материальное равновесие. Мила потеряла работу. А Игорь — часть заказчиков. Не то чтобы он ушел в разгул и безделье, но перестал цепляться за сферу поденного ремесла. Она сразу ответила ему взаимным охлаждением. Не в пример ей разгорячилась арендная плата за квартиру. Хозяйка квартиры, подозрительная ведьма, насторожилась, когда

Игорь два месяца подряд просил отсрочки платежа. Точнее будет сказать другое: старуха почуяла коммерчески невыгодную ей любовную связь. И поднесла к злому глазу гипотетический монокль, чтобы разглядеть поближе кандидатку на уничтожение. До сего момента она и знать не знала Милу, и в квартиру не наведывалась. Игорь встречался с квартировладелицей в метро либо изредка заезжал к ней домой. Она забирала деньги и жаловалась на тяготы и заботы современной старухи-процентщицы. То бишь пенсионерки-рантье. Увидев ее впервые, Игорь и его тогдашний компаньон, хлипкий ботаник, прониклись скоропалительной надеждой на то, что дама преклонных лет и немощного здоровья не станет большой помехой своим квартирантам. Так и было до недавнего времени. Старуха если ворчала, то умеренно. Смена Игоревых напарников ее не смущала, пока не била по карману. Теперь же Игорь узнал разные лишние для него подробности о том, что муж хозяйки в своем институте зарабатывает ничтожно мало, сын лодырь и наказание семьи, а сама она больна всем списком смертельных болезней. И не стоит думать, что при таких обстоятельствах она может позволить себе роскошь благотворительности в адрес пары без неопределенных занятий. «А эта девушка — она кто? Она не наркоманка? У нее есть прописка?..» Конечно, девушка для ведьмы — всегда корень всех зол. У нее срочно надо отобрать красоту и рыцаря. В нынешних реалиях делается проще — отказ от дома без объяснения причин, и трепетное благополучие принцессы рушится само собой.

Мила не бездействовала и не безмолвствовала. Она делала что могла. Но у нее не получалось. Борьба с ведьмами — не ее стихия. Экстремальный режим, связанный со срочным изыманием из запаздывающей мировой энергии определенной суммы денег, не всякой барышне под силу. Для успеха в этих делах надо заматереть и закалиться. А Мила растерялась и, конечно, возлагала надежды на мужчину. Что Игоря, как ни стыдно теперь в этом признаваться, раздражало. Сколь бы ни было силы в волшебных рыцарских мечах, в острый момент хочется видеть рядом боевую подругу, а не субтильный кладезь культурного наследия. Игорь и без того брал все на себя — могла она хотя бы быть благодарной?! Мнения опытных и неопытных, старших и прочих товарищей по данной коллизии разделились. Одни считали, что назвался груздем — надевай лямку материальных забот. Другие... имеет ли смысл воспроизводить реплики от лукавого? Понятное дело, что всегда есть отходные пути оправдания. Вина — это зверек, которого мы все мечтаем сбыть в хорошие руки, где он надежно устроится на длительный срок. И руки век пребудут виноватыми. Мила — лучший кандидат на эту участь.

Может, вышло бы иначе, не взыграй в Игоре гипертрофированный комплекс защиты, от которого он перенапрягся и в сердцах счел: «Гори оно синим пламенем!» Будь он спокойней и расчетливей, он уговорил бы Милу не рвать по живому, не собирать в истерике вещи и с пониманием реагировать на фразу: «Временно поживем отдельно». Ведьмушка ведь не успокоилась, завысив сумму. Это была только первая ласточка, первое злодейство. Вторым — уже не ласточкой, скорее стервятником, — стал «конец фильма». Требование покинуть квартиру в течение недели. Даже месяца не дала гадина. Хотя Игорь ездил к ней, падал в ноги, уламывал и взывал к милосердию и человеколюбию. Но бабка, видно, плотно запаниковала, ударилась в маразм, путалась в показаниях, подкрепляя свое решение то внезапной женитьбой сына, то общим повышением цен, о коем ей поведала знакомая риэлторша.

Игорь приехал после поражения измотанным, но держался. Хотя он не ожидал столь глухого фиаско, до сей поры не сомневаясь в своем навыке убалтывания. Срочно обзвонил пол-Москвы в поисках временного пристанища, лазеек, нор и неожиданных решений. Предлагал Миле какие-то не-

вообразимые избушки лесника. Срочно возобновил даже самые эфемерные рабочие контакты. Пока он действовал, любимая обреченно молчала. Она видела только одну грань происходящего, самую пессимистичную, гнусную и лживую, которая, видно, проступала сквозь Игореву бурную кампанию по спасению утопающих. Может, он и обронил предательское словцо в одну из перепалок. Мила тогда вспылила на фразу «Все в доме зависит от женщины». Расхожий штамп, в который, признаться, Игорь верил и теперь. Хотя, наученный горьким опытом, держал свои гендерные заблуждения при себе, ибо не принесли они ему счастья. Мила мало того, что не пропустила мимо ушей несвоевременную банальность, — в ее воображении она мутировала и предстала в новом качестве. В результате, как змея из черепа, выползла главная червоточина конфликта: Мила уяснила, что Игорь косвенно винит ее в жилищной неурядице. Не случись этой встречи, жил бы парень, не тужил. Но появилась девушка, «порченая», невезучая, и ее захотелось спасти, и задача оказалась слишком сложна, не готов он оказался с места в карьер, без клятвы и венца, быть вместе и в горе, и в радости. Так ведь?

«Капустная» блондинка, которую никак не мог окончательно предпочесть джентльмен на «Инфинити», убедила Милу, что мутное стекло не прояснится. И посему никаких промедлений там, где тебе плохо. Согласно усвоенному принципу Мила и поступила. Она не стала ждать, пока Игорь найдет аварийное гнездышко для их страсти, — а он его все-таки нашел! Но вселился туда один. Потому что Мила вернулась к Сэму. Он ее принял. Вполне интеллигентская переменчивость: шлюзы закрываются, шлюзы открываются. Тем более что воспитателю консьержек потребовалась помощь в написании революционной диссертации по женским типажам у Брюсова.

— Да, о параллели «Рената — Нина Петровская» и без того много написано и сказано, но Сэм нашел очень необычный и главное — практически применимый угол зрения, — сообщила Мила, задыхаясь от садистски радостного возбуждения.

Она ведь честная была, ничего не скрывала, подала свой уход как подарок, избавление от лишних хлопот для запутавшегося Игореши, такого необразованного, никчемного, слабого. У него ни квартиры, ни гуманитарной эрудиции, и он тщетно притворяется всемогущим. А я, дескать, не такая уж и гусыня, раз мне нашлось место под солнцем и без твоих потуг вперемешку с попреками!

Издевательские сентенции — разумеется, Игорева расшифровка мизансцены. У Милы была своя правда. Обычное скрещение правд. Эх, Мила, Людмила Алексеевна, душа бедовая. Нашли вы — опять цитата, если угодно, — не место под солнцем, а пустили вас погреться на чужое полотенце. До первого похолодания, душенька, до первой грозы...

Не мировая энергия запаздывает, Мила, а ты торопишься.

...Обошлись на прощанье без ликбеза, хотя Игорь, разумеется, не читал «Огненного Ангела» и был не в курсе, кто такая Петровская. Ему и без нее хватило потрясений. Через три дня он, донельзя издерганный и пропащий, убил человека...

— О, достоевщинка пошла, — оживился доцент, предвкушая почву для глумления.

Аудитория зашевелилась, взбодренная репликой, а Игорь попытался похохмить в ответ, чтобы не заметили главного: сюжет-то провис в финале! «Достоевщинка» вышла бледная, не проявленная и убедительно звучала лишь в уединении, когда Игорь вспоминал, как все было в действительности. Публичное чтение катастрофически уничтожало пафос. Убийство было неоконченным, летальный исход не был зафиксирован, хотя вероятность была высока.

Однако к делу! В момент, когда все совершалось, Игорю было не до воздействия на читателя. После ухода Милы он толком даже не запил — от горького изумления и усталости. Если бы выхлестнулся алкогольным способом, может, и обошлось бы.

Он кое-как перевез вещи, что-то сбагрив друзьям, что-то — из бесценного лишнего, конечно, — снес на помойку. Пришел сдавать ключи ведьме. Душа кипела против нее, но Игорь держал себя в руках. Поздно было пить «Боржоми», когда почки отвалились. Еще немного — и попрощались бы хмуро. Но хозяйке приспичило зафиксировать сохранность своего барахла. Она рыскала по пустынной, осиротевшей квартире и вдруг озаботилась пропажей двух любимых тазиков, которые так удачно входили под ванну. Игорь знать не знал, о чем речь, и не собирался балансировать на грани абсурда. Но старуха разнылась, и стало понятно, что она всерьез подозревает злой умысел со стороны постояльцев. Умыкнули ее тазики! Но это еще не предел гнусной низости: она стала ни с того ни с сего поносить Милу. Нашла крайнюю! Почуяла, тварь, что на Игоря не удастся «повесить» кражу проржавевшей тары, в которой еще при культе личности панталоны замачивали.

Есть такие моменты, когда руководствоваться моралью и расплывчатыми кодексами чести — попирать святое зерно справедливости, которое Господь все же изредка посылает на Землю. Игорь понял, что на сей раз прогибаться перед исчадием ада, пусть даже в обличии немощной старухи, он не будет. Наступила точка росы. Что-то праведное и великолепное на грани наслаждения поднялось в нем, когда он заехал хозяйке в челюсть. Она както сразу ойкнула, осела, словно осыпалась, силясь что-то сказать. Словно бы пошла на попятную и хочет просить прощения. Знакомо. Темные, жадные и пустые натуры изводят человека из-за пятна на скатерти, зато отборную жестокость как будто даже уважают. Но теоретизировать по части мерзких психотипов у Игоря не было никакого желания. Он ударил не столько старую женщину, сколько причудливого молоха сознания, что сочиняет все эти удавки долженствования для девочек и мальчиков, все эти тотальные «зависимости» от женщины и каменные стены из мужчин — кормильцев и защитников... Одним словом, Игорь сокрушал нечто, что превращает любящих и молодых в старых и одиноких.

Убил ли он при этом человека? Кто знает, хозяйка уже на ладан дышала. В преклонном возрасте, при неважном состоянии здоровья, разума и совести даже заноза может повлечь необратимые последствия. Но ждать сих последствий, равно как вызывать старухе врачебный консилиум, не входило в планы Игоря. Он ушел, предоставив судьбе выбор, в мстительной горячке прокручивая мотив: «Что сказать вам, москвичи, на прощанье...» Вспомина-а-а-йте нас! — без киноцитаты никуда.

Потом, когда аффект остыл, пришлось потерзаться. Многие годы горчил привкус злодейства. На немощную, безоружную женщину руку поднял, Раскольников хренов! Но и другой привкус остался: получай, фашист, гранату! Тварь я дрожащая, но право имею. Вот, собственно, и конец фильма. Финал провисает, нет мощного заключительного аккорда. Доцент, должно быть, не убежден. Его не «тряхнуло и не перевернуло». Он сидит, задумавшись о своем. А выступающий уже готов сослаться на опрометчиво отвергнутое им в начале марафона позволение незавершенности.

Знал бы Игорь, каков он, завершающий аккорд! Но доцент, этот «пожилой халтурщик», не собирался ему открывать собственную осведомленность. Он и себе в ней не очень хотел признаваться, срочно абстрагируясь от правды. Это он умел. Милостиво и без объяснения причин причислив Игоря к избранным, которых попросил зайти к нему на «прицельный раз-

говор» на следующей неделе, доцент попрощался с уставшей аудиторией. И побрел по пустынным улицам к метро, размышляя. О пугающей стройности сложившегося сюжета. О своей умершей и нелюбимой жене, которую он даже пытался усовестить тогда: мол, оставь ты ребят в покое, пускай живут. Утрясутся как-нибудь с деньгами, ведь ты еще другую хату сдаешь, что тебе, мало? Но его жена... с возрастом мы все лучше не становимся, однако у нее, похоже, развивалась старческая паранойя. Ведьма... В последние годы, прости Господи, от нее несло мертвечиной. Она как огня боялась детей и животных. А ну как квартиранты начнут размножаться на ее территории, и тогда не выгонишь их поганой метлой! Когда парень к себе подселил девку, тут женушка и насторожилась. Этого она стерпеть не могла, все ей чудились страшные иногородние звери, что только и жаждут наплодить нищету и внедриться на ее законное московское наследство. Но доить «зверей» нещадно считала своим святым правом. Как же, квартиры не должны простаивать! На сына наговаривала, не могла простить ему женитьбы на хохлушке. Тот правильно сделал, что от матери отгородился, иначе засосала бы его в свою трясину. Словом, доцент, брезгуя жениными делами и супружеским долгом — давно имел на стороне, — так и не поверил стонам супруги. Она действительно после того эпизода с ударом быстро угасла. Проблемы с сердцем, инсульт и прочий анамнез. Доцент счел миазмами затуманенного сознания, когда супруга назвала виновного. Опять, мол, твои фобии, ужасы про понаехавших. Отправил жену в больницу. А после ее смерти плотно сошелся с аспиранткой. Так одна разрушенная любовь дала зеленую улицу другой, убрав серьезное препятствие. Во сюжет! Как говорил нынче этот... как его, Игорь, — сплошная киноцитата! Достоевщинка-шекспировщинка. Может, он украл чужую историю — в смысле, не про себя писал, рассказал ему кто... Не раскольничий вид у сочинителя. И как-то не с руки с ним дело иметь, если он тот самый...

Кстати о понаехавших. Может, нынешним квартирантам пора поднимать цену?

Игорь тоже шел к метро. И по тем же улицам, но медленней, поодаль, и думал совсем о другом. Никак не мог понять, опустошенный он или окрыленный. «Прицельный разговор» на следующей неделе — все же хороший знак. Но странный. Никакого резюме, обсуждение смазано. Что-то не так. И тема не отпускает, в воображении проносятся варианты сцен, фантазии переплетаются с воспоминаниями, и так не хочется оставаться с ними наедине. Может, приписать сцену встречи с Милой несколько лет спустя? Пусть избито, но жанр того требует. Что греха таить, он и в жизни не отказался бы от этой встречи. Итоговое слово так и не сказано. Хотелось попросить прощения у девушки-цитаты. Как водится, за все. Сейчас Игорь очень хорошо понимал, почему Мила ушла. И правильно сделала, что ушла. Общность интересов плюс квартира. Весомые аргументы. Она, к примеру, могла бы ответить Игорю его же словами: «От гениев не уходят. Даже если второй тоже гений». А потом они вспомнили бы Джорджа и Харриса и на этой оптимистической ноте рассыпались бы, как два осколка, чтобы уж никогда больше не встречаться. «Засим прощаюсь, Игорь, жертва твоих литературных цитат. Даже не представляешь, до какой степени жертва...»

И все же отпустило. Словно амнистия получена. Камень с души упал, и пока он где-то в районе желудка, но постепенно рассасывается. Не посетить ли Игорю в связи с этим одну особу? У нее свои тараканы, и вместо канонического фото Ахматовой, Гумилева и маленького Льва господствует другая семья: Джон, Йоко и маленький Шон. Что поделать, всякая уважающая себя барышня помешана на какой-нибудь легенде.

Максим Калинин

Сонеты о русских святых

Часть вторая

Преподобный Марк Печерский

Конец 11 — начало 12 века (после 1090 — до 1125)
(память 29 декабря)

I

«Почто копаешь тесные каморы,
Печерник Марк? Ведь не могила — срам!» —
«За немощью...» — «А как прикажешь нам
Поправить погребальные уборы?
Возлить елей?» Суровы старцев взоры.
В ответ промолвил Марк святым отцам:
«А если мертвый справится и сам?
Попробуй, брат». Утихли все укоры.

И тут покойный приподнялся вдруг, —
Шептала тьма уныло и бессвязно, —
Взял масло у Печерника из рук
И на себя возлил крестообразно.
Поправил саван и обратно лег.
Никто ни слова вымолвить не мог.

II

«Я губкой тело мертвое отер,
А ты твердишь — могила не готова!» —
«Усопшему скажи, прошу я снова,
Пускай живет до завтра». Кончен спор.
Прервал чернец заупокойный хор
И передал Печерниково слово:
Покойный вздрогнул, будто бы от зова,
И в сумраке блеснул открытый взор.

Наутро Марк прислал к нему сказать,
Что место приготовлено для тела,
А душу можно Господу предать.
И тотчас жизнь обратно улетела.
И смеркся взор, упертый в потолок.
Никто ни слова вымолвить не мог.

Продолжение. Начало в № 11.

III

В обитель возвратился Феофил:
 Почил духовный брат ему на горе.
 Обоих схоронить в одном каморе
Он вместе с ним Печерника просил.
Но что же: младший — в первой из могил?
 Рассержен старший брат, и быть бы ссоре,
 Но Марк изрек с покорностью во взоре:
«Прости, я пред тобою согрешил».

И, руки приподняв в неспешном жесте,
 Сказал среди пещерной темноты:
 «Умерший, помешал живому ты,
Тебя прошу я: ляг на низшем месте!»
 И вдруг покойный встал и перелег.
Никто и слова вымолвить не мог.

Преподобный Аврамий, архимандрит Ростовский

11–12 века (14 век)
(память 29 октября)

Боялся всякий Велеса в Ростове.
 Аврамий раз под идолом сидел,
 Молясь об истребленье злобных дел.
Случился мимо старец, зримый внове.
«Откуда?» — «Из Царьграда». Наготове
 Вопрос: «Как быть? Совсем злой дух заел». —
 «В восточный, отче, потеки предел.
Обрящешь в Иоанне Богослове.

Господь, Аврамий, сократит твой путь».
И верно: Ишну перешел он чуть,
 Как встретил старца с посохом крестовым.
Тот посох дал ему и на глазах
Растаял. Разгулялось над Ростовом.
 И сокрушилось идолище в прах.

Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский чудотворец

1067–1147
(память 3 августа)

Стихия, бушевавшая над Римом,
 Отторгнула за моря окоем
 Валун — с обосновавшимся на нем
Антонием, невольным пилигримом.
Он плыл на камне, бурею гонимом,
 Но не один, а с Господом вдвоем.
 Три раза небо озарялось днем
До пристани на Волхове гулливом.

Здесь все вокруг чудесно, как во сне.
Воздвиг он монастырь в стране дубравной.
Уклоны речи медленной и плавной
Он выучил с латынью наравне.
И только здесь почувствовал вполне
Великолепье службы православной.

Преподобный Афанасий, затворник Печерский, в Ближних пещерах почивающий

† около 1176
(память 2 декабря)

Когда Господь чудес своих не прячет,
От виденного оторопь берет.
Скончался Афанасий-доброхот,
Кто смертную судьбу переиначит?
Три дня ему нездешний свет маячит.
Три дня лежит он, холоден как лед.
Игумен хоронить его идет.
Пришел — а он сидит в гробу и плачет.

Жестокий ужас братью поразил.
На «Как ты ожил?» не хватает сил.
Стоят и ждут, как чурбаки на вытес.
«Что видел ты?» — раздалось, дух стесня.
Ответом было: «Кайтесь и молитесь.
И не пытайте более меня».

Преподобный Спиридон и Никодим, просфорники Печерские, в Ближних пещерах почивающие

12–13 век
(память 31 октября)

Была в нем вера, вера рыбаря,
Которой крепче не найдешь и шире.
Уже давно он жил в подлунном мире,
Когда толкнул врата монастыря.
Его определили в пекаря
Просфор. И, неразумья сбросив гири,
Во всех трудах читал он из Псалтири.
Затеплилась духовная заря.

К чудесному в нем проявился дар.
Когда случился в келии пожар,
Он мантией тушил огни печные
И власяницей воду приносил.
А старец Никодим по мере сил
С ним разделял труды его земные.

Преподобный Варлаам Хутынский

12–13 век
(память 6 ноября)

Шептала упокойная полынь
Под окнами одной из божьих гридень
Вблизи болота, прозванного Видень,
В местечке, именуемом Хутынь —
«Худое место», где не чтут святынь.
Пугали бесы Варлаама и день
И ночь. Порой травил мирянин-злыдень.
Жара душила, сковывала стынь.

Но был он камнем непоколебимым,
Наставником, провидцем прозорливым,
От ближнего пророчеств не тая.
Но высшая явилась в старце сила,
Когда его молитва возвратила
Ребенка из глубин небытия.

Святой благоверный князь Владимир, Ржевский чудотворец

до 1178 — около 1226
(память 15 июля)

Когда на Ржев литовцы шли — враги,
Грозя кровопролитьем и разором,
Являлся призрак на коне матером,
И взмах платка велел врагу: «Беги!»
Когда не видно делалось ни зги,
Он город обходил ночным дозором.
И вечером народ в порядке спором
К его могиле ставил сапоги.

Их находили при лучах денницы
Изношенными тут же — у гробницы.
Готовили другие вдругорядь.
Однажды новой пары жалко стало,
И старую подбили как попало —
Князь перестал с обходами бывать.

Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский

† 1226
(память 10 мая)

Ночные звезды, солнце и луну
В себе изобразил он, как зерцало.
И жизнь его денницею пылала,
Печерскую венчая вышину.
Она, спасая душу не одну,
Владимиру и Суздалю сияла,
Но в тех краях он не забыл нимало
Родных пещер святую тишину.

Печерских старцев чудные деянья
Он со скрижалей сердца своего
Переносил на белые страницы.
Пречистая ему в знак воздаянья
С учителями кроткими его
На небесах сподобилась явиться.

Петр, благоверный князь, и Февронья, благоверная княгиня, Муромские чудотворцы

† 1228
(память 25 июня)

Кто князю прокаженному поет,
Лежащему с закрытыми глазами:
«Узнай: в деревне Ласковой в Рязани
Феврония на пчельнике живет».
С целительницей князь обет дает
Как муж с женою встать под образами.
Упорна знать верхами и низами:
«Разводится пускай иль прочь идет».

Плыла неспешно лодка по Оке,
Родимый город таял вдалеке.
И не было лица на князе хмуром.
Жена ему: «Бог не оставит нас».
И было так: раздора пробил час,
И светлую чету призвали в Муром.

Святой мученик Меркурий Смоленский

† 1239
(память 24 ноября)

Враги пришли, Смоленску угрожая.
Вожак-татарин, человек не мал,
На битву поединщика призвал:
Своя правдивей сила иль чужая?
Чернец пришел к Меркурию: «Дрожа, я
Иконе Одигитрии внимал —
Тебе, воитель, свет ее похвал.
Ступай, в бою спасение стяжая!»

Невидимый для вражеских постов,
Явился в стан татарский раб Христов —
И не было пощады исполину.
И враг бежал, когда под взмах крыла
К Меркурию подмога снизошла,
А он — остался, пораженный в спину.

Святитель Василий, епископ Рязанский

† 1295
(память 12 апреля / 10 июня / 3 июля)

Епископ, услыхав свой приговор
Из-за навета — в этом бесов сила,
Всю ночь во храме встряхивал кадило,
Затем на окский выступил простор.
Он мантию на водах распростер
И сверху встал — икона как кормило.
Его внезапным ветром подхватило,
И он поплыл, реке наперекор.

«Прости нас, грешных!» — не дослушав крика,
Из Мурома в Рязань добрался он,
А там его встречает князь с крестами:
Когда к вечере собрались во храме,
Отец-диакон вышел на амвон
И громко возгласил: «Грядет владыко!»

Святой блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, Устюжский чудотворец

† 1303
(память 8 июля)

Нет в Устюге житья от вьюги шалой.
Прокопий греться с паперти пошел.
Но все — взашей. Бежал он, бос и гол,
От жителей слободки захудалой.
До хижины доплелся обветшалой,
Где грелись псы, уткнувшись мордой в пол.
Он к ним под бок, те — в снежный перемол
Бегом от старца стаей одичалой.

Опять на паперть, в угол, в забытье.
Морозных игл ослабло колотье.
«Прокопий, где ты ныне?» — «В смертной сени».
Цветущей веткой юноша взмахнул,
Представший перед ним под ветра гул.
Пришло тепло, и отступили тени.

Блаженный Феодор, Новгородский юродивый

† 1392
(память 19 января)

Христос двум новгородским нищебродам
Вражду изображать заданье дал:
Высмеивал гневливцев стар и мал.
Феодор, из Торговой части родом,
Был Николаем зрим долгобородым
Когда в Софийской стороне блуждал.
Тот плеткою пришельца прочь погнал
По улицам, потом по огородам.

До середины Волхова-реки,
Как посуху, домчали старцев ноги.
И Николай, не пожалев руки,
Кочан капусты, вырванный в дороге,
В гонимого швырнул под крики многи,
А тот поймал и — дальше напрямки.

Андрей Ильенков

Повесть, которая сама себя описывает

Глава девятая
Конный малый

— Слушайте, кажется, я придумал! — вскочив на ноги, воскликнул Кирюша.

— Мы так и думали. А что придумал-то?

— Как что? — поразился Кирюша. — Я же вам говорил! Вот эту историю-то про Рвы, или там Гнилые Рвы!

— Какие рвы?

— Да вы че хоть?! — воскликнул Кирюша, и на глазах у него даже заблестели от негодования слезы. — Ну историю-то я вам рассказывал, как трое чуваков поехали на природу!

— А, да, — вспомнил Стива. — Ну и что ты придумал?

— Все! — в упоении воскликнул Кирюша. — Все придумал! Слушайте же меня!

И он все поведал своим друзьям.

Дело было осенью.

— Как сейчас?

— Ну нет, не так поздно, даже и не осенью, а так приблизительно в конце лета. Стояла тихая пасмурная погода. Трое друзей решили отправиться на природу. Три парня. Один с подружкой.

— Значит, четверо?

— Ну да, молодец, считать умеешь! Не перебивай, а? Короче, они собрались в лес. В окрестностях Здохни! Вот они идут по лесной дороге. Слегка бухнули, идут. Тихо, тепло. И вдруг навстречу им идет баба. Молодая такая, симпатичная, но в жопу пьяная. Идет и шатается. И вся такая растрепанная, помятая, сумочка у нее расстегнутая. А одета она совсем не по-походному. Ну там, предположим, вечернее платье, колготки в сеточку, все дела. Туфли на шпильках, само собой, в земле вязнут. И вот она проходит мимо, на них ноль внимания, а глаза у нее остекленевшие, и губы синие, и на лице синие пятна. Они думают — ни хера себе! Что за фигня? Прошли дальше — видят, а по обочине везде попадается черника. Они подумали — ну, значит, это она черникой перемазалась, понятно.

Идут дальше, видят — на дороге ключи валяются. А у нее же сумочка открытая была, значит, выронила. Обернулись, чтобы ее позвать, смотрят — а ее уже нет. Исчезла! Они думают — что за херня вообще? Дорога-то одна.

Окончание. Начало см. в № 11 за 2011 г.

Ну, решили, может, она в придорожные кусты завалилась, ну и хрен на нее. Дальше идут, видят — на земле разбитое зеркальце. Ну точно, значит, шла и все теряла. Дальше косметичка валяется. Подружка заинтересовалась и подобрала. Там всякая фигня, в том числе помада. Она смотрит — помада синяя!

— Во прикол, — сказал Стива. — А что, бывает синяя помада?

— Да неважно, — поморщился Кирюша. — Ты не мешай, а? Нам нужно, чтобы была синяя!

— Как так неважно? — возмутился Олежек. — Что значит, «нужно»? Нельзя же в угоду...

— А, да, — перебил Стива. — Кстати, бывает, я вспомнил. В «Плейбое» была телка с синей помадой. Давай, Киря, рассказывай, нечего сопли жевать.

— В общем, девчонка взяла эту помаду, отвернулась и быстренько намазалась, как та. Чуваки увидели, даже испугались, потом посмеялись вместе. Еще, предположим, накатили. Девчонка дальше так и пошла с синими губами, да еще стала специально пошатываться, ту изображать. Короче, идут, прикалываются. И вдруг девчонка увидела на болоте лилию. И говорит: «Хочу цветочек». Пацаны ей говорят, типа ну ее на фиг, в воду упадешь. А она уже пьяная, нет, говорит, хочу, и все! Ну там, например, ствол какого-нибудь дерева в воде плавает, она по нему пошла к этой лилии. Ну и, конечно же, упала. И нет ее!

Пацаны испугались, друг ее в воду прыгнул спасать, а ее нет! Что делать? Проходит время, вдруг она вдалеке выплывает, вся в тине и хохочет. Что, говорит, испугались? Вылезла, они говорят: «Ты че, дура? Замерзнешь теперь!» Дали ей водки. Она накатила и говорит: «Ну теперь отвернитесь, я хочу одежду выжать». Они отвернулись, а она разделась догола и вдруг говорит: «А че ее выжимать, она мне вообще не нужна, мне и так хорошо!» Захохотала и кричит своему другу: «Догоняй!» И голая в лес побежала. Чувак за ней рванулся, а эти двое тут остались. Офигевают от такого.

А девка так быстро побежала, что он догнать не может. Ее уже за деревьями и кустами не видно, а только слышно, как она хохочет. Он бежит, уже запыхался весь, вдруг смотрит — она остановилась. Он к ней подходит, обнял, а она вся холодная. Она поворачивается, и оказывается, что это совсем не она, а та баба, которую они на дороге встретили, только голая. Не успел он и ахнуть, как мы переходим к рассказу об оставшихся у болота двоих чуваках.

Те двое сидят, говорят: «А эти-то, небось, пежатся уже!» Один предложил — пошли подглядим. Другой отвечает — да ну, неудобняк. А первый говорит: «А мне пофиг, я пойду посмотрю». Уходит. Долго никого нет. И вдруг возвращается подружка, но одетая. Причем в одежду второго пацана. Этот и спрашивает — а где пацаны? И почему ты в его одежде. Она отвечает: «А они купаются, плавают там, тебя зовут тоже». Он пошел. Пришел и видит, что оба друга плавают в болоте, оба голые и мертвые. Вот такая история!

— Круто, Киря! — воскликнул Стива. — Да ты гений! Это же у тебя получается настоящий американский фильм ужасов!

— Ну, не фильм, — уточнил польщенный Кирюша. — Это я имею в виду скорее роман. Готический роман. У нас еще никто такого не писал!

— Ты гений, однозначно! — окончательно решил Стива. — Только я не понял, а что произошло-то?

— Ну ты дубовый, — возмутился Кирюша. — Что ж тут непонятного, не понимаю! Первая — это была утопленница, а когда вторая в воду упала, первая уже там на дне затаилась и ее тоже задушила! И когда она вылезла, она тоже уже была утопленница. Ну и чуваков они всех по очереди утопили.

— А, ну теперь и я понял, — сказал Олег. — Но это же сплошная мистика какая-то.

— Ясно, что мистика, — согласился Кирюша. — На то и готический роман, чтоб была мистика.

— Да разве ж такое напечатают? — спросил Олег.

Да, разве ж такое напечатают? Да разумеется, что нет, нипочем, никогда в жизни и ни под каким соусом. Ни по какому блату. И что же, писать в стол? Это то же самое, что быть подпольным миллионером. Это мы уже проходили.

— Да запросто напечатают, — ответил Стива и уточнил: — На Западе. С руками оторвут.

— Тогда надо и самому эмигрировать на Запад, — предупредил Олег. — А то ведь и посадить могут.

— Ну и посадят. Мы ему передачи будем носить, письма писать. Будет Киря на зоне чалиться, лес валить, блатные песни петь. А как отсидит — эмигрирует. Его там встретят, как родного. Будет работать в русской службе Би-Би-Си. Мы его будем слушать. А че, клево!

Но Кирюша не увидел в такой перспективе ничего клевого. Даже в последней ее части, про русскую службу Би-Би-Си. Потому что не видать ему тогда ни миллионных тиражей, ни литературных премий, ни писем от поклонников. Он хотел всенародного признания, а не сомнительной славы диссидента. И он хотел жить не на Западе, а здесь. В обычном родовом поместье. На самый худой конец — на даче в подмосковном писательском поселке. Что же касалось первой части перспективы, про зону и лесоповал, то это было даже не смешно.

Да и, если хорошо задуматься, сама возможность стать автором первого русского готического романа не особенно прельщала Кирюшу. Где-то в глубине души он подозревал, что это не сделает его ни властителем дум передовой интеллигенции, ни даже инженером человеческих душ. Хотя, возможно, в качестве первого шага к мировой славе и готический роман сгодился бы.

Одним словом, Кирилл долго молчал.

— Хотя не такая уж и крутая история, — нежданно сообщил Олег. — Я в Артеке и пострашнее слышал. Про бородачей.

— Да ну на фиг! Я ее тоже слышал, — сказал Стива. — Фигня какая-то, не может такого быть.

— А как у Кирюши, может, да?

— Ну у Кирюши-то это ужастик, а там же говорили, что все было на самом деле.

— Да что было-то? — спросил Кирюша.

— Да херня, — начал Стива. — Там один чувак говорил, что у них вообще стремаются в пионерские лагеря ездить. Он из Литвы, что ли, фиг его знает, короче, из Прибалтики, хотя русский. И он говорил, что там, бывает, посадят детей в автобусы, все типа нормально, ручками родителям помашут, и повезут их лесами, и привезут в концлагерь.

— В какой еще концлагерь? — не понял Кирюша.

— В плохой! Там в лесах скрываются недобитые старые фашисты и к ним примкнувшие молодые прибалтийские садисты. И они делают с пионерами всякие вещи. И все это типа по правде.

— А почему бородачи?

— Ну они же в лесу живут, не бреются, не стригутся, не моются. Почти сорок лет.

— Да ну, фигня какая-то!

— Ясно, фигня, — согласился Стива. — Там после войны были «лесные братья», прибалтийские фашисты. Но их быстро замочили, осталась легенда, что, если при отправке автобуса шофер бородатый, — ехать нельзя.

— Нет, Стива, у нас не так рассказывали, — возразил Олег. — Если бы так! У нас рассказывали, что как раз не в Прибалтике, а на Урале и в Западной Сибири. Эти бородачи — бывшие фашисты, которых во время войны забросили с Новой Земли. У немцев там была секретная военная база. Там же Арктика, пограничных кораблей нет.

И вот немцы еще в сорок третьем году построили там подземную базу и подземный военный завод. Все перебрасывали на подводных лодках. И в сорок пятом наши с союзниками брали Берлин, делили Германию, воевали с Японией, а про Арктику и Антарктику никто и не вспоминал. И вот как раз в августе сорок пятого фашисты на подводных лодках пошли Северным морским путем и основали первую немецкую колонию на полуострове Ямал. Это тоже был подземный город. Такая же фигня была и в Антарктиде. В антарктических поселениях жил сам Гитлер. А у нас на Северном Урале — его заместитель Борман.

Они вели исследования в различных областях. Так, например, в области антигравитации. И очень успешно. Уже в сорок шестом году в Антарктиде было налажено серийное производство «летающих тарелок» — это были фашистские антигравитационные разведчики. А у нас в Заполярье гитлеровские ученые специализировались по биотехнологиям. К сорок седьмому году они уже синтезировали искусственный белок в промышленных количествах и, таким образом, продовольственную проблему решили раз и навсегда. Через год в Антарктиде заработала установка управляемого термоядерного синтеза. Вам это о чем-нибудь говорит?

— О чем-нибудь говорит! — рявкнул Стива. — Ты давай про бородачей.

— Ну и вот! У них было полное изобилие, единственное, чего им не хватало, — физического бессмертия. Тем более что Гитлер уже был в возрасте, и нужно было поторопиться. Им нужен был биоматериал для исследований, а пионеры — материал самый подходящий.

— Почему это?

— Ну как почему? Молодые, то есть еще не очень отравленные экологией и алкоголем, — это раз. Ну и сразу целая толпа в автобусе, едут по лесу, без свидетелей, очень удобно. Их и похищали. И работали с ними.

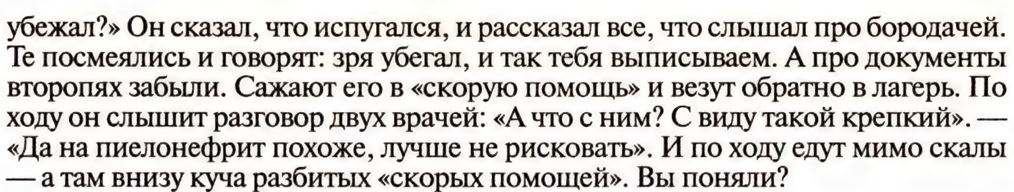
— Пытали? — спросил Кирюша.

— Насиловали? — поинтересовался Стива.

— Нет, зачем же пытать? — обиделся Олег. — Это ж вам не какие-нибудь садисты. Это были серьезные ученые. Экспериментировали, конечно. И насчет насиловали — тоже не было, но действительно ставили опыты по искусственной беременности маленьких девочек. Внедряли в матку девочке оплодотворенную яйцеклетку и впрыскивали огромное количество эстрогенов. И вот, говорят, это давало потрясающий эффект. Плод развивался за два месяца и достигал размеров нормального новорожденного. При этом девочки, естественно, гибли, но ребенок получался совершенно здоровый, причем истинный ариец, и обладал паранормальными способностями.

Ну и вот. Но это давно, еще в пятидесятые. А потом они стали реже похищать, но все-таки продолжали. А бородачи — это просто у них такая мода пошла, а от них — и по всему миру. Они ведь к тому времени уже всей планетой управляли через подставных лиц. Вот, например, Фидель Кастро — из Арктиды. Хо Ши Мин — из Антарктиды, любимец Гитлера.

Но это ладно. А история-то такая была, что в одном пионерском лагере на Урале заболел один пацан. Врач сказал, что надо его в больницу везти, и вызвал «скорую помощь». Та приезжает. Все санитары в повязках на лице. А в машине шофер бородатый. Как только отъехали, все сняли повязки, оказались все бородатые. И вот его привозят в больницу. Посреди леса. Там его обследуют. Он все время боится. Больница закрытая. Однако он изловчился, одежду и документы стащил и убежал в лес. Его санитары поймали и говорят: «Ну и че ты



убежал?» Он сказал, что испугался, и рассказал все, что слышал про бородачей. Те посмеялись и говорят: зря убегал, и так тебя выписываем. А про документы второпях забыли. Сажают его в «скорую помощь» и везут обратно в лагерь. По ходу он слышит разговор двух врачей: «А что с ним? С виду такой крепкий». — «Да на пиелонефрит похоже, лучше не рисковать». И по ходу едут мимо скалы — а там внизу куча разбитых «скорых помощей». Вы поняли?

— Я нет, — признался Кирюша.

— Эх ты, — пристыдил его Олег. — А еще сочинитель! Это значит, чтобы их по номеру не узнали, они каждый раз на новой «скорой помощи» приезжали, а старую в пропасть сбрасывали!

— А на хера? — недопонял Стива. — А взять номер перебить — не судьба?

— Ну уж я не знаю, — пожал плечами Олег Олегович. — Ну, наверное, потому что номер ведь еще на двигателе есть. А может, просто возиться неохота было — у них ведь какие ресурсы!

— Какие ресурсы? — скептически осведомился Стива. — Что, скажешь, у них еще и автозавод под землей был? И если даже был, они что, копировали там сраные рижские микроавтобусы! Че-то гон какой-то...

— Может, они угоняли, — предположил Олег Олегович, или, как говорили в старину, Ольгович.

— Ну да! — саркастически поддержал Стива. — А...

— Да хватит уже, — вмешался Кирюша. — Ты сюжет до конца доведи, потом спорить будете.

— Сюжет-то? Да с нашим удовольствием! Ну, привезли его в лагерь, потом смена кончилась, он домой вернулся. А результаты обследования он же еще тогда, во время побега из больницы, украл. Естественно, отдал родителям. А у тех был знакомый врач, он эти документы посмотрел и говорит: «А что, его готовили в качестве донора внутренних органов?» Родители в ужасе, а все, поезд ушел. И следов не найдешь. Начальник лагеря вообще не в курсе, «скорая помощь» давным-давно ржавеет под откосом. Все! И главное — это все не мистика какая-нибудь, это по правде было.

— А я думаю, что ни хрена такого не было, — высказал свое суждение Стива.

— Почему же? — обиделся Ольгович. — Все правдоподобно!

— Да что правдоподобно? Что фашисты построили подземные города в Арктике и Антарктике, правдоподобно? Что они на НЛО рассекают? Что Гитлер до сих пор живой и управляет коммунистическими режимами? Бред собачий! Ну, что наши лоханулись, я еще поверю, но чтобы Америка, величайшая нация на земле?! Да их бы ЦРУ в первый месяц выследили!

— И Моссад, — добавил Кирюша.

— Во-во! — поддержал друга Стива. — Слыхал, что тебе израильтянин говорит? Моссад — это уж точно!

— Я не израильтянин! — неожиданно вскипел Кирюша. — Я русский, понятно! В отличие от вас обеих! И этим горжусь! Именно тем, что в отличие от вас обеих!

— Привет, приплыли! — удивился Стива. — А мы-то какие же?

— Совдейские!

— Что у тебя за словечко это поганое такое, «совдейское»? — поинтересовался Ольгович.

— А что тебе не нравится? Хорошее словечко! Точно и адекватно отражающее самую суть явления.

— Ну и как?

— Что «как»?

— Вот именно: как оно отражает суть явления? И какого явления?

— Какого-какого... Того самого! Совдепия потому что у вас, вот оно и отражает.

— Ах, у нас? У вас, между прочим, тоже. Ну, если Совдепия, тогда надо и говорить «совдепское». Почему же «совдейское»?

— Да хрена ль ты его слушаешь! — презрительно сказал Стива. — Высоцкого надо слушать, а не его. Высоцкий все время поет — совдейский, совдейский, вот Кирюша наш и повторюша.

Кирюша закусил губу, а потом сказал:

— Знаешь ли, Стива, я привык ко всякому твоему со мной обращению, потому что художника, конечно, всякий может обидеть. Но в плагиате меня еще никто не обвинял. И я чувствую себя оскорбленным! И я требую сатисфакции!

— Чего?

— Да типа ничего, — быстро передумал Кирюша.

— Да нет же, баклан, ты щас типа че-то такое пробормотал.

— На дуэль вызвал, вот что, — объяснил некультурному товарищу Олег.

— На дуэ-эль?! На дуэль — это круто! Это я всегда за. Я дуэли люблю.

— Бретер, да? — съязвил Киря.

— Чего?

— Бретер, — объяснил Ольгович. — Это так в их так называемой России называли людей, которые дуэли любят.

— А, ну да, я бретер, — согласился Стива. И тут же рассказал следующую умопомрачительную историю о дуэлях.

Однажды поэт Андрей Белый решил вздрючить жену поэта Александра Блока. И она ему, конечно, дала, потому что сам Александр Блок ее никогда не дрючил. Он считал ее Вечной Женственностью, а Вечную Женственность, по странному мнению Блока, дрючить было почему-то нельзя. Хотя на самом деле можно и нужно. И то сказать: кого ж тогда и дрючить, как не Вечную Женственность?

Но Александр Блок так не считал и поэтому трахал всяких проституток и вообще кого ни попадя, например, Анну Ахматову. Он однажды шел по улице, а навстречу — Ахматова. Он-то ее тогда еще не знал, а она его, конечно, знала. И она такая идет, вдруг видит — навстречу прет пешком такая знаменитость, сам Александр Блок. Она глаза вытаращила, смотрит на него. А Блок подумал, что это какая-то проститутка к нему клеится. Он ее спрашивает: «Девушка, вы сегодня свободны?» А та на радостях, что с ней сам Блок заговорил, и не знает, что ответить. Ну, он ее в пролетку — и в номера. Отымел, а потом через несколько лет их знакомят, а он ее даже не узнал, потому что в тот раз был в жопу пьяный, как обычно. А она узнала, но уж промолчала, напоминать ему не стала.

Так вот, а жену свою он не пежил. А ей тоже ведь хотелось сношаться, и поэтому она в оконцовке устроилась актрисой в бродячий цирк, где ее все и имели. Клоуны, жонглеры, борцы, дрессировщики, эквилибристы, импрессарио, фокусники-иллюзионисты и, уж конечно, йоги и факиры. Те уж натурально! Тантрическим сексом!

— Чем-чем? — заинтересовались в два голоса Ольгович и Кирилл Владимирович.

— Вы что, оба вместе ничего про тантрический секс не знаете? — поразился Стива.

— Нет, — сказал Ольгович.

— Не-а, — признался Кирилл Владимирович.

— Ну вы даете стране угля! Ну я еще понимаю Олежека, ему не положено. Но ты-то, Кирюша, великий п...страдалец, гуманист и просветитель! Ты не слыхал о тантрическом сексе?! До чего грустна наша Россия! Слушайте же, о, дети мои!

И он рассказал своим детям о тантрическом сексе. Но мы этот рассказ опустим. Ибо хотя бумага и не краснеет, а мы и подавно, но автору неудоб-

но. Писать столько нехороших слов в одном коротком отрывке. Автор и без того, следуя тончайшим изгибам наррации своих героев, употребляет этих слов много-премного. Но то, что предстояло бы ему, опиши он Стивино описание, не идет с предыдущим ни в какое сравнение и даже ни в какие ворота не лезет (не сочтите за аллюзию). И тем более что все равно сущность тантрического секса понималась Стивой в корне неверно. Поэтому вернемся к нашим героям только в момент возобновления рассказа о дуэли, хотя и про дуэль тоже ерунда.

Стива закончил нести свою невообразимую похабщину и вернулся к похабщине худо-бедно вообразимой, то есть к сплетням о жене Блока.

Совершенно прав был Кирилл Владимирович, называя Стиву бретером. Сейчас последний явно нарывался на дуэль. Жаль, что не было рядом человека, который вступился бы за честь Любови Дмитриевны. Кирюша мог бы это сделать, и даже непременно, и будь у них пистолеты, то мог бы Стиву и завалить. И поделом, потому что ситуация тут особенная.

Блок был не столько одним из учителей Кирюши в поэзии, сколько предшественником в жизни. Недоброжелатель сказал бы, что Кирюша стал одним из эпигонов Блока, одною из обезьян его, по совершенно точному определению графа Толстого. Кроме того, существовало подозрение, что Блок был Кирюшиным родственником. То есть сначала оно существовало, а потом сменилось другим. Нет, Кирюша оказался не просто потомком Блока, а его реинкарнацией!

Дело было так. Еще в прошлом году ему понравилась, в числе других, одна рослая и румяная девочка, Оля Любимова. А тут случись ей поговорить с Кирюшей приветливей обычного, хотя и шепотом, так как дело было на уроке. Кирюша подумал, что Оля ему симпатизирует, и тут же горячо влюбился. Придя домой, решил соответственно ситуации почитать какую-нибудь любовную лирику. Пока раздевался, с полки упала книга. Кирюша поднял ее и остолбенел. Это были «Стихи о Прекрасной даме»!

Кирюша сбросил пиджак на пол и в крайнем волнении стал листать книгу, путаясь ногами в одновременно снимаемых ими штанах. Под всеми стихами были проставлены точные даты написания. Он полистал еще и нашел сегодняшнюю дату, 20 мая, хотя и 1901 года. Стал читать и остолбенел паки дондеже всуе, то есть, попросту сказать, охренел, ибо текст гласил: «Кто-то шепчет и смеется сквозь лазоревый туман...»! А дальше: «Снова шопот — и в шептаньи чья-то ласка, как во сне»! А дальше и того жутче:

Пошепчи, посмейся, милый,
Милый образ, нежный сон;
Ты нездешней, видно, силой
Наделен и окрылен.

Все это в точности описывало события сегодняшнего дня! Кирилл сел на унитаз и крепко задумался. Вероятно, Блок был его предком, раз такое совпадение биографий, фамильное, можно сказать. Так-так-так! Вот Блок-то и передал ему свой талант!

Кирилл стал вспоминать, когда же впервые обратил внимание на Олю. Это было сразу же после того, как она пришла в их класс, в сентябре прошлого года. Значит, это должно соответствовать сентябрю 1900 года. Лихорадочно перелистал том. И вот оно! 22 сентября 1900 года!

Твой образ чудился невольно
Среди знакомых пошлых лиц.
Порой легко, порою больно
Перед Тобой не падать ниц.

Принцесса захлопнула крышку клавесина!

Очнувшись, Кирилл понял: нет, здесь не просто родство, слишком много совпадений. Кирилл и Блок оказались не просто рядом, кой черт рядом!! Они занимают одну точку духовного пространства! С точки зрения геометрии одного из них не существует. Это феноменология духа, господа! Это реинкарнация.

И он засел за изучение Блока, в творениях которого искал ответ на мучившие его вопросы: почему он ощущает себя не обычным человеком, а некоей пешкой в игре гигантских страстей мировых сил, и чего ему следует ожидать в дальнейшем.

И вот когда Кирилл прочел дневники Блока, открылось страшное. В своих дневниках Блок прибег к мистификации. Любовь Дмитриевну в них он называл... Страшно было об этом узнать... Ольгой Любимовой! Так вот в чем тайна существования Кирилла, который одновременно же и Блок!

Что же касается будущего, тут все было ясно. Блок собирался покончить с собой 7 ноября 1902 года, если Менделеева откажется принять его руку и сердце. Менделеева не отказалась, Блок остался в живых и стал известным поэтом. Весьма правдоподобно, что такая дилемма маячила и перед Кирюшей. Правда, он не делал предложения Любимовой, но это детали. По всему этому прикончить Стиву следовало завтра же поутру на дуэли. Но пистолетов у них не было, а если драться на шпагах (которых тоже не было) или ножах, которые как раз были, то тут, скорее всего, Кирюше бы не посчастливилось, больно уж ловок этот сукин кот. И тогда сбылось бы пророчество о том, что 7 ноября будет последним днем его жизни. Что также явно перекликалось с сюжетом «Гнилых рвов». Но Кирюша предпочел второй вариант, стать известным поэтом. Поэтому он смолчал.

Между тем подлец Стива продолжает рассказывать:

— Но тогда она еще не убежала с бродячим цирком и поэтому решила отдаться Андрею Белому. А у того, как известно, отродясь член не стоял, и даже вообще его не было. И пока они там вдвоем пытались этот член подприподнять, входит такой Александр Блок. Пьяный в жопу, рожа красная, в тельняшке и с кнутом. Он потому что только что с коня слез. Он же вечно на коне рассекал и даже вводил его в Религиозно-философское собрание. И вот он входит, а они там. Голенькие. Жена-то у Блока была дама справная, все у нее, что надо, было. А у Андрея Белого ничего не было. У него даже пениса не было вообще. Вот Блок жену кнутом по спине огрел, а Белого — по харе! А это как оскорбление считается. И пришлось им драться на дуэли.

Ну и долго еще Стива продолжал языком молоть, аж самому надоело до смерти.

— Вечно ты, Стива, всякие гадости рассказываешь, — только и сказал Кирюша, надув губы.

— Какие такие гадости? — возмутился Стива. — Это тебе не гадости, это, брат, правда жизни! А ты от нее прячешь голову в песок.

— И что, он правда с проститутками встречался? — внезапно с живым интересом спросил Кирюша.

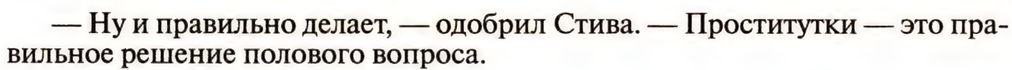
— Да зуб даю! — воскликнул Стива. — Вот уж это я не соврал! Все соврал, а это не соврал. У меня же матушка литераторша, филфак закончила, она все знает.

— Что-то мне сомнительно, чтобы твоя матушка такое говорила, — сказал Ольгович.

— А пьяная была, — объяснил Стива.

— Да, проститутки — это круто, — вздохнул Кирюша.

— Вечно ты, Кирюша, проституток воображаешь, — пожурил товарища Ольгович.



— Ну и правильно делает, — одобрил Стива. — Проститутки — это правильное решение полового вопроса.

— Почему?

— Потому что ты дурак. Потому что захотел, снял, расплатился. И она идет на все четыре стороны. А иначе тебе предстоит завести постоянную подругу. Свою будущую жену или, того хуже, любовницу. Это гораздо хуже.

— Чем хуже?

— Чем проститутку!

— Нет, ты не выпендривайся, ты по-нормальному скажи. Если есть что. А если нечего, то так и скажи, а не выпендривайся.

— Да, Стива, — вмешался Киря. —Изволь-таки объясниться. Чем тебе нехороша постоянная подруга, или жена, или любовница?

— Хорошо. Для особо тупых я объясню. Самый тупой у нас ты, Кирюша. Поэтому сначала тебе. Известно, что рано или поздно постоянная подруга становится женой или любовницей. Ну вот. А вот у моего батюшки есть и жена, и любовница. И ничего в этом хорошего нет.

— Ну еще бы! — воскликнул Ольгович. — Он бы еще завел двух жен и трех любовниц! Надо иметь одну.

— Любовницу! — уточнил Кирюша.

Стива усмехнулся:

— Вот как только заведешь любовницу, так и глазом моргнуть не успеешь, как она станет женой. Нет, дорогуша, любовницу можно заводить только женатому.

— Ну тогда есть вариант: не надо любовницу, иметь одну жену, — предложил Олег.

— Не проходит твой вариант, Олежек.

— Да почему не проходит?!

— Да я уже ведь, Олежек, объяснял почему. Да просто потому, что ты дурак. Вот представь, что ты женился. Супругу ты, конечно, захочешь выбрать достойную и приличную. Типа моей сестренки. Предположим, ты на ней женился. Но ты знаешь, какая это дура? Еще хуже, чем ты! И все они такие.

— Кто все?

— Ну все такие девушки, которых ты можешь считать подходящей партией. Уж ты мне поверь, я-то на них насмотрелся. Инка еще не самая беспросветная. Но только по сравнению с остальными. А так-то вообще-то совершенно беспросветная.

— Ну так и что, что дура? Что, с ней жить нельзя? Трахать ее нельзя?

— Кого? Инку? Инку трахать, конечно, можно. Но только не тебе.

— А почему это мне нельзя?

— А ты думал, тебе можно, что ли? У нее уже есть один женишок. Тоже такой же, типа тебя. Искатель! Вот ему можно. Но только теоретически. Практически пока тоже нельзя.

— Почему?

— А она ему не дает.

— Да ты-то откуда знаешь?

— Да уж знаю. Я сам его спросил.

— Как так спросил?

— А так и спросил. Что, говорю, тебе Инка уже дает или все еще цену себе набивает? Он такой вздрогнул, засмущался, не знает, что ответить. А мне пофигу, я широко улыбаюсь и жду ответа. Он тогда тоже разулыбался, говорит — ага, говорит, цену набивает. Я его по плечу похлопал, говорю типа — ничо-ничо, ищите, и обломится вам. Батюшке, говорю, нашему по барабану, он Инку готов отдать за первого встречного, типа тебя. Ты, главное, с матушкой дружи. Ну и меня постарайся не обижать. А то я тебя оби-

жу — мало не покажется. Вообще душевно так поговорили, выпили. Он за коньячком сбегал, посидели, я ему всю политику партии рассказал.

— Ну и какую это всю политику партии? Нам тоже расскажи!

— Кому это нам? Мне вот не надо, — отказался Кирюша. — Знаю я всю вашу политику партии. Давить и не пущать!

— А вот и не знаешь, — уверенно ответил Ольгович.

— Ни хрена не знаешь, — согласился Стива.

— Знаю! А если и не знаю, то знать не желаю! Я свободная личность, и не желаю вдаваться в ваши низменные совдейские подробности. У меня есть все — ум, талант, средства, и ничего мне от вашей политики партии не надо.

— А проституток? — ехидно спросил Ольгович.

— Да как сказать? — почесал в затылке Кирюша. — Проститутки — это, конечно, пикантно. Но ведь они существуют независимо и помимо всякой вашей партии. Да и потом, одно дело полюбоваться, а если в постель — то вдруг правда какой-нибудь сифилис подхватишь.

— Сифилис — это точно, а триппер — еще хуже, — сказал Стива.

— Сказал тоже! — заспорил Ольгович. — Чем же хуже?

— А тем и хуже! Лечат и то, и другое одинаково, антибиотиками. А вот диагноз ставят по-разному. На сифилис кровь сдаешь — и все. А на триппер делают мазок из уретры.

— И что, это больно? — спросил Кирюша, болезненно поморщившись.

— А вот засунь себе карандаш в уретру — узнаешь. Или хотя бы стержень от ручки.

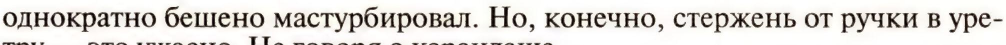
Это наверняка было ужасно. История, как выражался Кирюша, не для печати. Стива, как всем известно, в свое время занимался каратэ. Потом каратэ запретили, и Стива ударился в легкую атлетику. Он записался в секцию, достиг даже некоторых успехов, сдал на какой-то там юношеский разряд и стал ездить на соревнования. И Кирюше однажды говорит: «Ну ты и дурак, что спортом не занимаешься!» Кирилл фыркнул: «Вот еще!» А потом на всякий случай спросил: «А чего? Зачем спортом-то заниматься?» Стива ему все разложил по полочкам.

Не говоря уже о пользе для здоровья. Не говоря о формировании атлетической фигуры, благодаря которой тебя могли бы любить девушки и уважать юноши.

Не говоря и о другом: что спорт — скорейший путь в науку. Что в институт спортсмену гораздо легче поступить, чем вот такому, как Кирюша, непонятно кому. Чьей мамочке как бы не пришлось давать за поступление сыночка взяточку, что и хлопотно, и в случае чего наказуемо. Потому что Олежек-то медалистом собирается стать и, будь спок, станет. Но Кирюша не станет медалистом. А вот спортсмена в любой (ну, почти любой) институт возьмут с распростертыми объятиями рук. И даже потом можно не учиться, а одними спортивными успехами заработать диплом. О чем Кирюше-то бы следовало приподзадуматься!

Но! Во-первых, сами соревнования — это же с уроков отпускают на несколько дней. Во-вторых, можно на халяву в учебное время по стране поездить. А главное — спортсмены после соревнований почем зря бухают! Причем с девками-спортсменками — ну и так далее.

До туповатого в некоторых случаях Кирилла наконец дошло, и он заревел: «Что — далее?!» Оказалось — то самое... И Стива уже неоднократно типа приподуспел, пока Кирилл тут на уроках штаны просиживал. Кирилл сначала не поверил, но потом поверил. Когда Стива подхватил на этих соревнованиях, прощу прощения, гонорею, — тогда Кирилл сразу поверил. И даже знал, что тут надо сочувствовать или насмехаться, но сам-то отчаянно завидовал. Гонорею! Гонорея — это вам не шутка! Это же заработать надо! И, воображая, как Стива зарабатывал свой злосчастный недуг, Кирюша не-



однократно бешено мастурбировал. Но, конечно, стержень от ручки в уретру — это ужасно. Не говоря о карандаше.

И притом источником заразы была не проститутка, а вполне респектабельная советская девушка: спортсменка, комсомолка, наверняка даже красавица. Чего же можно тогда ждать от проститутки? Страшно вообразить. Нет уж, ну их на фиг!

— Да уж, ну их на фиг, проституток! — с чувством сказал Кирюша. — Лучше бы каких-нибудь чистых поселянок.

— Каким это местом они чистые? — удивился Стива.

— Ну, в моральном смысле, — объяснил Кирюша. — В смысле, что они не испорчены совдейской городской цивилизацией. Что они там живут в патриархальной невинности, лишены всяких порочных соблазнов.

— Так ты что, в деревне собрался жить? — спросил Стива.

— Конечно! Жить следует только в деревне.

— Да ты-то с чего взял? Ты же сроду в деревне не бывал!

— Ну и что, что не бывал. Я читал.

— Что ты читал?

— Многое! «Бедную Лизу». «Барышню-крестьянку». «Записки охотника». «Олесю». Стихи разные читал.

— Киря, ты совсем дурак? — опешил Ольгович. — Это когда все было написано? В прошлом веке! И притом это же художественная литература, там все приукрашено, а ты веришь.

— А вот Есенин в приватной беседе не помню с кем говорил, что деревня — это жизнь, а город — смерть. И так и получилось. А с тех пор еще хуже стало! Индустриализация ваша сраная! Воздух в городах отравлен, вода с хлоркой, шум ужасный, выхлопные газы.

— Кирюша, ты-то не Есенин! Ты хоть раз воду носил? Печку топил? Кашу варил?

— Девок кормил?

— Нет, я серьезно! Ты же всегда жил в благоустроенной квартире.

— Вот и плохо! Жить и зимой, и летом следует на даче. У человека должен быть дом, а не инсула.

— Что?

— Не инсула, а дом, домус!

— Че ты сказал-то, упырь? Ты напился, так не барагозь!

— Это он про Древний Рим вспомнил, — объяснил Олег. — Там только бедняки жили в многоэтажных домах, инсулах, а у богачей был домус — одноэтажный дом с атриумом и внутренним садом, забыл, как называется.

— Опять, бляха-муха, Древний Рим! Кирюша, как ты достал со своей ветошью! Вон, вылазь сейчас и беги на торфяные болота. И живи там на кочке, и пиши стишки про Мальвину! Как Буратино.

— Нет, Пьеро, — уточнил Олег.

— Нет! — настаивал Стива. —Как дубовая Буратина!

— Нет, Пьеро.

— Нет! Буратина!

— Нет, Пьеро, —и тут же спросил: —А как же твоя Америка?

— Что Америка?

— А в Америке разве не так? Разве приличные американцы живут в квартирах?

— Вообще-то да... — почесал затылок Стива.

— Вот именно! Они живут в загородных домах. У них там лужайки всякие, виллы, газоны и все такое. А в город они только по делам ездят. И в Риме точно так же было.

— Ну извини, Олежек, в Риме-то было наоборот! — возразил Кирюша. — Римляне жили в своих домах с садами, но именно что в городе!

— Ну вот видишь, Ярузельский, ты опять здишь, — укорил товарища Стива. — Ясен пень, что в городе.

— Да фиг с ними, с римлянами, а как же американцы? — настаивал Ярузельский. — Ведь они-то живут за городом!

— Да пошел ты! — рассердился Стива. — Ну и что, что за городом, они же не в деревне живут.

— А надо в деревне! Там чистый воздух.

— Кондиционеры на это существуют! Деревня вовсе на х... не нужна, это пережиток архейской эры.

— Нужна! — спорил Ярузельский.

— Почему нужна?

— Да очень просто: по кочану да по капусте! И по самогону с огурцом! Не говоря уже о картошке. Потому что если предположить врагов, то в достаточно отдаленной от административных и экономических центров деревне вам мало того, что не прилетит по башке боеголовкой, но и оккупанты туда вряд ли сунутся. А огурцы, капуста и картошка с самогоном как стояли, так и будут стоять. В смысле, расти и выгоняться. Живи себе! Любые завоеватели захотят что? Да собрать вас в городах и концлагерях, и чтобы вы потеряли волю к сопротивлению, разучились жить на природе, где вы практически неуязвимы.

— Да-да, — поддержал Киря. — Деревня очень нужна.

— На х...я?

— Вот именно, Стивочка, вот именно! В деревнях же живут поселянки.

— Кто?

— Селянки! В смысле, пейзанки.

— А, опять ты про своих селянок! Толпа пейзанок, юбки подобрав, подхватывает Кирю-недоумка и боязливо дергает за член. А тот стоит и в ус себе не дует, лишь слюни капают из большого рта.

— Как-как?! Повтори-ка, пожалуйста.

Стива повторил.

— Да, именно так я и хочу!

— Киря, поимей лучше совесть. Они же все засранки.

— Ах вот как! А Пулемет твой не засранка?

— Пулемета я накормил, потому что под руку подвернулась, а ты что, хочешь всегда таких?

— Да, хочу! Потому что так раньше всегда делалось. Вот Лев Толстой пере...б всех своих крестьянок, они, думаешь, не засранки были? И я тоже хочу, как Лев Толстой. И Пушкин тоже.

— Пушкин не крестьянок е...л, а светских дам.

— Пушкин всех е...л! И я тоже хочу всех.

— Ну ты же не Пушкин.

— Нет, я не Пушкин! Я иной, еще неведомый избранник!

— Слышь, избранник, если тебе нормальные телки не дают, так ты думаешь, что крестьянки дадут? Успокойся, точно так же не дадут. У них в деревне свои хахали имеются.

— Как это не дадут?! Их излупят плетками, и они дадут мне как миленькие!

— Ого! Так ты что, сторонник рабства? — поразился Ольгович.

— Да какого там рабства сторонник, — махнул рукой Стива. — Просто п...страдалец.

— Нет, не просто, — уязвленно возразил Кирюша. — Я, если хотите, сторонник сословно-феодальных отношений!

— Ну я всегда говорил, что ты питекантроп и троглодит, — определил Стива.

— Нет, не троглодит! Но за право первой ночи всегда выступал и буду выступать. Да, а что?! Запомните раз и навсегда: русская духовность осно-

вана на классической русской литературе, а та немыслима без сословности. При этом лучшие представители высших сословий испытывали угрызения совести. Не будь этой больной совести, которая сама себя и описывала, — много ли останется от великой русской литературы? Отвечу: ни-че-го. И это правильно, что больная совесть, что угрызения! И я бы их испытывал, будь из-за чего. Дайте же мне эту возможность! Дайте мне миллионы обездоленных и отверженных — и мир содрогнется от терзаний моего обнаженного, открытого всякому страданию сердца! Именно поэтому путь к вершинам духовности для русского человека немыслим без эксплуатируемого большинства! А сейчас?! За кого прикажете мне болеть душой? За пьяных сантехников и спекулянток на базаре? Именно поэтому у нас теперь вместо Толстых и Достоевских — Альтовы и Измайловы!

Ребята помолчали, переваривая. Первым переварил Стива.

— Все твои пейзанки были вшивые и сифилисные.

— Гонишь! — горячо заспорил Кирюша. — Сифилис привезли, между прочим, из твоей любимой Америки, а до этого никакого сифилиса не было! А что вшивые — так, может, и не все, и не очень. Зато — право первой ночи! Зато я иду — все девки мне кланяются, руку целуют. Кого захочу, того отымею.

— Я и без того кого захочу, того отымею, — заявил Стива.

— А вот ты гонишь, — возразил Кирюша. — Не кого захочешь, а только кто даст. Отвечаешь, что тебе любая телка даст?

— Отвечаю, что практически любая, — заявил Стива. — Конечно, с некоторыми придется повозиться.

— Вот видишь: «практически», да еще «придется повозиться»! А мне в моей феодальной деревне — именно что любая, и только подмигну!

— Но у тебя же нет феодальной деревни, — заметил Стива.

— И к тому же тебе даст только твоя крепостная девка, а больше никто, — подлил масла в огонь Ольгович. — А ему, если повозиться, действительно практически любая. Я имею в виду, что и приличная тоже.

— Какая такая приличная? Знатная дама, что ли? А мне бы, думаешь, знатные не давали? Только там, конечно, немного другое дело. Но я бы им писал мадригалы в альбомы, дрался на дуэлях и все такое, и тоже бы давали.

— В общем, все с тобой ясно. Ты троглодит и неандерталец, — окончательно заключил Стива.

— Сам ты неандерталец, — не сдавался Киря. — Это у тебя троглодитские вкусы и потребности. Джинсы, жвачка, «кока-кола», тяжелый рок! А я люблю благородную старину, да. Мне нравится музыка Баха, я читаю хорошие стихи, я люблю готическую архитектуру и живопись эпохи Возрождения.

— Только не надо Баха, — поморщился Стива. — Дома от него воротит. А джинсы ты не носишь? Да они у тебя покруче моих! Вот давай ты свои джинсы мне отдашь, а сам надевай какой-нибудь камзол и залезай на дерево, как обезьяна, и слушай там своего Баха, и жуй кокосы, ешь бананы. Готическую архитектуру он любит! Вот и залезай на Собор Парижской Богоматери, и звони там в колокола, и трахай там на колокольне свою вонючую Эсмеральду! Если она тебе даст. В чем лично я сомневаюсь.

— Почему это? — обиделся Кирюша.

— Ну ты же будешь Квазимода, тебе и бродячая цыганка не даст.

— А ты думаешь, тебе бродячая цыганка даст? — вдруг вмешался Ольгович.

— А оно мне надо? — презрительно отозвался Стива.

— Надо или не надо, а только не даст.

— Почему это? — неожиданно обиделся Стива.

— А цыганки русским не дают.

— Как это так не дают? — еще более неожиданно возмутился Кирюша. — А как же русские дворяне всегда ездили к цыганкам в табор? Осыпали их золотом, те им пели, плясали!

— Ну да, пели, плясали, но с чего ты взял, что давали?

— Как так не дают?! — еще более неожиданно, чем Кирюша, возмутился Стива. — Они же нищенки, вечно по три копейки на булочку для ребенка выпрашивают! А если я ей не три копейки дам, а полтинник? Что, не даст? А если рубль? А за трешку они и всем табором во все места дадут!

— Да с чего ты взял? — усмехнулся Ольгович.

— Да по логике вещей! По арифметике, блин! Там три копейки, а тут три рубля!

— А гусары им сотни бросали, — поддержал Кирюша. — А царские сотни — это тебе не совдейские! Как же они смели бы не давать?

Ольгович ответил приблизительно следующей речью.

Стива, отвечаю сначала тебе. Нищенство и проституция, знаешь ли, совершенно разные занятия, и даже взаимоисключающие. И цыганки не нищенки. Они попрошайки, но это не одно и то же. Ты этой разницы не понимаешь, потому что никогда не давал денег ни нищим, ни цыганкам.

И это было сущей правдой. Стива никогда не подавал нищим, потому что вот еще не хватало! Пусть скажут спасибо, что сразу по морде не пинал, ага, станет он материально поддерживать эти человеческие отбросы. Что же касается цыганок, то он им тоже денег не давал и даже однажды прикололся, прямо в присутствии Олежека. Одна довольно безобразная цыганка средних лет семенила за ними со своим мерзким детенышем, тянула руку и гундела: «Можно вас спросить...» А Стива, вместо того чтобы, как все нормальные люди, от нее шарахнуться, наоборот, остановился да как гаркнет: «Дай три копейки, а! Ну дай три копейки!» Цыганка махнула рукой и ушла, а Стива и Олег долго смеялись.

А вот если бы Стива подавал и нищим, и цыганкам, он бы сразу почувствовал разницу. Нищий твои три копейки сунет в карман и будет премного благодарен. А цыганка, если дашь денежку, поймет, что ты лох, и разведет. Тут же, откуда ни возьмись, тебя окружит толпа ее подружек, застрекочут, начнут тормошить, сулить всяческие блага, ворожить, хватать за разные части тела и одежды, и в результате у них останутся все твои деньги, а также если было, то и золото. В виде часов и обручального кольца, если ты мужеска пола, и разнообразных украшений, если противоположна. Так что попрошайничество цыганок есть лишь прелюдия к большой мошеннической операции, а о какой-то проституции среди них даже и думать смешно.

Что же касается гусарства в таборах, то всем известно, что гусары всегда были форменными идиотами. Надо полагать, что в процессе цыганских песен и плясок их напаивали до бесчувствия, а просыпались они точно так же без копейки и без драгоценностей, как и обычные советские лохи. Но поскольку, в отличие от обычных советских лохов, они были еще и форменными идиотами, то цыгане, поутру их опохмеляя, говорили, что гусары сами отдали все свое движимое имущество какой-нибудь там Тане или Земфире за одну лишь песню. И гусары верили, и приезжали к ним снова и снова, полагая в том гусарскую удаль.

Эта часть рассказа Кирюше совсем не понравилась. Хотя он и почитал военную службу школой для дураков, но только советскую, поносить же гусар полагал недопустимым и как русских дворян вообще, и как культурнейшую их часть в частности. Ибо были все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Давыдов, Чаадаев, Лермонтов, Фет! Да кроме того, и не одни только гусары ездили по таборам. А как же Пушкин?! И Блок. И даже, простите, Горький. И даже Высоцкий. А тут всякий урод станет клеветать.

Кирюша так и сказал этому подонку. И даже решительно заявил, что красивая и сумасбродная связь с прекрасной цыганкой является одной из значимых целей его жизни и давней мечтой.

И это было правдой. Его еще в детстве остро поразила в самое сердце встреча с маленькой цыганочкой из кочевого табора. Табор остановился рядом с вокзалом, и город ненадолго заполонили цыгане. И однажды в трамвай вошла она. Сколько ей было лет, трудно сказать. Наверное, столько же, сколько и маленькому Кирюше. Тогда у мамочки еще не было своей машины, и они ехали в трамвае. Кирюша же с раннего детства был чрезвычайно женолюбив и то и дело бывал влюблен то в одну, то в другую симпатичную сверстницу. Но когда он увидел цыганочку, у него захватило дух. Настолько она была прекрасна и настолько не похожа на всех Кирюшиных сверстниц.

Кирюшины сверстницы носили туго заплетенные косички с пышными бантами, короткие светлые платьица и белые гольфики до колен. Между собой они различались тем, что одни были обуты в туфельки, а другие в сандалики. А также цветом бантиков и тем, что некоторые носили на голове панамки, а некоторые нет. Кирюше больше нравились без панамок.

Цыганочка опрокидывала все представления! О том, как может выглядеть и вести себя девочка. Ее курчавые черные волосы небрежно разбросались по плечам, а блестящая золотистая юбка была такой длинной, что временами касалась земли. Когда же не касалась, то открывала совершенно босые ноги. В ушах цыганочки, как у взрослой, блестели золотые сережки, а на руках — кольца. А также виднелись остатки лака для ногтей на всех двадцати пальцах.

Конечно, и Кирюшины сверстницы дома примеряли украшения, и они им очень шли, но кто бы разрешил им пойти в украшениях на улицу? Не говоря уже о лаке.

Да, но кто бы запретил цыганочке? Непостижимым образом она вошла в трамвай совершенно одна, без старших!

Кирюша давно мечтал погулять по улице без мамы. Но мама не разрешала. А с Кирюшиной мамой спорить — говна не стоить. В том смысле, что она это быстренько докажет любому спорщику. А вот цыганочка ездила по городу самостоятельно.

А дальше пошел крутой бред. Она стала просить подаяние.

Это было по правде в современном советском городе. Кирюша потерял дар речи и не мог отвести глаз от этой сказочной девочки, а в животе у него было холодно и щекотливо. Цыганочка была волшебно красива со своими огромными черными глазами, пушистыми ресницами и алыми губами. Несмотря на то, что была неописуемо грязна.

Неописуемо в том смысле, что описать это средствами художественной литературы неловко, получится сплошная тавтология. Ибо нельзя же писать: «У нее были совершенно черные руки с грязью под длинными ногтями, черные локти, иссиня-черные волосы, черные глаза, черные брови, черные уши, черная шея...» — и так до самых голых пяток радикально того же цвета. Получится страшилка про черный-пречерный город, а тут совсем другой пафос. Но и описывать другими словами бессмысленно, потому что они не передадут истинной картины.

Итак, прекрасная, как дивная пери, и грязная как незнамо что маленькая цыганочка шла по вагону и просила подаяние, протягивая маленькую черную... тьфу! В общем, с протянутой рукой. И звенящим голосом на ломаном русском языке просила на булочку для ребенка, вероятно, подразумевая под ребенком самое себя. Или, может быть, она не голосила про на булочку для ребенка, может быть, это он уже потом спутал с какой-нибудь другой цыганкой.

Сейчас, в свои полные шестнадцать, Кирюша отдавал себе отчет, что эта неописуемая средствами литературы цыганочка наверняка была, по Стивиной терминологии, вшивая и сифилисная. Но это не имело значения ни тогда, ни сейчас. Тогда это не имело значения, потому что Кирюша не собирался до нее дотрагиваться, — она была совершенно платоническим явлением, катастрофой для его нормативной детсадовской этики и эстетики. Теперь же...

Теперь же, в сущности, было то же самое. За исключением того, что теперь бы он поимел ее физически. Но не столько похоти ради, сколько, опять же, эстетики. Теперь-то он знал, что любовь к цыганкам — отличительная черта истинных аристократов и великих поэтов. Черта, как раз и отличающая их от рядовых обывателей. А Стива гонит свою бодягу о вшах и сифилисе именно потому, что он — совершенно законченный обыватель. О, конечно, не рядовой, но от этого еще более законченный. Разве Кирюша не опасался сифилиса? Конечно, опасался. Но для него эстетика всегда перевесит страх, а для Стивы никогда. Потому что Стива обыватель, а Кирилл — художник! И, встретив роковую цыганку с огненным страстным взором, Кирилл непременно закрутит с ней сумасбродный роман, не боясь никакого сифилиса! Не говоря уже о каких-то там ничтожных вшах. Тем более что всегда можно воспользоваться презервативом.

Нет!!! Не воспользоваться! Именно что не воспользоваться, принципиально! Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит... Нет, как раз для сердца бессмертного таит неизъяснимы наслажденья!

Однако Стива разочаровал Кирюшу. Он не стал говорить на свою излюбленную тему. Он вместо этого рассказал историю из жизни. И хотя впоследствии, уже будучи Стивой завершена, история показалась друзьям ничуть не более правдоподобной, чем Кирюшин готический опус, это ровным счетом ничего не значит. Стива нередко нес такое, что на первый взгляд казалось крутым бредом, а потом оказывалось правдой. Потому что он слышал дома такие новости, которые не попадали в СМИ.

Итак, один деревенский мужичок...

Да нет, не так. Он проживал в поселке городского типа, а работал в городе. Неудобно? Да не так уж и неудобно. Пригородная электричка каждые полчаса, а ехать восемь минут. Вот он стоит однажды на перроне, ждет электричку, нервно курит. У него какое-то смутное беспокойство на душе. И вдруг как раз подваливает толпа цыганок. «Дай три копейки, можно вас спросить?» Он с ними вообще не разговаривает. Тогда одна цыганка попросила закурить. А дело было летом, он в рубашке, пачка сигарет в нагрудном кармане, никак не скажешь, что нет. Он отвечает типа того, что да пошла ты! Она говорит: «Давай-давай! Давай дыми, будет тебе дым; давай кури, будет тебе курятина!» Тут как раз электричка подошла, он садится, едет. И вдруг понял, что его с самого начала беспокоило и что потом цыганка сказала: курятина! Он дома поставил на плиту греться курицу, заторопился и теперь точно вспомнил, что не выключил. А дом-то деревянный, причем вместо предохранителей, как это нередко бывает, стоят «жучки». Бляха-муха, думает он, а что она про дым-то говорила? Может, она намекает, что дом сгорит?!

А там еще жена спит, медсестра с ночного дежурства. Которую он, кстати, цыпленочком звал. Он думает: твою мать, а ведь возможно, под курятиной имеется в виду цыпленок жареный! И тут уже не смутное беспокойство, а полная паника. Тем более жена утром сказала, что дежурство было трудное, она очень устала. И спиртягой от нее попахивало, значит, они там накатили после смены. И с учетом всех этих обстоятельств едва ли ее легко разбудит запах дыма или гари.

Мужик аж вспотел весь. Хоть стоп-кран дергай, да чего уж там дергать, уже до города доехали. Он из вагона выскочил и бегом к расписанию — когда идет электричка в обратном направлении. А до отправления, как назло, еще сорок минут. Вот и думай: то ли за сорок минут успеет сгореть только курица, то ли и дом с женой, и уже надо тачку ловить и мчаться домой. Ну он туда-сюда, туда-сюда, бегает от табло пригородных поездов к стоянке такси.

А рядом всю ночь на помойке мусор горел, к утру так разгорелся, что заливать стали. Дым повалил такой белый, густой. Собственно, не дым даже, а пар. А мужик в этом дыму дорогу перебегал. Ну и не сразу заметил машину, которая его раздавила. Но что характерно — это был фургон с птицефабрики. Вот вам и факт налицо — и дым, и курятина.

— А как жена, сгорела? — поинтересовался Кирюша.

— А фиг ее знает. Какая, в жопу, разница? Предсказание-то и без того сбылось. Так что жена могла уже и не гореть.

— И ты в это веришь? — спросил Ольгович.

— Батюшкин шофер рассказывал. А ему — водитель «скорой помощи», которая мужика увезла. Он ведь не сразу кони кинул, он перед смертью в машине все рассказал.

Помолчали.

— Ну и какая мораль? — спросил Кирюша. — Что цыганки — колдуньи? Так это же круто! Иметь любовницу-колдунью! Это шикарно.

Дурачок, простачок Стивочка! Это же именно и была купринская история, от которой Кирюша перся. Да, какая-нибудь такая старая цыганская ведьма, а у нее молоденькая внучка, колдунья. Может быть, даже та самая, что была в трамвае. Она выросла... — и Кирюшины мечты потекли по накатанной дороге.

— Это значит, — возразил Ольгович, — что не ты, а она будет с тобой делать все, что захочет. И в первую очередь в постели.

— Кстати, воображаю себе цыганскую постель, — сообщил Стива.

Но Кирюшиному воображению было не до постели, настолько оно было захвачено образом самой юной колдуньи. И он сказал, что именно и хочет, чтобы она им целиком обладала и делала с ним все, что захочет. И страшно, и сладко отдаться во власть ее чар.

— Ну ты извращенец однозначно, — определил Стива.

— Может быть, — охотно согласился Кирюша. — Потому что я — художник.

— От слова х...

Кирюша не обиделся.

Ольгович сказал:

— Ну уж если мы окончательно перешли на страшные истории, то слушайте вот такую. Про хозяйку кладбища.

Один пацан напакостил одной своей соседке, старухе. Что-то там такое вроде бы даже подсудное, так что всерьез опасался, что она в милицию заявит. И вот однажды он идет по кладбищу и видит свежую могилу той старухи, с портретом. Он думает — вот заебись, проблема решена. Однако рожа на фотографии показалась ему очень злобной и ухмыляющейся. Тут подходит пьяненький старичок и говорит — во, хозяйка кладбища! И рассказывает, что это такое. А это главный мертвец, великий мертвец, который владеет душами всех погребенных на данном погосте. Пацан послушал, поверил не очень, однако очканул. И ему эта бабка стала сниться и произносить угрозы. И он опять с тем старичком встретился и обрисовал ситуацию. Тот ему говорит — ну в таком разе капец тебе! Надо срочно некий ритуал произвести. Надо в полночь пойти на кладбище и че-то там найти, какое-то растение, и до рассвета успеть положить на могилу. А не успеешь — она

придет, мало не покажется. Ну пацан поверил, нашел эту волшебную травку и идет к могиле — а время-то неопределенное — «на рассвете». Ну положил, пошел. А навстречу идет эта самая старуха. Значит, не успел! Он в ужасе побежал через лес сломя голову к свежей могиле, где рабочие инструменты оставили. А старуха пришла на могилу, села и говорит — вот, дескать, сестренка, не успела я с тобой попрощаться, так хоть сейчас приехала. Это была ее сестра, очень на нее похожая. Но пацан погиб.

— Да ну, херня какая-то, — сказал Стива. — Это не страшная история, а анекдот. Слушайте реально страшную историю. Про носки.

— Носки? — развеселился Ольгович. — Про твои, что ли? Ну тогда это точно страшная история. Как ты забыл носки где-нибудь, а какая-нибудь глупая девушка их неосторожно понюхала...

— Нет, эта страшнее.

— Пожевала, что ли?

— Нет, еще страшнее. Короче: дело было на самом деле. В детском саду была на практике одна студентка педучилища. И там воспитательница все время говорила детям: «Поддерните носки (или там гольфы, колготки, неважно), чтобы спереди ступни не торчали, а то наступите — упадете». Но они не слушались. А еще была нянечка, старушка. Вот нянечка и рассказала по секрету нескольким девочкам, очень живо и убедительно, почему так ходить нельзя. Потому что есть страшные каргазумы. Это горбатые карлики с огромными ступнями и без нижней челюсти. У кого спущены носки, каргазум примет за своего и придет, и это типа очень ужасно. Эти девочки рассказали другим девочкам и мальчикам. Весть очень быстро облетела весь детский сад, обрастая новыми подробностями, и уже на следующий день носочки и гольфики всех детей были аккуратно поддернуты, а сами дети по секрету поделились этой тайной с воспитательницами, музыкальным работником и нашей практиканткой. И даже взрослые, слушая эту очевидную галиматью, невольно поеживались.

На следующий год практикантка закончила, и ее распределили в один пригородный поселок городского типа, воспитательницей в единственный там детский сад. Приехала уже под вечер, пришла к заведующей. Та обрадовалась новой воспитательнице, сказала, что в общежитии ей дадут отдельную комнату, и проводила. А общежитие — пятиэтажка, и ее комната на пятом этаже. Ну вот, она ее проводила, дала ключи, потому что так-то общага была совсем новая и еще пустовала, и ушла. А девушке чего-то на новом месте не спится. Да еще было холодно, отопление не подключено. Она надела толстый свитер, огромные шерстяные носки и вышла в коридор погулять. Ночь, на этаже никого нет, а она посмотрела на свои огромные носки и вспомнила историю про каргазумов. Стало ей страшно. И вдруг на лестнице слышатся шаги, и в коридоре появляется самый настоящий каргазум. Она в ужасе бежит в свою комнату. Каргазум идет за ней, издавая мерзкие, нечленораздельные звуки. Она давай закрывать замок, да не может вставить ключ, а каргазум тут как тут и уже к ней руки поганые тянет. Девушка выбрасывается из окна.

Потом оказывается, что нянечка родом была как раз из этого поселка, и жил у них такой урод (горбун плюс сильная травма лица), и она, когда придумала историю про каргазумов, его описала. Он же дожил до наших дней и работал теперь дворником в новом общежитии. И у него среди ночи с сердцем стало плохо. А он знал, что там в одну комнату уже заселились, и пошел. А говорить-то не может. Вот так.

— Ужас, ужас! — воскликнул Кирюша и замахал руками, в ответ на что Стива, как обычно, посоветовал не выеживаться. А также не барагозить, если напился. Ну о чем можно с такими уродами разговаривать? И Кирюша замолчал, стал смотреть за окно.

За окном было безприютно. Болтаются ветром мокрые станционные фонари. Стекло и железо пропитываются водой, как дерево. В нижних слоях тропосферы возникают одно за другим разные явления. Крыша гудит под ногами, ветры рвут рельсы и волосы. Происходит всеобщее дрожание, воздух — он дрожит. Дрожат воздушные струны — это летучие, срываясь с проводов, хватаются за них, но все равно падают и бьются, но струны звучат. На улицу льется с неба мутная вода низкой температуры, вызывая дрожь при попадании за шиворот. Капли расплываются на сигаретах, и сигареты тухнут, противно размокая на глазах курильщика. Мокрые, пустые, блестят лотки, а под ними — пыль.

Иногда пролетает электричка и вызывает щемящее чувство, хотя ничего сентиментального нет в этом промельке триглазого чудища, чуждого всему человеческому существу. А в моментальном мире внутри ее вагонов, миреэфемере, якобы — но ведь и в самом деле! — существующие. Отражения людей на стеклах.

Но вообще-то какая, на хрен, электричка? Какая, на хрен, электричка?! Едем в трамвае, по одноколейной дороге, глубокой ночью, так не токмо что электрички, но и трамвая встречного не может быть, да и автомобиль едва ли. И потом, какие такие лотки в чистом поле? Лучше бы Кирюша занялся обдумыванием нового сочинения, раз предыдущее уже обдумал. А можно даже и того же самого. Потому что готический роман, конечно, круто, но не особенно. Все-таки лучше какой-нибудь такой остросюжетно-психологический. Типа как у Достоевского. И Кирюша занялся, воображая самое себя персонажем собственного же произведения.

Вот они пошли в поход, напились, и Кирюша, обидевшись на мироздание, убежал в лес. По направлению к Здохне. И он услышал всхлипывание. Это плакал... человек? Запахло русским духом. На краю Здохни светлели очертания — это был человек с человечьим голосом, и нестрашным голосом. Кирюша притаился. Листья под ногами дико шуршали.

О! Это девушка сидела на земле. Она уже не всхлипывала и стала посматривать по сторонам. Кирюша решил отступать... Хрустнула! Девушка подскочила, и их глаза встретились...

...— А у вас костер, да? — и неожиданно — у Кирюши перехватило дыхание — вложила свою руку в его. — Пойдем?

Ночь была глухой, а маленькая рука — ледяной, он не то согревался, не то замерзал, во всяком случае, ощущал мурашки, и они шли по страшному лесу рука об руку! Не во сне. Так они возникли в свете костра. Оба приятеля хмуро уставились на это невероятное зрелище.

Тут вагон стал замедлять ход, заскрежетал и остановился. Вагоновожатая прохрипела в динамики: «Электростанция, конечная остановка».

— Приплыли, — сказал Кашин.

— Пипец, пришли, — сказал Стива.

— Здравствуйте, девочки, — сказал Кирюша.

Глава десятая
Их привезли

Странное зрелище представляет собою коллективный сад поздней осенью. Недалекий и дубовый садовый участок. На Урале. Где вообще-то дубов (в прямом, конечно, смысле) совсем не так много. А в переносном смысле их еще меньше. Потому что в переносном смысле дубы-колдуны почти не

видны. Как, кстати, и коты-колдуны, на одном из которых мы споткнемся ниже. Везде в основном идиоты, а дуб почти не виден. Видны опустевшие домики, грядки, деревья, остовы парников и теплиц с болтающимися на ветру обрывками полиэтиленовой пленки. Засыпанные бурыми листьями и подернутые инеем дорожки. Небо снеговое, низкое. И потом, еще ведь никак не начинается метель. Она непременно начнется, но несколько позже.

А пока вы подходите к металлическим воротам, и ваше сердце неспокойно: не закрыты ли они снаружи и изнутри на два огромных ржавых навесных замка. Потому что такой замок вы не откроете снаружи своим дубовым ключом. А уж тем более — тот, что изнутри. И тогда неизвестно, что вам делать. Колотить кулаками и каблуками в ворота, в надежде разбудить сторожа? О, если сторож уже залег в зимнюю спячку, это почти безнадежно. Даже если его дом поблизости, он не услышит. Даже если у сторожа есть специальная для таких случаев огромная дворняга, это вам вряд ли поможет. Псина прекрасно — может быть, более чутко, чем люди, — понимает сезонную сущность дачного бытия. У него до следующей весны уже нерабочее время. Он может даже услышать вас и даже подбежать к воротам поглядеть на вас. Но скорее всего, он не удостоит залаять. Он, скорее всего, немного послушает вас, порычит или, наоборот, повиляет хвостом и убежит по своим собачьим делам. Вы ему неинтересны. Не сезон. Не резон. Да, сад летом — это колониальная тема, а осенью? Осенью, несомненно, постколониальная.

Предположим, что вы молоды, сильны и целеустремленны. Вы лезете через ворота. Предположим даже для приятности, что сверху нет колючей проволоки. Впрочем, если вы по-настоящему молоды и целеустремленны, пусть даже и есть, она вас не остановит. В этом случае добросовестный бдительный пес, конечно, залает на вас. Но услышат ли его — вот в чем загвоздка. Сторож в спячке не реагирует на лай своей собаки, потому что не сезон. Он думает, что собака лает на сороку. Или на бурундука. Или на ящерку. Впрочем, что это? Какие уж там ящерки поздней осенью! Разве что волшебные. Сторож, скорее всего, вообще тяжело пьян и ни на что не реагирует, даже на пожар собственного дома. А еще скорее всего, что сторожа просто нет в саду. Он пошел в поселок за спиртным, или на речку мыть золото, или в гору за самоцветными камнями, или в лес за дикими козлами. В последнем случае и собака, скорее всего, ушла вместе с ним.

Так что лезьте смело, идите куда хотите и делайте все, что вам только заблагорассудится. Пока не началась метель. А она непременно начнется.

Но это — вы. А повесть наша не о вас написана, а вот об этих самых наших, как их, героях. Или, точнее, о персонажах. Потому что уж какие там они, в жопу, герои! Даже Стива — он уж скорее антигерой, хотя я бы не стал так говорить, почему же сразу антигерой. Даже Олег, хотя он и настоящий, искренний комсомолец, но ведь не назовешь его комсомольцем-героем. Не говоря уже о Кирюше, который и вовсе не герой, и даже быть героем посчитал бы для себя зазорным.

Так вот, когда они приехали, их не охватило странное чувство при виде коллективного сада поздней осенью.

Во-первых, потому, что они до него еще не дошли. Когда они приехали, уже глубокой ночью, и вагоновожатый машинист объявил о прибытии вагона на конечную станцию, дождь лил как из ведра. Долгое время они даже не решались покинуть эту так называемую станцию, представляющую собой ржавый железный сарай, по счастию с деревянной скамейкой. Они там сидели, курили, выпивали, дебоширили, разговаривали и снова дебоширили. Однако Олег стал поторапливать спутников, говоря, что нужно идти, что иначе они вообще никогда не дойдут. Ребятам не хотелось покидать гостеприимный навес, словно какая-то сила удерживала их здесь. Но Олег настоял, да и дождь постепенно стал иссякать.

Они пошли. Справа по борту высоко в небе поблескивали мертвые огоньки Святого Эльма на черном силуэте мертвой электростанции. Асфальт постепенно, но очень быстро кончился, и дальше пришлось идти по раскисшей глинистой дороге. Олег и Кирилл перенесли это еще так-сяк, но Стиве в его изначально белых кроссовках было совсем худо. Он стал грязно браниться, но ничего не мог с этим поделать. Всхрабренный вином, он даже стал грозить этому Ивану Сусанину, что сейчас разуется, пойдет босиком, простудится и скончается от пневмонии. Олег сказал, что в таком случае Стива несомненно скончается, но не от пневмонии, а совсем наоборот, от столбняка, потому что тут везде сплошная колючая проволока и дикий кал. Так оно и было. Олег включил фонарик, и, когда его луч попадал не на грязь, а на окружающие ее заборы, было видно, что они сплошь опутаны колючкой.

Да и что это были за заборы! Покосившиеся то вовнутрь, то наружу, щербатые, доски на которых оторваны то снизу, то сверху, а местами заменены ржавыми железными листами или размокшей и рассохшейся фанерой. Да и те доски, что еще держались в изгороди, все как на подбор были разной длины, ширины и толщины, частью с облупившейся краской, частью обгоревшие, частью просто покрытые корой горбылины.

Да и что это была за колючая проволока! Ржавая, поломанная, то спутанная в клубки, то прибитая поверху изгороди, то опутывающая доски сверху донизу, как будто бы лишь для того, чтобы они окончательно не рассыпались. Лишь изредка можно было увидеть участок крепкого забора, над которым колючая проволока была аккуратно, как струны на колках, натянута на склоненные над огородом железные трубы. Однако, когда проходили мимо такого участка, Ольгович именно его подверг беспощадной партийной критике.

— Смотрите, какой дебил хозяин.

— Почему?

— Колючая проволока натянута неправильно.

— Почему неправильно? Как в концлагере.

— Вот именно, а здесь же не концлагерь. В концлагере нужно, чтобы зэк изнутри не убежал. Поэтому колючка натянута наклонно над его головой. А здесь нужно, чтобы воры не забрались снаружи. Значит, колючка должна быть наклонена наружу. А тут все наоборот. А все почему? — поднял Ольгович палец вверх. — И по какой причине? И какой из этого следует вывод? А следует вывод, что хозяин, как и все люди, — идиот и обезьяна, способная только копировать чужие действия, не понимая их смысла! Вот!

С этими словами философ вступил в столь глубокую лужу, что даже ахнул. Освещенная фонариком, лужа оказалась простирающейся от забора до забора и совершенно необходимой.

Стива свирепо сказал: «Ну все, писец, пришли, здравствуйте, девочки!» — и стал снимать кроссовки.

Кирилл закричал:

— Не надо, Стивочка! А хочешь — я разуюсь, отдам тебе сапоги, пойду босиком по терниям и умру за тебя!

— Спасибо, друг! — горячо воскликнул Стива. — Очень хочу!

Он схватил Кирилла за шиворот и потребовал, чтобы тот немедленно исполнил обещанное. Кирилл в ужасе отбивался, но тщетно. Подлый Сусанин неожиданно встал на сторону Стивы и потребовал, чтобы Кирюша отвечал за базар. Оба отчаянно хохотали, разувая Кирюшу. Кирюша визжал и отбивался, крича:

— Почему же я?! Сусанин завел нас сюда, пускай он и разувается!

— Нет-нет, ни в коем случае! Не думай, Сусанин не отвертится, он за свои преступления ответит, как и положено, головой! Его мы несомненно казним, как только дойдем до болота, но должен же и ты пострадать.

— А мы уже дошли до болота, не видишь?! Что это со всех сторон? Не болото? Не болото, я вас спрашиваю?!

— Не, не болото, — спокойно ответил Сусанин. — Это так себе, просто лужа, а болото впереди.

Услышав такое, Стива немедленно сделал Кирюше подсечку и, когда тот упал, в два мгновения стянул с него сапоги.

— Давай перейдем, — придумал решение Сусанин, — а потом перекинем ему сапоги обратно через лужу.

— Не нуждаюсь! — оскорбленно заревел Кирюша, севши и стягивая носки. — Ступайте прочь от меня, грязные разбойники! Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души!

С этими пророческими словами он решительно наступил в луже на что-то острое и в ужасе заорал, упавши навзничь. Рассмотрели под лучом фонарика его ногу: она была целая и даже осталась почти чистой. Тем не менее он отказался идти дальше и потребовал, чтобы его несли. Друзья немного поспорили, но в конце концов согласились. Стива взял его за руки, Сусанин за ноги, и понесли через лужу, в которую и опустили примерно на полпути.

После этого, конечно, пришлось сделать привал, чтобы немного выпить и согреть тем самым Кирюшу. Стива даже предложил развести костер.

— Да из чего? — спросил Сусанин.

— А вон сколько заборов вокруг! Повалим любой и сожжем.

— Дождь же, они мокрые.

— Не надо, он уже кончился.

Дождь и в самом деле как-то незаметно прекратился, и на черном небе выступили необыкновенно яркие и чистые, словно бы умытые дождем, звезды. Они были гораздо крупнее обычных.

— А звезды-то какие, смотрите! — воскликнул Кирюша. — Че они такие офигенные?

— Это потому что за городом.

— И что?

— А то, что здесь воздух чище. Вот он и более прозрачный, и звезды лучше видно.

— Охереть легче.

Кирюшина фляжка почти опустела, и Стива достал из сумки бутылку водки. Свернули ей голову и, зажмурившись, сделали по глотку из горла. Пошло на удивление хорошо.

— А как вы думаете, есть ли жизнь на Марсе? — спросил Кирюша.

— Есть, — ответил Сусанин.

— Нету, — возразил Стива.

— Есть, есть!

— Нету!

— Есть!

— Нет!

— Есть!

— Нет!

— Есть!

— Нет!

— Есть!

— Нет!

— Есть!

— Нет!

— Есть!

— Нет!

— Нет, а вот если серьезно, — спросил Сусанин Стиву, — как ты думаешь, есть ли жизнь на Марсе?

— А вот если серьезно, то как ты думаешь, приятно ли съесть клопа?

— В каком смысле? Если серьезно, думаю, что нет.

— Ну вот, и я очень надеюсь, что на Марсе нет жизни.

— Почему?

— Больно уж он близко. У нас тут какая-никакая цивилизация, а жизнь на Марсе... Ну ее в жопу. Клопы какие-нибудь. Смотрел «Звездный десант»? Да молчи, знаю, что нет. И даже не пизди, что смотрел, потому что смотреть ты его не мог. Так вот, не смотрел — и помалкивай.

— Ну и что, а у них, может, тоже цивилизация, только другая, внеземная.

— Какая такая еще «другая»? Цивилизация или есть, или ее нет совсем — тут нельзя ошибиться! Цивилизация в Америке, в Европе и в Японии. Немножко в Москве. В Свердловске — так, зачаточные формы. Но только в центре города. А на окраинах ее нет совсем.

— А как же древние цивилизации? — усомнился Кирюша.

— Ну и где они? Их нет. Значит, не цивилизации это были, а полное говно. Цивилизация одна — западная. Есть страны, которые пытаются ее перенять, а есть такие, которые даже не пытаются. Они обречены на уничтожение.

— А вот тут мы с вами и поспорим! — включился в разговор Сусанин. — Разве не величественной была античная цивилизация? Разве западная цивилизация не унаследовала многие ее черты?

— Ах, поспорим?! А спорить со мной нефиг! Вот именно ты сказал — унаследовала. А наследуют у кого? У мертвых! Античная твоя цивилизация — полное говно, потому что не было свободного предпринимательства и частной инициативы. Императоры там всякие, Ликурги, бля!

— Значит, Стива, ты считаешь современную западную цивилизацию эталоном цивилизации вообще?! — вскочил на ноги Сусанин. — Твои взгляды устарели! Ты рассуждаешь, как какой-нибудь тупой империалист начала века. Западная цивилизация, между прочим, не стоит на месте, она развивается, и не только технически, но и социально. И между прочим, она эволюционирует — в сторону чего бы ты думал? Социализма, именно социализма! А в перспективе — и коммунизма! Они идут к тому же, к чему и Советский Союз. Правда, другими путями, но идут. И философия марксизма-ленинизма не стоит на месте. Вот при Сталине сколько народа зря расстреляли? Много. А при Хрущеве партия осудила культ личности Сталина, и советское общество стало более гуманным. Что, не так? Пошли дальше. При Хрущеве у колхозников огороды обрезали, а сейчас что? Наоборот! Партия и правительство приветствует развитие личного подсобного хозяйства граждан. Разве не эволюция? И неизвестно еще, до чего эта эволюция дойдет. Может быть, когда-нибудь КПСС сольется с Республиканской и Демократической партиями США в единую международную Партию Прогресса и Демократии!

— Ага, да, конечно! И ты, ясен пень, станешь ее генеральным секретарем!

— А почему нет, если уж на то пошло?!

Это заявление вогнало собеседников в некоторый ступор, выразившийся в затянувшейся паузе. Оказывается, Олежек-то наш больной на всю голову. Мы-то думали, что не на всю, а оказывается — на всю. Стива только и смог вытаращить на Олежека глаза.

Кирюша нашелся быстрее. Он горячо обнял Кашина и вкрадчивым голосом пообещал:

— Голубчик, мы вас вылечим! Алкоголики — это наш профиль.

Олегович оттолкнул Кирюшу и обиженно заявил:

— Сами вы дураки, алкоголики и пьяницы. Сидите тут, ничего не знаете, водку хлещете из горла!

— А ты уже не хлещешь? — прищурился Стива.

— А я уже не хлещу! Давайте, друзья, выпьем вина!

— Давайте! — согласился Кирюша.

— Да ну, на фиг, мешать, — усомнился было Стива, но его оплевали физически и обосрали морально.

Ольгович долго рылся в рюкзаке и наконец вынул бомбу сухаря. Сняли с Кашина телогрейку, сели на нее, сковырнули пластиковую пробку и пустили бутылку по кругу.

Выпив вина, Стива мгновенно собрался с мыслями и стал вправлять мозги шибко больному Кашину. Спор о международных отношениях принял самую драматическую форму.

СТИВА (возмущенно). Какая эволюция?! Какая, на хрен, единая международная Партия Прогресса и Демократии?! У нас одни маразматики, а в Америке сплошь ястребы, а Рейган шизанутый, как и ты, на всю голову! А Звездных Войн не хочешь?

КИРЯ (глотнув из бутылки вина). Будет война, обязательно будет!

СТИВА (наседая на Кирю и указывая пальцем на Кашина). А чем они будут воевать? Старыми пулеметами Калашникова? А воздушный флот? Как вы думаете, сколько у большевиков аэропланов?

КИРЯ (блаженно закуривая). Штук двести.

СТИВА (саркастически). Двести? Не двести, а тридцать два! А в Америке восемьдесят тысяч боевых самолетов!

КИРЯ (услышав, о чем идет речь). Самолетов?

СТИВА (кричит). Восемьдесят тысяч! А то и все сто!!

ОЛЕГ (отстраняя мешающегося Кирюшу рукою). Нет уж, Стива, ты уж не свисти. Не может быть сто тысяч. Тысяч пять. Максимум — шесть. А у Советов тоже тысяч пять. Минимум. А максимум — десять.

СТИВА (вскакивает на ноги). Ты, во-первых, сам не свисти! А во-вторых, какая, в жопу, разница, сколько? А в сорок первом году у нас сколько было танков?

ОЛЕГ (недовольно). Они были устаревшими.

СТИВА (довольно). То-то! А сколько было самолетов?

ОЛЕГ (кисло). Это были гробы.

СТИВА (сладко). Во-во! А сейчас, думаешь, не так?

Олег чешет в затылке. Вообще-то да. Он вспоминает плакаты, воспевающие военно-воздушную мощь Советского Союза, на которых изображен устремившийся в зенит истребитель МИГ-21, внизу же нарисована сетка радиолокатора, из-за которой торчит длинная зенитная ракета С-75. Судя по таким плакатам, военно-техническая мысль СССР отстает от западной на четверть века — как если бы гитлеровская Германия напала на царскую Россию. Молниеносный пиздец. Но сдаваться Олег не любит.

ОЛЕГ (упрямо). Ну и что? Победили же тогда.

СТИВА (торжествуя). Ха, победили! Еще бы не победить, когда за нас воевали Англия, Франция и, на минуточку, Америка! Это во-первых и в главных. Ну и во-вторых, потому что идиоты были: «За Родину, за Сталина!». А сейчас пойдут умирать за Родину, за Черненко? Пойдут, тебя спрашиваю?

КИРЯ (вдохновенно вскакивая на ноги). Стоп, снято! Не отвечай, Кашин, ответ очевиден, молчи!

Темнота. Занавес. Конец.

Стива, разгорячась, пытался продолжать тему и сказал, что не стоит дальше рвать пуп в гонке вооружений — все равно уже не догнать. Лучше

эти деньги отнять и поделить. В ответ на это Кирюша вручил Стиве бутылку и сказал: «Ну тогда типа заткнись и пей». Стива выпил.

Заметно холодало, и скоро, несмотря на принятый на грудь объем греющих напитков, им стало холодно. Они заметили, что при дыхании изо рта идет пар.

— Блин, а тут холодно. Допиваем, и пошли! — скомандовал Стива.

— Ну нет, теперь я сперва оденусь как следует! — возразил Кирюша.

Он надел свитер и пальто. Потом облачился в кашинскую телогрейку, на которой сидели. Затем стал заворачиваться в брезентовый тент, но руки не гнулись, и брезент падал.

— Ну ты, колобок, мы пошли.

Допили бутылку, встали и пошли. И когда пошли, оказалось, что вино сильно ударило в ноги. И запнулись, и споткнулись, и упали!

Кошачий череп!

— Череп, череп, башка че, не череп?! — заорал Стива.

Раскрутив на палке, выбросили его во тьму внешнюю. Вскоре Стива опять упал. Звякнули бутылки в сумке. Кашин посветил, и оказалось, что споткнулся он о череп. Думали — о тот же. За дружным хохотом не заметили, что этот череп был другим, собачьим.

— За это предлагаю сварить из него суп! — воскликнул Олег, но его растоптали.

Вдруг дошли до какой-то калитки.

— Сюда, — сказал Сусанин.

— Писец, пришли, — сказал Стива.

— Здравствуйте, девочки, — сказал Кирюша.

— Выпьем? — предложил Стива.

— А то! — поддержал Кирюша.

Стива достал бутылку водки, и все выпили.

Пока отплевывались, откуда-то донесся нечеловеческий вой.

— Здесь волки, — предположил Стива.

— Людоеды, — уточнил Кирюша.

— Это собака Баскервилей, — сказал Сусанин. — Даже две.

Стива достал сигареты и закурил. Кирилл закурил сразу две штуки — одна во рту, другая — в руке, и менялся. Олег, правда, не закурил, но запел во весь голос, и что бы вы думали? — «Восьмиклассницу»!

— Ну ты, Кобзон, ты хоть не фальшивь! — пристыдил товарища Стива.

— Не могу, — развел руками Кобзон.

— Слушайте, а чего мы опять водяру хлещем? — задался вопросом Кирюша. — Да еще без закуски. Это неправильно, так водку не пьют. Так пьют только вино.

И он достал бутылку портвейна.

— Массандра? — спросил Стива.

— А то!

Но тут была пробка. С трудом пропихнули ее внутрь бутылки. Стива и Кирюша глотнули.

— И ты, Тюленин, давай, не бойся.

— А я и не боюсь, — заверил Тюленин и достал из рюкзака полиэтиленовую кружку.

— Предлагаю освежить голову.

— Освежевать!

— Не возражаю. Идем в лес!

— Не возражаю, но сначала надо докончить бутылку, — подняв указательный палец, заявил Стива. — А то вдруг придут волки, все съедят и выпьют!

Бутылку допили. Сильно захорошело.

Насилу дошли. В темноте дом было не разглядеть: так, какая-то халабудина вдребезги и напополам. Какашин осветил фонариком замок, пошарил рукой над косяком, достал ключ и открыл дверь.

— Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон! Ну и ты заходи... А Кирюша обождет в коридоре.

Кирюша пнул товарища, и все трое ввалились в помещение. В доме зажегся свет. Они стояли в крохотной передней, где едва умещались вешалка и печь. Хозяин пригласил гостей в следующую комнату, где было чуть попросторнее, стояли диван, кровать, шкаф и большой круглый стол.

Стива весьма критически оглядел обстановку и остался доволен. Он поставил на стол свою телемагнитолу, сумку, потер руки и сказал:

— А вот теперь мы будем жарить шашлыки.

— Как шашлыки?

— Как, шашлыки?

— Именно шашлыки!

— Да на чем же?

— На углях, естественно. Сейчас мы разведем огромный костер. Такой, чтобы небу было жарко. Пионерский костер! А потом...

— Ну, не получится.

— Что не получится?

— Пионерский костер не получится.

И поднаторевший в символах и атрибутах комсомолец-герой Земнухов стал, горячась от горячительного, доказывать, что никакого пионерского костра не получится! (Он был пьян не по годам, даром что самый старший.) Потому что настоящий пионерский костер — это вам не просто, как думают, большой костер. Нет, настоящий пионерский костер — это наивысшая эволюционная стадия костра вообще. Да вы хоть раз видали настоящий пионерский (артековский, разумеет он) костер?! Нет, вы не видали настоящего пионерского костра!

— Ну видал я артековский костер, и хули? — сказал Стива.

Земнухов на мгновение смутился, вспомнив, что Стива тоже бывал в Артеке. Это не значит, что он смутился надолго. На минуточку!

Но и этой минуточки было достаточно, чтобы инициативой завладел Кирюша.

— На чем, спрашиваем мы? — настаивал на своей версии вопроса Кирюша. — Ты что-то часто тупого стал включать! На чем?! Для шашлыка нужны шампуры. У нас их нет.

— У вас ваще ничего нет! А у меня есть.

— Что?

— Шампуры.

— Как шампуры?

— Как шампуры? (Это уже Олег очнулся.)

— Шампуры, — сказал Стива и, расстегнув сумку, побряцал внутри и вынул на свет божий шампуры. Это страшное на вид оружие. Штук десять.

Олег и Кирилл, до этого не столь уж часто видавшие шампуры, со скрытым восторгом рассматривали эти атрибуты сладкой, но дикой жизни перед своими собственными носами.

— А мясо? Может, и мясо у тебя есть?! — возопил Кирюша.

— Есть, — хладнокровно ответил Стива и со словами «Дас ист мясист» уже полез было в свою волшебную сумку.

Но Кирюша и так уже не сомневался, что сейчас из этой сумки Стива извлечет все, что ему заблагорассудится, вплоть до говна зебры на лопате на блестящей. Кирюша взвизгнул:

— Баранина, да? Замаринованная со специями, да?! Жирная и с ребрышком в каждом кусочке, да?!! Нет, лучше убейте меня, убейте! — и Кирюша

стал якобы изо всех сил биться головой о подушку. А также пустил пену изо рта. Пены, правда, настоящей у него не получилось, потому что к пусканию пены нужно готовиться заблаговременно посредством хотя и противного на вкус, но впечатляющего по результату шампуня. Однако кой-какие слюни он все же выпустил изо рта.

— Не выеживайся, — посоветовал ему Стива. — Не баранина. Простая грязная свинина. Не замаринованная. Без специй. Без ребрышек. Но настоящая, и прямо здесь и сейчас, и притом два кило.

Ребятам было неудобно, а Стиве — хоть бы хны, хотя, вероятно, он прикидывался.

— Ну ты Турандина! — воскликнул Кирюша.

— Какая такая Турандина? — заинтересовался Олег.

— Целый год, почитай, ждали, вот какая Турандина! — опять воскликнул Кирюша.

Он что-то часто стал восклицать.

Какашин внезапно ударил кулаком по столу и громовым голосом сказал:

— Нет!

— Что нет?

— Сначала я буду топить печь! А уж потом и шашлыки! Потому что затопить печь — это главное!

— Да ну тебя на хрен с твоей печью, потом затопишь.

— Печь, дурачье, за пять минут не натопишь! Ее надо топить несколько часов, если хотите спать в тепле. А вас я, кстати, не задерживаю — идите жарьте свой шашлык.

— Олежек, если мы его вдвоем зажарим, мы ведь вдвоем и съедим.

— Испугали девку хреном! Вдвоем съедите, вдвоем и спать будете! На дворе! А я тут скромно наверну тушеночки и буду спать на кровати.

— Убедил. Ладно, так и быть, оставим тебе пару кусочков поплоше, подавись. Пойдем, Киря. А ты давай печку топи, потом нас накормишь, напоишь и спать уложишь.

Однако вышли на улицу все втроем.

— Ну какой костер? — с сомнением в голосе поежился Кирюха. — Сыро все, холодно...

— Вот и хорошо, что холодно! Погреемся.

— И не беда, что сыро, — неожиданно сказал Олег. — Там в сарае есть целый берестяной короб. Ну, в смысле, что целая коробка бересты.

— И хули? — цинично (а на самом деле показав себя полным идиотом) спросил Киря.

Ну, тут уж ему досталось... Тут уж начались натуральные разборки. И можете себе представить, эта жалкая ничтожная личность еще спорила!

Она спорила, что не могу поступиться принципами. Что мокрая древесина, а равно трава («Вот траву-то не трогал бы, а?!» — сказал бы кто-нибудь, если бы нашелся добрый человек), кора и протчая листва хорошо гореть не может. Потому что, видите ли, эта глубоко гуманитарная, жалкая и ничтожная личность по иронии судьбы весьма успевала по химии и физике и поэтому решила, что ей все дозволено. Дозволено игнорировать многотысячевековой опыт предков и вопрошать, за счет какого же такого загадочного «теплорода» эта самая пресловутая «береста», будучи мокрой, будет да вдруг хорошо гореть?! Это что за средневековая алхимия такая?! Нет, вы докажите, докажите!

— Ща докажем, — пригрозил ему Стива.

— Она сухая, дурак, как порох! Всю жизнь в сарае пролежала! — добавил фунт презрения к Кирилловому вульгарно-метафизическому материализму Олег. Он сходил в сарай и принес кой-каких щепок и палок.

Стива, сообразив, что Кашин прав насчет тепла в доме, послал его топить печь, а сам стал разводить костер. Но оба стояли здесь и, противно приплясывая, давали полезные советы.

— Подуй на него, — сказал Кирилл.

— Надо шалашиком поставить, и бересты, — посоветовал Казей.

— Подуй на него, — настаивал Кирилл

Стива заматерился, оттолкнул обоих и, вылив из зажигалки бензин, зажег. Бензин вспыхнул у него на руках и потух.

— Подуй на него, — крикнул Киря и убежал в темноту.

— Ты шалашиком...

— Пошел печь топить!

И Кашин снова пошел в дровяной сарай, крайне довольный тем, как все складывалось.

Он взял охапку дров, горсть бересты и, возвратившись в дом, быстро затопил. Сухие дрова запылали и загудели с одной спички. Зная, сколько времени займет разведение костра у его криворуких товарищей, он прошел в комнату и развязал рюкзак. Подумал и на всякий случай закрыл дверь на крючок. Задернул шторы. Вытащил бутылку водки. Достал из буфета граненый стакан. Откупорил бутылку и налил ровно двести граммов, как и договаривались, — себе. Вытащил из рюкзака заблаговременно приготовленную упаковку специальной добавки и добавил в бутылку. Подойдя к печи, приоткрыл дверцу и бросил упаковку в огонь. Затем облегченно вздохнул, снял крючок со входной двери и занялся сервировкой стола. Тут же, шатаясь, ввалились эти двое.

— Костер не получается, — сообщил Стива. — У тебя скивиродка есть?

— Чего?

— Скивиродка, бля. Шашлык будем жарить на скивиродке. Но на шампурах!

— Как так?

— Блин, хватит, во всем сомневаться. Тащи скивиродку!

Сковородки в домике не оказалось. Кашин пошел искать ее в сарае. Стива взял сумку и достал из нее бутылку водки.

— Давай сначала какашинскую выпьем, — предложил Киря.

— Какашинскую? Ну уж нет! Сначала эту выпьем, а какашинскую на потом, когда уже пьяные будем.

— А то мы не пьяные! И какая разница?

— А такая, что у него «Пшеничная» параша, а у меня «Столичная».

— И что?

— Ты совсем дурак, а? Ты разницы не понимаешь?

— Не совсем.

— Эх ты, а еще поэт называется! «Пшеничная» — это параша, а «Столичная» — это раша! Но в хорошем смысле! «Столичная» завода «Кристалл». Это экспортный продукт. Черная икра и «Столичная» — это единственные советские продукты, которые котируются на Западе, понял? Это реально символ Советского Союза. Да ты сам попробуй!

И Стива протянул Кирюше граненый стакан с «Пшеничной».

— Глотай!

Кирюша зажмурился, чуть-чуть отхлебнул и закашлялся.

— Я же говорю — параша! А теперь сравни!

Стива свернул завинчивающуюся крышечку со «Столичной», взял другой стакан, плеснул на донышко и протянул Кире.

— Глотай!

— Можно я не буду?

— Глотай!

Кирюша глотнул и опять раскашлялся.

— Ну как?

Кирюша еще покашлял, закусил шпротиной и осипшим голосом сказал:

— Такая же параша.

— Че ты гонишь?!

Стива сам глотнул из кашинского стакана, потом из горлышка своей бутылки и возмущенно заорал:

— Ты гонишь! А вот теперь после «Столичной» быстро пробуй «Пшеничную»!

— Стива, ступай в жопу.

— Быстро!!!

Кирюша глотнул, и теперь действительно пошло совсем худо. Он чуть не блеванул, «Пшеничная» вылилась изо рта обратно в стакан с остатками непрожеванной шпротины.

— Ты че хоть, не блюй! Ну, теперь убедился?!

Кирюша убедился. А Стива посмотрел в кашинский стакан и захохотал:

— Че ты ему в стакан-то наблевал, наспускал, нахаркал, что за свинство, а еще интеллигенцию из себя корчишь!

Испоганенную водку пришлось выплеснуть в форточку, а стакан снова налить доверху. Конечно, «Пшеничной»: пускай Кашин сам свою парашу пьет.

— Стива, а в бутылке же мало осталось, он заметит!

— И что? Ему двести грамм налито, а остальное мочим как хочем!

Кашин вернулся со сковородкой. Стива поставил ее на докрасна раскаленную плиту и стал пристраивать на нее шампур с мясом. Никак не получалось.

— Да хэ с ними, с шампурами! — махнул рукой Кирюша. — Давай так жарить.

Стали жарить так. Мясо сразу же зашипело.

— Под дичь?

— Под дичь.

Под дичь накатили так энергично, что дальше связное повествование не складывается.

Глава одиннадцатая
Ледяная чешуя

Просыпаться было страшно и вообразить, но спать тоже больше не получалось. Кирюша открыл глаза и мгновенно пожалел об этом, потому что стало очень дурно. Закрыл обратно, но верно говорят, что обратной дороги нет, и дурно осталось по-прежнему. И во всяком случае, нужно было попить: глотка ссохлась, и щеки изнутри тоже присохли к зубам, а язык — к глотке. Кирюша поднатужился и, не открывая глаз, сел. В этом положении заломило голову. Он снова лег, но попить было надо. Он снова сел и вторично открыл глаза. Из-за полузадернутых занавесок шел резкий болезненный свет.

Во-первых, оказывается, что Кирюша находит себя на полу в кухне и ничего не помнит. Во-вторых, первый приступ дрожи показывает Кирюше, от чего он на самом деле проснулся — от невыносимого холода. Он осторожно повел глазами по сторонам в поисках воды и оной не нашел.

Пошатываясь, он поднялся на ноги, без удивления обнаружил, что закутан в половик, хотя и не помнил... ничего не помнил. Начался второй приступ дрожи, а воды не наблюдалось. Кирюша перекинул волочащийся по полу конец половика через плечо и начал движение куда-нибудь. Больно зашибся о табуретку, та со стуком опрокинулась. Морщась одновременно от

боли и отвратительного грохота, Кирюша поднял глаза и увидел, что дверь приоткрыта и в щель летят снежинки. Вот какой урод ее оставил открытой? Еще бы не замерзнуть...

Он оглянулся и — наконец-то! — увидел на плите чайник. Подошел и стал жадно пить ледяную до того, что заломило зубы, воду. Выпил всю. Глотка, кажется, разлепилась. Пальцы нечаянно тоже, и чайник, брякая, покатился по полу.

— Вы достали уже греметь! — послышался сиплый голос.

Кажется, Стивин.

— Стива! — позвал Кирюша тоже совершенно чужим голосом.

— Че?

— Ты, что ли?

— Ты.

Кирюша, которого после выпитой воды с новой силой охватила дрожь, направился на голос.

Стива, в этом Кирилл не ошибся, лежал на кровати под одеялом и полушубком и молча смотрел в дощатый потолок. Потом перевел взгляд на Кирилла.

— Че гремел?

— Чайник уронил.

— Все выпил?

— Все.

— Козел. Эй, Кашин, где у вас вода?!

Молчание.

— Олег!!!

Молчание.

— Урод.

Стива поднялся на страшно заскрипевшей кровати, сел и, поморщившись, взялся за голову. Подержавшись за нее некоторое время, посмотрел на Кирюху.

— Что, херово тебе, Вася?

— Херово...

— А мне еще херовее!

Стива встал на ноги, поежился и, застегнув куртку под горло, направился на кухню. Сразу загремело железо и плеснула на пол вода. Кирюша вышел за другом и увидел, что тот, держа в руке крышку ведра, пьет из ковшика. Вот где была вода.

Напившись, он утер губы рукавом и спросил:

— Че так холодно-то? Мы ж печь топили...

— Дверь открытая была.

Стива оглянулся.

— Была?! Она и открытая. Ты видел, так че не закрыл?

Он шагнул к двери, но, вместо того чтобы закрыть, распахнул ее настежь и со словами «твою мать!» вышел на крыльцо. Кирилл последовал за ним.

Действительно, твою мать! При первом же вдохе горло почти обожгло холодом. Приятели спустились с крыльца. Трава под ногами хрустела, как стеклянная. Вчерашняя грязь окаменела. Стива наступил на замерзшую лужу, но лед не сломался. Он ударил по нему ногой, но тщетно: лужа промерзла до дна.

— Это ж сколько градусов? — поразился Кирюша.

— До хера и более. Точнее, менее, — угрюмо определил Стива. — Пошли в дом.

В доме после сияющего уличного мороза показалось темно и тепло, но воздух был спертым и отчасти тошнотворным. Кирилл отдернул занавеску и увидел изморозь на стекле.

— И вот вопрос номер один: где этот Корчагин?

Кирилл только пожал плечами. Стива высматривал свою сумку и пожатия не увидел.

— Ага, вот она. Что молчишь, простокваши в рот набрал? Так, говоришь, плохо тебе?

— Плохо.

— Это хорошо, что плохо.

— Почему?

— Потому что когда плохо, — приговаривал Стива, роясь в сумке, — то это плохо, но перспективно, и это — хорошо. А вот когда хорошо... Ага, есть... тогда хорошо, но совершенно бесперспективно, и это — плохо.

— Кончай философию, и так башка раскалывается.

— Философию? Это, Кирюша, не философия, это народная мудрость! Башку твою сейчас поправим.

Кирюша обернулся. На столе стояла открытая бутылка водки. Стива уже протирал чем-то непонятным один граненый стакан и одну ваще нечеловеческую байду или, кажется, бадью. Типа ковшика, но точно не ковшик. «Турка», — вспомнил он правильное название. Так-то в ней нормальные люди кофе пьют. То есть варят.

— Че, бухать, что ли, опять собрался?..

— Ну... И не я, а мы.

— Да я не собрался...

— А ты соберись.

— Да я сблюю! Я щас все облюю здесь на х...! С ног до головы!

— А че ты заматерился-то? Вдруг. О-о. Ну и облюй, если хочешь, мне не жалко. Но ты вообще-то по идее не должен сблевать. Ты просто потерпи минутку, ладно? И не сблюешь.

Кирюша сделал вид, что поверил, но продолжал с подозрением следить за манипуляциями товарища, который уже нарезал хлеб, открыл банку шпротов и вот прямо сейчас лил.

— Не, ну ты сколько мне наливаешь-то?!

— Да мало!

— Да где же мало?!

Киря глянул в байду, ону же бадью, убедился, что совсем не мало, и заблажил дурным голосом, или, как это называет Стива, голосовкером.

Стива терпеливо объяснил дураку:

— Не «бухать», как вот ты тут вульгарно выразился, а опохмеляться мы собрались. Поправляться, понимаешь? Лечиться. Это не пьянства ради, а здоровья для, и чтобы никогда больше не простужаться. Давай бери.

Кирюша взял стакан.

— Теперь слушай меня очень внимательно. Во-первых: водку — категорически не нюхать! Во-вторых: набираешь полную грудь воздуха, затем залпом выпиваешь и глубоко выдыхаешь. В-третьих — не вдыхаешь! А вместо этого съедаешь шпротину. Лучше даже две или три. После этого можно дышать. Понятно?

— Понятно...

— Повтори. Я не шучу — если хочешь не сблевать, а получить удовольствие, надо делать это безошибочно. О тебе забочусь.

— Водку не нюхать, глубоко вдохнуть, выпить, выдохнуть, закусить. После этого можно дышать.

— Молодец!

— А потом?

— А потом, по идее, ты уже должен прийти в себя. Ну, поехали!

Благодаря хитроумным советам Стивы водка пошла на «ура!».

— Ну как?

— Круто.

— То-то. Закусывай давай.

Разлили по второй, выпили. Головную боль как рукой сняло. На душе захорошело, и Кирилл с аппетитом налег на шпроты, вычерпывая масло корочкой хлеба.

Закурили.

— Но вот интересно, где же наш Володя Дубинин?

— Да, достаточно интересно.

Тут, когда захорошело, друзья наконец разули глаза и обозрели окрестности. И не порадовались. Беспорядок был. И не простой такой беспорядок, а сугубый, можно сказать даже, — злокачественный.

— Это что?

На полу засохли буроватые капли, причем вели они к выходу.

— Судя по цвету, это одно из трех: или кровь, или говно, или шоколад.

— Давай начнем с самого приятного. Давай думать, что это шоколад.

— Давай. Итак, это шоколад, причем жидкий. Тогда картина преступления мне ясна. Наш Марат Казей просыпается первым, готовит себе утреннюю чашку шоколату, и жадно, не делясь с товарищами, по-свински чавкая, хлебает его, и уходит из дома в неизвестном направлении. Жизнеподобно?

Кирилл пожал плечами.

— Так себе.

— Тоже так думаю. Тогда версия вторая. Это говно. Эту зловонную версию, к сожалению или счастью — не знаю, отметаем сразу.

— Почему?

— Почему? А я тебе скажу почему. Потому что в таком случае картина преступления мне ясна. Марат Казей насрал в музей. Он проснулся, и его прошиб настолько внезапный и длительный понос, что он начал здесь и, не прекращая дристать, побежал на улицу. Но, Кирюша, разве вот эти ровные частые капли похожи на то, о чем мы сейчас пытаемся говорим? Можешь не отвечать. Только представь себе, что бы тут тогда было...

Они представили и зело посмеялись, но когда смех иссяк, Кирюша присел на корточки и вгляделся в капли.

— Из всего перечисленного это, конечно, кровь. Но такой вариант мне не очень по нраву. А если глубоко-преглубоко задуматься — что это может быть еще? Краска?

— Краска. Морилка.

— Что?

— Морилка, что! Не знаешь, что такое морилка?

— Нет.

— Ну ты дубовый. Ну, короче, это такая херь для тонирования дерева.

— Ну пускай это будет краска или морилка.

— А пускай это будет уже кровь!

— Нет, Стива, не пускай.

— Да почему?!

— Посмотри, как часто. От чего это может быть?

— Например, если нос разбит, то так часто и капает. Или живот проткнут.

— Нет, живот не надо... А что все-таки краска?

— Масляная так быстро не сохнет. Может, нитрокраска.

— Только зачем?

— Что зачем?

— Зачем краска? Что красить?

— Да мало ли что! Он напился и решил что-нибудь покрасить! А что мы вообще тут делали? Ты помнишь? Я — нет. Я помню, как печку затопили, дальше не помню. Ты помнишь?

— А знаешь, я помню, — внезапно помрачнел Кирюша.

— Что? — насторожился Стива.

А вспомнил Кирюша то, что Стива вчера с криком «Все по камерам!» гонял их с Олегом по дому, причем топором. Конечно, в шутку, но размахивал топором очень от души и сплеча. Он, Кирюша, вскоре после этого уснул, но, засыпая, слышал шум борьбы и нецензурную брань. И теперь он подозревает, что вчера дело закончилось дракой. И в связи с этим предположение о разбитии носа кажется ему очень жизнеподобным.

— Черт, некрасиво получается!

— Да уж, красивого мало.

— Но только где он?

Кирилл пожал плечами.

— Не знаю. Может, он обиделся и домой уехал. Я бы так и сделал.

— Так то ты... Может, конечно, и так. Только это на него не похоже. Хотя спьяну чего не сделаешь.

— Ну если так, то что делать? Он вернется, или нам удочки сматывать?

— А я знаю?

Вопрос был непростой. Из разряда тех, что без бутылки не разберешься. Они еще выпили, и Стива пришел к единственно правильному решению: не пороть горячку. Что, может быть, Олег жив и здоров, а только заблудился. Что надо затопить печь. Тогда они одним махом убьют кучу зайцев. В доме будет тепло, и заблудившийся Олег найдет их по дыму, и вернется, и они еще выпьют и помирятся.

— Точка! — заорал Кирюша, имея в виду «точно».

— Железяка! — тоже заорал Стива, имея в виду «железно».

Они ударили по рукам, и один из них — теперь уже никто никогда не узнает, кто именно, — отправился на двор.

— Э! — воскликнул этот человек со двора. — А где дрова?

— На траве.

Однако ни фига. На траве ничего не было, кроме инея. Ну, были там кое-какие щепки, немного коры и еще один топор, правда, ржавый и еле держащийся на топорище, а вот дров-то не было в помине.

— Вот ни фига себе! Чем топить-то?

— А пошли искать дрова! Где-нибудь да найдем...

— А пошли!

— И не «пошли», а пойдем!

— А пойдем!

— Только давай сперва накатим, а то замерзнем.

— А накатим!

И они накатили, и Стива закусил хлебцем, а Кирюша залихватски занюхал рукавом.

Затем оба оделись, взвалили топоры на правое плечо каждый и бодро захрустели ногами по замерзшей траве. Как только они отошли от дома, оказалось, что не только мороз на траве, но и резкий пронизывающий ветер имел место дуть, и не столько порывами, сколько беспрерывно, так что сразу стали мерзнуть уши, нос и руки. Кирюша натянул на уши берет, а Стива надел капюшон. Вот вам и зима настала! Пришла пора печи топить. Очень хочется ударить кого-нибудь по морде.

Вокруг них расстилался целый город... Нет, не город, конечно, — целая деревня-призрак.

— Вот видишь, как умирает русская деревня!

— Советская.

— Аполитично, понымаешь, рассуждаешь! Советское — прошу заметить — село! — умирать не может по определению. Оно процветает. Оно — надежда и опора Продовольственной программы.

— Ты решил Кашина заменять? Ну-ну, давай бухти мне. То-то мы зерно в Америке закупаем.

— Ну, во-первых, если б ты не дремал на политинформациях, был бы в курсе, что уже давно не закупаем. Не продают-с. Эмбарго-с. А во-вторых — аполитично, слушай, рассуждаешь! Советское село превращается в плеяду агропромышленных комплексов и процветает! А вот русская деревня — та умирает. Она уже умерла. Она — труп! Ты посмотри!

И с этими словами Кирюша неожиданно метнул свой ржавый топор в первый подвернувшийся под руку садовый домик. Топор, подобно хорошей баллистической ракете, немедленно, как первую ступень, потерял топорище и, со звоном брызнув во все стороны стеклянными осколками, грохнулся внутрь домика.

— Кирюша! — удивился Стива.

— Советский Союз! — помахав поднятой рукой, сказал Кирюша.

— Ты напился, так не барагозь!

— Почему? Напился — так и барагозить! Когда еще?

— Тоже правильно, — подумав, согласился Стива и пошел дальше.

— Ну ты куда? Стой, надо же ж оружие вернуть!

Кирюха открыл калитку низенького заборчика и подошел к двери домика.

— Блин! А тут замок...

— Сшибай на фиг! — неожиданно развеселился Стива.

Кирюха пнул по замку ногой и, не удержав равновесия, упал.

— Ну не ногой же, дурак!

Стива подошел к замку и с размаха обухом сбил замок вместе с петлями.

Вошли внутрь. Стояла полутьма, в которой различался лежащий на засыпанном осколками полу ржавый топор, ободранный диван, покрытый изрезанной клеенкой стол, тумбочка с отслаивающейся фанерой и прочая подобная чушь.

— Оп-па! Папиросы! Кирюша, тебе повезло!

На старой этажерке лежала растрепанная и измятая коробка «Беломора».

В отличие от всех нормальный людей, Кирюша любил порой закурить-ка папиросу. Как Леонид Андреев. Другое дело, что в свободной продаже были только «Беломор» и «Любительские», дрянь ужасная (а мамочку он в тайну своего курения не посвящал), зато стильно. Хотя все равно этого никто не мог оценить.

Кирюша взял коробку. Там среди табачного крошева оказалось еще штук семь полувысыпавшихся папирос. Достал, дунул в мундштук, прикурил, сделал несколько глубоких зловонных затяжек, а когда курить надоело, пустил в мундштук слюну. Как Максим Горький. Папироса зашипела и погасла.

Стива тем временем бегло обшарил помещение глазами и остановил взгляд на этажерке.

— Этажерка, пожалуй, нам подойдет.

— Да, стильная вещица, — согласился Кирюша.

— Стильная... Стиляга херов, — проворчал Стива. — Не стильная, а сухая, и не ДСП, а чистое дерево. Да еще лакированное. Вспыхнет как порох!

С этими словами Стива сбил этажерку с ножек и стал очень технично расправляться с ней ногами, с громким треском превращая в груду отличного твердого топлива. Закончив свой труд, он собрал получившиеся дрова в охапку. Охапка получилась не слишком объемистая и совсем легкая.

— Так, — решил он. — Однако маловато будет. Ладно, еще чего-нибудь найдем по ходу. Все, Киря, бери топор, пошли домой. Да не свой, на хуй он, сломанный, нужен, мой топор бери.

Вышли из домика. Стива оглядел огород и зловеще воскликнул:

— Заборчик! Мочи его, Киря!

Заборчик был совсем низенький, по колено. Кирюша подскочил к нему и как стал рубать!

— Да не так, обухом!

— Как? — не понял Киря.

— Ну, не острием, а обратной стороной топора! Просто сшибай доски с палки, и все.

Это оказалось очень легко, и за несколько минут Киря оприходовал весь заборчик. Когда он собрал получившиеся дрова, его охапка получилась впятеро больше Стивиной.

— Вот это тема! — похвалил Стива. — Этого точно хватит.

Они вернулись в кашинскую избушку, и Стива стал растапливать печь.

У печки есть такая штучка, а называется она вьюшка. Не юшка, еще раз подчеркиваем мы, а именно вьюшка. Выдвигающаяся железная заслонка, расположенная горизонтально и перекрывающая дымовую трубу. Перед тем, как затапливать печь, вьюшку следует вытянуть. После же топки ее следует, наоборот, задвинуть, и тепло не будет вылетать в трубу. Ни Стива, ни Кирюша, естественно, не подозревают о существовании такой важной печной детали.

Олег вчера вечером открыл вьюшку, но после того, как печь протопилась, не закрыл, ибо был не в себе. Потому наутро в домике было так холодно. (Конечно, главным образом не потому, а благодаря открытой входной двери вкупе с резким похолоданием на улице, но все-таки немножко и потому.)

Итак, вьюшка была открыта. Поэтому Стиве удалось затопить печь. Нет, затопить-то удалось бы и в противном случае, только весь дым повалил бы не в трубу, а в дом, и через пять минут друзья, кашляя и обливаясь слезами, выбежали бы на улицу вон. И, выбежав, ничего бы не поняли, почему так. И неизвестно, что они стали бы тогда делать. Может быть, поехали бы домой. Но история не знает сослагательного наклонения, а в настоящей реальности вьюшка была открыта. И Стива, ничего об этом не подозревая, успешно растопил печь.

Скоро в домике стало совсем тепло, а еще вскоре — даже жарко. И друзья самым непринужденным образом сели за стол пить водку. После полбутылки им показалось, что пришло самое время решить проблему пропавшего товарища. И вот что: нужно пойти по кровавым следам и найти Олега, которой, впрочем, судя по тому, что он так и не вернулся, спился и замерз под забором. Стива сунул за пазуху бутыль и сказал:

— Айда. На обратном пути заодно еще дров прикупим!

Шутка про «прикупим» чрезвычайно понравилась обоим, так что долго еще они повторяли ее на все лады.

Замерзшие кровавые капли вывели их с крыльца и потерялись в покрытой инеем траве. Кирюша в недоумении остановился. Стива же уверенно сказал:

— А здесь в город всего одна дорога.

Так оно и было, но ведь дорога о двух концах. И они пошли, двое против ветра, к одному из ее концов. Конец подкрался незаметно. Заборы и домишки, при свете дня оказавшиеся еще более страшными, чем казались вчера, довольно скоро сошли на нет, а дорога продолжалась. Теперь по обе

стороны от нее пронзительно шелестела, порою склоняясь до самого тына, сплошная стена камыша выше человеческого роста. Дорога стала уже, запетляла и после одной особенно мертвой петли вдруг кончилась.

Это было небывалое, никогда не виданное гран-туристами прежде и захватывающее дух зрелище.

Перед ними во весь горизонт расстилалась гладь тяжелой воды. Но гладь — только во весь горизонт. У ног тяжело плескались волны, и никакой глади уже не получалось, получалась рябь. Дул сильный ветер, и высокие волны бились о песчаный брег. Несмотря на сильный мороз, волны не давали воде замерзнуть. Однако сильный мороз это не отменяло. И в результате на волнах качались сотни и тысячи круглых ледяных бляшек величиной в человеческую ладонь, а многие и больше. Льдины бились одна о другую, и звуки тысяч их столкновений сливались в один протяжный шелест. Они были видны и вдали, но чем ближе к земле, тем их было больше, а те льдины, что были выброшены волной на брег, смерзлись одна с другой и образовали странное зрелище — лед, состоящий из круглых толстых бляшек, соединенных между собой тонкими перемычками.

— Ледяная чешуя! — пораженно сказал Кирилл.

Друзья быстро переглянулись. Да, это было похоже на ледяную чешую, о которой вчера говорил безумный старец. И, кажется, безумные поселянки. Или они, кажется, нет. Но старец точно.

— Здорово!

— Охереть можно!

Они долго стояли молча у начала ледяной чешуи, и, словно загипнотизированные, смотрели на нее во все глаза, и слушали ее во все уши, но они не видели ее, и они не слышали ее, тогда отчего же они думали, что она есть? Пока холодный, пронизывающий ветер не стал уже совершенно нестерпим.

— Блин. А тут холодно, — сообщил Стива. Достал из-за пазухи водку, глотнул и протянул Кирюше. Едва Кирюша начал пить, как Стива отобрал бутылку:

— Ну хватит, присосался! Это ж не пьянства ради, а для сугрева. Чтоб никогда больше не простужаться.

Оба ощутили прилив тепла и, с зябким удовольствием кутаясь кто во что горазд, продолжали смотреть на шелестящие, наползавшие друг на друга льдины.

— Откуда он знал?

— Кто?

— Ну кто? Дед этот екнутый, в трамвае. Сталевар!

Молчание (раздумье).

— Наверное, видел раньше. Он, наверное, местный.

Ветер еще усилился и обжигал лицо холодом.

Кирюша вспомнил:

— Да, а что касается первоначального предмета поиска. Ну и где наш комсомолец-герой?

Стива в ответ только хмыкнул и пожал плечами.

— Да-а... — сказал Кирюша. — По всей видимости, этой ночью все обстояло еще хуже, чем мы могли предположить даже в самых страшных наших прогнозах. Видимо, Стивочка, ты не просто разбил Олежеку нос. По всей видимости, ты сначала пырнул его ножом в живот, а когда он, бледный от ужаса, зажимая окровавленными руками вываливающиеся кишки, пытался бежать и спрятаться в камышах, ты таки догнал его, окончательно зарубил топором, затем же принес тело сюда и утопил в пруду.

Стива ответил после долгого раздумья:

— Ну ты кретин. Блин, а холодно тут, а!!!

И, развернувшись, направился обратно в сад. Кирюша последовал за ним, и они пошли, подгоняемые ветром и странным шелестом ледяной чешуи.

Когда они прошли сквозь строй камыша и вновь оказались в районе трущобных построек, Стива вдруг остановился, развернулся и, глядя Кирюше прямо в глаза, спросил:

— Что дальше делать будем?

Кирюша задумался. Думал, думал, но единственное, что пришло ему в голову, — пойти погреться.

— Верно! — хлопнул себя по лбу Стива. — Молодец, Киря, ты — настоящий человек! Сейчас дров прикупим, вернемся, еще подбросим в печь, выпьем водки, согреемся. И что-нибудь обязательно придумаем! Слышь, Киря, непременно обязаны придумать!

По пути прикупили дров, причем самым цивилизованным образом, только что не за деньги, но уже ничего не круша и не ломая. Просто возле одного из домишек обнаружилась поленница дров, которыми оба и нагрузились.

Когда они вернулись домой, там была жара. Топить вроде бы и не было надобности. Но Стива заглянул в печку и, увидев там груду красных тлеющих углей, решил — чем дожидаться, пока они совсем погаснут, а потом заново растапливать, лучше подбросить еще. Так он и поступил, да засунул побольше, сколько влезло. Дрова на углях задымились, и почти сразу вспыхнуло пламя, в трубе загудело.

Кирюша и Стива сняли верхнюю одежду, но все равно было жарко. Стива потер руки и сказал:

— Ну что, надо бы накатить?

— Непременно накатить, — согласился Кирюша.

— Надо-то надо, но вот в качестве чего мы накатим?

— Не понял вопроса.

— Ну видишь ли, — объяснил Стива. — С утра мы пили зачем? Чтобы поправиться, то есть опохмелялись. Это дело святое, тут не поспоришь. На улице зачем пили? Для сугрева, святое дело, не поспоришь. А сейчас чего ради мы будем пить? Уж не пьянство ли это? Не допущу. С пьянством, допустим, надо бороться!

Кирюша задумался на секунду и воскликнул:

— Какое же пьянство?! Нет, Стива, сейчас мы будем завтракать! И как же не выпить чарочку перед едой, для аппетита? Святое дело.

С таким доводом трудно было не согласиться. Стива немедленно достал из кармана висящей на гвозде «аляски» бутылку и поставил на стол. Водки было там еще почти половина.

Кирюша потер руки и сказал:

— Водочка откупорена, плещется в графине, не позвать ли Куприна по этой по причине? Однако, знаешь ли, Стива, завтрак ведь нужно сервировать.

— Ну, у нас же походный завтрак, а не великосветский.

— А, ну типа да. Но все равно! Я сейчас сервирую походный завтрак.

Кирюша постелил на стол газету, поставил бутылку водки. Порылся в шкафу и нашел второй граненый стакан, а также алюминиевые вилки. Нарезал хлеб, открыл банку кильки в томате и банку тушенки.

— Тушенку, может, разогреем? — предложил Стива. — Плита-то вон красная.

— Нет уж, Стива. Походный, так походный. Да и без того жарко.

Жарко было, это уж без базара. Особенно после того, как друзья, чокнувшись, выпили и закусили, и потом еще выпили, и еще закусили. Печь

продолжала пылать, труба гудеть, а комнатка нагреваться. Кирюша предложил покурить лежа на полу. Стива критически осмотрел половики на полу и нашел их достаточно чистыми, чтобы на них прилечь. Здесь, на полу, было прохладнее, и позавтракавшие гран-туристы с удовольствием закурили.

— Ну что делать-то будем? — спросил Стива, однако уже не тревожно, как полчаса назад, а вполне благодушно.

— Что делать? А что, Стива, здесь все равно жара невозможная. Давай-ка, как все порядочные люди после завтрака, вот сейчас покурим, а потом совершим моцион.

— Чего?

— Ну погуляем, чего. Подышим свежим воздухом, неторопливо осмотрим местные пейзажи, а заодно поищем нашего незадачливого друга.

— Где?

— А везде! Может, он в какой-нибудь другой домик ночью забрался и до сих пор там спит. Возможный ведь вариант? Возможный.

— А кровь?

— Ну что кровь? Ну разбил ты ему нос или там губу, ну извинишься, и все.

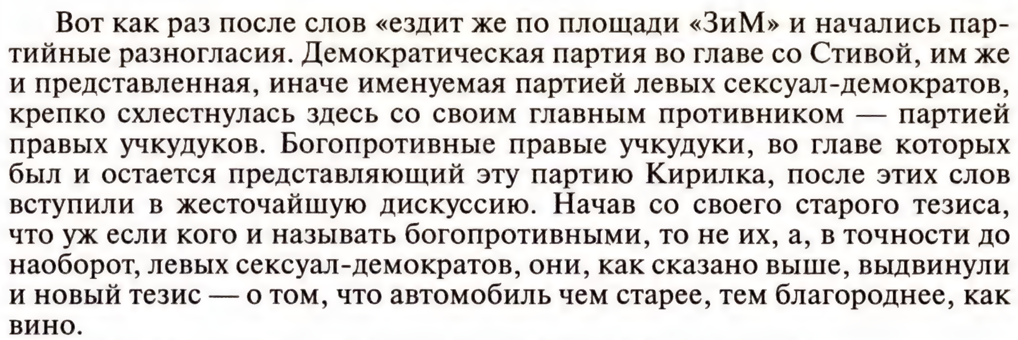
На том и порешили.

Когда они вновь шли по улице обезлюдевшего садового участка, Кирюше вспомнился один старый разговор.

Когда Кирилл был маленьким, он читал книжку «Калле один на всем белом свете». Один мальчик, его звали Калле, — ну, какой-то псевдозападный, то ли прибалтиец, то ли скандинав, — просыпается и видит, что никого нет дома. Он выходит на улицу — и тоже никого не видать. Он, короче, так послонялся, послонялся и понял: все люди исчезли. Калле один на всем белом свете. Ну и началось! Он ходил по кондитерским и обжирался пирожными, набрал бесплатно кучу игрушек, и всяческая такая безответственная вседозволенность. А именно — решил покататься не то на трамвае, не то на машине. Ну, водить, конечно, не умеет. Чуть не разбился. А потом он, если память не изменяет Кириллу, решил полетать на настоящем самолете. То есть ему мало было печального опыта обращения с наземным транспортом! Он забрался в самолет и умудрился взлететь. А дальше, нетрудно догадаться, не справился с управлением и стал падать. Тут он в ужасе проснулся и понял, что это был сон. И он кричит: «Мама, папа!» И те приходят, и мальчик очень счастлив, что все это не на самом деле.

Калле было что-то совсем немного лет. Кирюше, во всяком случае, когда он это читал, было больше. И уже тогда его поразила глупость мальчика и убожество его потребностей. Нет, если бы такое произошло с Кирюшей, он повел бы себя умнее. И если бы это тоже было сном, Кирюша бы не радовался, проснувшись. Скорее всего, после пробуждения ему бы не захотелось жить дальше.

Уж конечно, он бы не полез в самолет. Или в трамвай: тоже мне, удовольствие — трамвай водить! А вот машину, кстати, можно. Водить он, правда, никогда не водил, но при том факте, что нет встречного движения, и при том счастье, что не надо соблюдать правила, за несколько дней вполне можно научиться водить. А чего там: ключ повернул, газ — тормоз — сцепление, с передачами разобрался — и езжай с богом. И рассекай по опустевшему городу и его живописным окрестностям на черной «Волге» с обкомовским номером. И обязательно надо будет пошариться по обкомовским гаражам (а вот бы еще знать, где они расположены) — может, отыщется что-нибудь получше «Волги». Во всяком случае, на параде седьмого ноября ездит же по площади «ЗиМ». Машина, конечно, старая, но уж роскошная — не приведи господь! Да и вообще, машина — как вино, чем старее, тем благороднее.



Вот как раз после слов «ездит же по площади «ЗиМ» и начались партийные разногласия. Демократическая партия во главе со Стивой, им же и представленная, иначе именуемая партией левых сексуал-демократов, крепко схлестнулась здесь со своим главным противником — партией правых учкудуков. Богопротивные правые учкудуки, во главе которых был и остается представляющий эту партию Кирилка, после этих слов вступили в жесточайшую дискуссию. Начав со своего старого тезиса, что уж если кого и называть богопротивными, то не их, а, в точности до наоборот, левых сексуал-демократов, они, как сказано выше, выдвинули и новый тезис — о том, что автомобиль чем старее, тем благороднее, как вино.

— Ага, да, конечно, ну и езди на горбатом «Запорожце»!

— Нет, Стивонька, на «Запорожце» ты езди сам, на самой его разновейшей модели, а я буду ездить на старинной и благородной машине «ЗИС-110». Как академик Иоффе.

— Не академик Иоффе, а потому что ты чухан! В Америке, если хочешь знать, каждая автомобильная фирма каждый год обновляет модели, и кто ездит на прошлогодней, тот тоже, как и ты, чухан!

— А ты профан! И все американские профаны ездят каждый год на новой модели, а знающие люди на всем Западе за самые сумасшедшие деньги заказывают себе копии старинных автомобилей! С новыми движками и электроникой, но старинным дизайном!

— Это какие-нибудь сраные эстеты типа тебя! И извращенцы! А нормальные пацаны каждый год покупают новый «Кадиллак» или лучше «Феррари» и рассекают!

— Это какие-нибудь долбаные спортсмены типа тебя! И придурки! А благородные люди ездят на таких машинах, о которых вы, профаны, и не слыхали! На «Бугатти» или лучше на «Испано-сюизах»!

Представитель третьей партии, ВЛКСМ, скромно отмалчивался. По его постной физиономии, впрочем, легко читалось, что этот аскет, фанатик и изувер всем благам автоцивилизации упорно продолжает предпочитать «членовоз» ЗИЛ-117.

Но ребята что-то отвлеклись. Итак, занять потом самую лучшую квартиру в доме на набережной. На набережной Рабочей Молодежи, естественно. Там хорошие квартиры, Кирилл бывал в Стивиной, далеко не в самой роскошной. А тут-то он выберет самую-самую. Где сейчас Ельцин живет.

Вот только непонятно с электричеством. А стоп, все понятно! Калле же водил трамвай, значит, электричество было. Хо-хо! Максимум, чего лишен будет Кирюша, — это радио и телевидения.

Стива тогда сказал:

— Да на хрен и нужна эта тягомотина! Уж я бы подобрал себе по городу коллекцию пластинок и магнитофонных записей. А также видеокассет. Боевиков. Фильмов ужасов. Вестернов. Порнографии. Всего!

Богопротивный Стива согласился с правым учкудуком Кирюшей в том, что этот Калле — просто тупица. Можно даже сказать, недоебок. К его услугам была бы самая модная одежда, самые деликатесные продукты и напитки, самая новая и престижная техника. Единственное, чего у него не будет, — так это женщин. Но ведь у него их и так не было. А под видик и подрочить неплохо. Так что если бы Стива остался один на всем белом свете, он бы тоже не захотел просыпаться в обычную реальность.

А еще однажды, совсем давно, классе, кажется, в третьем, впервые прочитав «Человека-невидимку», Кирилл гулял с Олегом и пересказывал содержание книги. Олегу идея тоже понравилась. И они ходили и фантазировали, что было бы, если бы.

Ну, началось все, естественно, с неконтролируемого обжорства различными лакомствами. Только сразу сообразили, что так не пойдет: все ведь эти лакомства будут просвечивать. Олег предложил: пускай все, что попадает внутрь, тоже становится невидимым. Кирилл сначала не согласился: с его точки зрения, это подрывало важнейшие основы жанра. Это же вам не сказка какая-нибудь, а строгая научная фантастика. Нет, так дело не пойдет — ты что, маленький, что ли?

А что касается мороженого и пирожного, то можно что-нибудь придумать. Например, мы заходим вечером перед закрытием в кафе и спокойненько стоим у стеночки. Потом заведение закрывается, и мы начинаем гужевать.

Кирилл на это подумал и отвечает: «Нет, все равно фигня какая-то получается!» — «Почему?» — «А говно? Не будет потом просвечивать?» — «Дурак, что ли? Говно — оно же как бы часть невидимого организма, оно тоже будет невидимое».

Но Кириллу эта идея не понравилась. Они обсудили вопрос, и Олег тоже согласился, что как-то это неубедительно. Или, во всяком случае, многое остается непонятным. То есть непонятно, через какое время просвечивающая газировка и тортики превращаются в невидимые миру мочу и кал. Сколько времени после приема пищи придется прятаться от людей? И потом: вот они пожрали, обожрались, можно сказать, в кафе больше делать нечего, а между тем оно уже закрыто.

— Что же нам, до утра там сидеть?

— Ну, это фигня полная! Спокойно разбиваем окно и выходим на улицу.

— Ага, и ноги порежем! Мы же голые.

— А ты под ноги смотри! Слепой, что ли?!

— Ага, «смотри», ночь ведь! А холодно, слушай, ночью-то голыми!

Да, конечно, проблем, в рассуждении российского климата, возникала большая куча мала. Вообще-то, а кто им мешает забраться в самолет и улететь на юг? Но это решили обдумать в другой раз, а вот уж как они расправятся со всеми своими врагами, как ровесниками, так и со старшими, включая злых учителей и соседей, — уж это они стали обсуждать! Тут уж глубоко задумываться не приходилось! Тут они, захлебываясь и перебивая друг дружку, мысленно и устно пустились во все тяжкие!

Они сидели на лавочке и возбужденно фантазировали, не заметив, что к ним подошел один из тех самых врагов, с которыми они именно сейчас виртуально безжалостно расправлялись. К счастью, одноклассник, а не старший, тем более к счастью, что не злой учитель или сосед. Потому что когда он подошел и обратился к приятелям с какой-то, как обычно, неприятной и обидной шуточкой, Кирилл повел себя странно.

Погруженный, по всей видимости, глубоко в мир возбуждающих фантазий, он почти или совсем разорвал связь с реальностью. В ответ на слова неприятеля, которого вообще-то побаивался, он встал и неожиданно для всех троих изо всех сил пнул его. Как он сам потом рассказывал, ему казалось, что все происходит очень замедленно, как в кино. Как его нога медленно, но очень глубоко погрузилась в живот неприятеля. Как неприятель выпучил глаза, широко открыл рот и уже совсем медленно упал боком на пыльный, исчерканный мелом асфальт. И Кирилл видел, как тот судорожно, но, видимо, не впрок дышит своим широко открытым ртом и изумленно выпученными глазами смотрит на Кирилла. Кирилл видел это, когда уже заносил ногу для второго удара — по голове, и когда наносил его. Голова от удара резко дернулась, из носа обильно хлынула кровь.

Олег вскочил и в ужасе закричал: «Кончай, Киря, хорош! Оставь дурака, убьешь еще!» Приятель наклонился к поверженному противнику, помог

ему сесть. Был разбит (но, к счастью, не сломан) нос и обе губы. Зубы целы. Нет, один шатается... Шатается? Да он у тебя, небось, и раньше шатался! Не шатался? Точно?

Все это время Кирилл молча и неподвижно, словно в столбняке, стоял и смотрел.

Олег снабдил жертву собственным носовым платком и, добродушно похлопывая по плечу, указал направление к колонке, чтобы умыться. Не забыл и приятельски напомнить, что не обижайся, но так будет со всяким. Кто покусится.

А потом, когда посрамленный супостат уковылял умываться, Олег стал выражать свое восхищение смелостью и умелостью Кирилла. Но Кирилл, как оказалось, не меньше нуждался в холодном умывании. Кирилл сказал, что он как будто думал, что он невидимый. Олег не понял юмора, вообще ничего не понял, а Кирилл так и не смог втолковать ему, что был как будто под гипнозом.

Следовало ожидать мести, и Кирилл еще долго бы трусил ходить по двору, но на другой день вражина подошел к нему и протянул ладонь. Он сказал, что не обижается и что все прежние обиды побоку. Кирилл, не веря своей удаче, пожал руку. «Где тренируешься?» — перешел к делу вражина, которого, как узнал Кирилл, звали Валерой. «Нигде, это природная постановка голоса», — опять-таки не очень ожиданно для себя приплел Кирилл где-то услышанную фразу, чем вызвал у Стивы уже совершеннейшее к себе уважение.

Так они и подружились.

— Нейтронная бомба, — сказал Стива.

— Что? — не понял Кирилл, оторванный от своих воспоминаний.

— Что-что... Здесь взорвалась нейтронная бомба. Все люди погибли. Все их дома и все их имущество теперь наше. Мы — единственные наследники всех этих богатств. Это все наше, понимаешь?

— А то! Только каких богатств?

— А вот мы узнаем!

И они пошли узнавать. Они уже выпили больше, чем могли, и ничтоже сумняхуся, или, кажется, сумняхом, да просто — сшибали топором замки со всех домиков по очереди. Входили внутрь и устраивали форменный обыск с пристрастием. И богатства повалили как из рога изобилия.

В первом же доме они нашли что бы вы думали?! Бутылку водки. Открыли старый облезлый буфет, а она там — оппаньки! — лежит на боку. Ну, очень смешно!

Долго смеялись.

— Очень смешно! — почти сердито сказал Стива по окончании приступа смеха. — Это как вообще понимать?

— Это так понимать, Стивочка, что нас курируют силы небесные. И они требуют продолжения банкета!

— Нет, я так-то не против, но мы же только что позавтракали.

— Ну, то был первый завтрак, а ведь врачи рекомендуют режим пятиразового питания, и там предусмотрены первый и второй завтраки. Значит, сейчас будет второй.

— А, ну типа да. Только нормальные люди называют это брэкфест и ланч.

— Ладно, англоман ты наш, чтобы тебе было понятно, выразимся так: силы небесные куда как прозрачно намекают нам, что наступило время ланча. И перечить им грешно.

Друзьям пришлось вторично позавтракать, или, если перевести совсем точно, друзья поимели их ланч. Правда, для этого пришлось вернуться с находкой домой. Правда, в этом поначалу им не виделось особенного смысла, так как водка дома и без того еще имелась. Но вскоре смысл обрелся. Домашняя водка была совершенно теплой, эта же, трофейная, — не просто холодной, но по-настоящему замороженной! Стива поставил бутылку на стол, и она мгновенно запотела, а пока имеющие поиметь их ланч раздевались, ибо дома было еще жарче, чем прежде, успела покрыться белой изморозью. Стива с удивлением отметил это явление, и Кирюшин восторг не поддается описанию.

Впрочем, почему же не поддается? Это маленькая цыганочка не поддавалась, а Кирюшино поведение — вполне. Он прыгал по комнате и кричал, что у них настоящий водки замороженной пузырь. Он кувыркнулся через голову и, грохнувшись, едва не опрокинул стол вместе с бутылкой. Он обнимал и лобызал Стиву и даже, разгорячась, засунул тому язык в рот, что, впрочем, ему и самому не очень понравилось, да еще получил затрещину от Стивы.

— Ты чего, — отплевывался Стива. — Совсем с ума сошел?!

— Я робот! Я робот! Я сошел с ума! Я робот! Я робот! Я сошел с ума! Совсем. Слушай, Стивик, предположим, мы прямо сейчас накатим...

— Да накатим, успокойся.

— Нет, Стивонька, ты мне скажи: предположим, прямо сейчас, да?

— Ну, предположим.

— После первой же не закусывают?

— Ну?

— Давай накатим!

Накатили. Замороженная водка была на вкус вообще как ледяная вода.

— Ну вот. А теперь между первой и второй перерывчик небольшой, так?

— Ну.

— Вот пока он будет, я щас принесу ваще кошерный закусон! Причем! В условиях отсутствия одежды!

С этими словами он стал сбрасывать с себя одежду и прекратил это лишь тогда, когда наконец совсем ничего не осталось. Стива только диву давался. Кирюша же захохотал и выскочил за дверь. Голый, батюшки мои, голый! Прямо физически нагой. Из-за двери донесся истошный Кирюшин вопль. Стива выглянул в окошко и увидел, как этот сумасшедший робот, высоко поднимая ноги, скакал по огороду. Причем. В условиях отсутствия одежды.

Стиве тут припомнилось. Кое-что из практики.

Воскресенье. Ослепительные мороз и солнце в окнах двенадцатиэтажки визави. (Это еще на старой квартире.) Термометр за окном чуть не лопался от стужи и солнца. По хоккейному корту не весьма уклюже бегали двое мальчишек, но не на коньках, слишком холодно, а просто в валенках, пуская пар, как драконы. Кроме них лишь единственный прохожий спешил к подъезду, прикрывая рот побелевшей от инея варежкой. И поднятый воротник, и уши завязанной шапки были опушены инеем. В миллионах телеэкранов светился радостью телеведущий Юрий Николаев.

Раздался женский крик, и Стива выглянул в форточку. Стояла внизу «скорая помощь». Выхлоп поднимался молочным столбом и покрыл инеем задние дверцы, бок и крышу «рафика». Босая девушка в расстегнутом пальто дергала дверцу. Стива не поверил глазам своим и присмотрелся. Пальто распахнулось, и Стива очень отчетливо увидел, что на девушке действительно было только пальто. Стива затаил дыхание.

Дверца приоткрылась, и клубы пара изо рта свидетельствовали о речи шофера.

Затем водитель вышел из кабины, и через двойные окна донесся пронзительный женский мат. Девушка шагнула назад, поскользнулась на льду, упала и снова вскочила. Там, где она стояла раньше, темнели подтаявшие во льду мельчайшие, но отчетливые следы. Она еще что-то кричала. Шофер размахнулся и ударил ее по лицу ладонью. Во все стороны брызнули алые капли. Она снова упала, попыталась опять подняться, но он уже залез в кабину, треснул дверцей, взревел мотором и плавно откатил, оставляя густые белые клубы.

В это время Пугачева по телевизору пела: «Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком», в связи с чем Стива не мог не хихикнуть. Девушка внизу, раскачиваясь, прикладывала снег к разбитому лицу. Пар шел от ее головы и ржавых комочков выплюнутого и выброшенного снега. Потом она встала и неловко поковыляла к подъезду.

Стиве это понравилось. Тогда у него впервые встал хуй не просто так, а на женщину.

Перерывчик оказался небольшой, Кирюша вернулся очень скоро, сжимая в кулаках какие-то веточки. Его глаза были вытаращены, и он заорал:

— Наливай-наливай-наливай!

Стива налил.

Кирюша немедленно схватил стакан и выпил. Только после этого он разжал кулаки, положил на стол несколько рябиновых гроздей и стал жевать ягодки.

— Ты бы трусы, что ли, надел, — посоветовал ему Стива.

— А ты давай пей да закусывай, — посоветовал ему Киря, одеваясь. — Это же знаешь что?

— Знаю.

— Вот и я тоже знаю, — похвастался Киря. — Подмороженная рябина! Теперь ее как раз нужно есть.

— Ну ты ботаник.

— А ты нахал.

— А ты членом махал.

— Я не махал, я дирижировал.

После этой краткой пикировки Стива охотно выпил и зажевал рябиной. Киря также. Ничего себе, хотя и ничего особенного. После рябины съели еще по куску колбасы и снова пошли на охоту.

Во втором доме они нашли две пары лыж. Стива прочел стихотворение:

Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я е...нутый!

Кирюха закричал:

— И я! Я тоже! Я тоже е...нутый!

Хотели прокатиться, но для этого нужны были еще лыжные ботинки, и от затеи пришлось отказаться. Кирюша предложил топить лыжами печь. Попробовал их сломать, но лыжи были прочные, и он в сердцах выбросил их на хрен в разные стороны.

В третьем доме они нашли настенный отрывной календарь. Он был пожелтевший и пыльный, однако дата на нем стояла сегодняшняя, восьмое ноября. Кирюша, враз вспомнив о том, что его ни на секунду не забывает Верховное Существо, оторвал листок и перевернул, чтобы узнать грядущее. Там было написано стихотворение достаточно очень смешное.

— Че ты ржешь? — спросил Стива.

— А ты послушай, какие стихи! Слова И Френкеля, музыка Вэ Белого! С ума сойти можно!

Вновь богачи разжигают пожар,
Миру готовят смертельный удар,
Но против них миллионы людей —
Армия Мира всех сильней!
Атомной бомбой народ не убить.
Ложью и золотом нас не купить.
Мы — патриоты, и каждый из нас...

— Пидорас!

— Нет, Стива, не пидорас, а — все за свободу Отчизны отдаст!

— Ну, значит — пидораст.

— А дальше слушай: «Так вот он какой...»

— Знаю, знаю — дедушка Ленин.

— Так вот же тебе: не дедушка Ленин, а вот он какой, боец армии Сталина. Десятилетиями народам мира говорили о нем неправду. Теперь он, услышав призыв изнемогающей Праги...

— Да ты гонишь! Там так написано?

— Ну сам смотри!

Кирюша протянул Стиве листочек. Стива не стал, конечно, дотрагиваться до этой гадости, но зрение у него хорошее и так.

— Киря, ты дату посмотри.

— Ну вот, восьмое ноября, а, ну да, год тысяча девятьсот сорок восьмой...

— Киря, хули ты всякое говно руками хватаешь? Там, бля, какая-нибудь холера, сыпной тиф, черная оспа и сифилис, вместе взятые, с сорок восьмого года сидят, а ты руками хапаешь! Ну что за дятел такой, не понимаю!

Шли молча. Кирюша, собственно, подумывал, что настала пора обидеться на Стиву, но тут как раз зашли в четвертый дом.

В четвертом доме они нашли «Малахитовую шкатулку», сборник уральских сказов.

— О, здорово, «Малахитовая шкатулка». Возьмем, — сказал Кирюша.

— Малахитовая шкатулка?! Гонишь!

— Да не малахитовая шкатулка, а «Малахитовая шкатулка», книга. Бажова.

— О, бля, ты еще «Курочку Рябу» подбери.

— Что бы ты понимал! — сказал Кирюша и, взяв в руки и медленно раскрыв толстенький подарочный томик с глянцевыми иллюстрациями, стилизованными под рисунок из камня, задумчиво сказал: — Бажов — очень серьезный писатель, и отнюдь не просто детский сказочник.

— Харе, нанюхались, — отмахнулся Стива.

Кирюша не стал играть в бисер перед стаей свиней, просто засунул книжку за пазуху. Он мог бы сказать кое-что. Что вся мифология Бажова хотя и очевидно инфернальна, но самая эта инфернальность не может называться таким словом, ибо нет для Бажова «инферно». Она аутентична и аутична. В этом смысле он — вполне дитя своего литературного времени Бодлера — Брюсова — Блока — Ремизова.

Нет, дело не только в этом.

С Бажовым был связан один коварный Кирюшин план.

Как ни относись к окружающей действительности, а жить приходится в ней. Надо как-то пробиваться. Нужно написать что-нибудь такое, что принесло бы ему официально легитимную известность. А что?

А поэму, придумал Кирюша. В самом деле, поэм пишется ныне мало, его инициативу оценят, поэму сразу напечатают в региональном толстом журнале, и заметят, и оценят. А если не напечатают? А напечатают! Потому что она будет про Бажова. Это и патриотично, и всегда актуально. А если

напечатают, но не заметят и не оценят? А заметят, а оценят. Потому что она будет очень оригинальной по форме. Это будет такой своего рода коллаж. Поэма-коллаж! Так и будет в подзаголовке. Новый жанр! Названия пока не придумалось, но композиция явно вырисовывалась, и даже было начало. Начало, то есть первая, вступительная главка; главка, но и как бы эпиграф одновременно, выглядела следующим образом.

1. ТЕЛЕГРАММА В.В. КАМЕНСКОМУ.
МОСКВА ЖИВОМУ ПАМЯТНИКУ ВСКЛ
БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ НИСПРОВЕРГАТЕЛИ
ВОТ ПО СУСЕДСТВУ ЛУБОШНИКА ВЫИСКАЛ
ФУТУРОСВОЛОЧИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

То есть — понимаете? Нет, конечно, что вы можете понимать, стадо тупых мутантов. Но интеллигентные читатели толстых литературных журналов, не говоря уже об искушенных литературных критиках, конечно, поймут. Как через годы, через расстоянья подает руку первому уральскому футуристу новый поэт. Причем эта телеграмма отправлена как бы в конце тридцатых, когда стали появляться первые сказы Бажова, причем в форме литературно-политического доноса. (Этот диссидентский намек, конечно, будет слишком тонок для того, чтобы его поняли тупоумные совдейские цензоры, но достаточно прозрачен для интеллектуалов-ценителей, которые не преминут его высоко оценить.) Правда, сама идея стихотворения в виде телеграммы, сказать по правде, была заимствована Кирюшей у А. Вознесенского, но кто ж это поймет? Кроме того, изысканная и оригинальная рифма «ВСКЛ — ВЫИСКАЛ» изобретена лично Кирюшей, даже Вознесенский до такого не додумался.

Дальше, после такого шокирующего и пленительного одновременно вступления, должна была следовать глава доисторически-мифологическая. Там Кирюша придумал миф. Сам придумал миф, прикиньте! Миф следующий. Оказывается, схватка Георгия-Победоносца с драконом происходила как раз над территорией современного Урала! В воздухе! И поверженный Георгием дракон, или, кажется, змей, рухнул на землю, и столь был он огромен, что труп его, со временем окаменев, превратился в Уральский хребет. Оброс лесами. Протянулся, понимаешь, на тысячи километров с севера к югу. Грандиозно, правда? Не то слово, что грандиозно. Не токмо что грандиозно, но грандиозно и гениально вместе с тем. Такого еще никто не выдумывал, а уж в сочетании с первой главкой — и вовсе неслыханно.

Ну, там и дальше в том же духе. В точности он еще пока не придумал, но планы и варианты имелись. Например, одну из главок можно написать в форме диалога. Как бы пьеса в стихах чтобы получилась. Например, какой-нибудь там «Старик и Камень». (О, интеллектуалы оценят и самое название, несомненно проследив, что оно косвенно восходит к названию известного рассказа американского прозаика Хемингуэя «Старик и море»!) Что-нибудь типа:

СТАРИК (взволнованно).
Скажи мне, о, Камень Великий, лежа-
Щий здесь от времен Ланцелота,
Какая судьбина постигнет бежа—
Вших в лоно Урала от гнета
Помещиков?..
КАМЕНЬ (молчаливо).
Правдив и свободен немой мой ответ,
Тебе он, о, смертный, не внятен,
Ступай же, Старик, опечаленно, вед
Ь тебе мой язык непонятен.

Ну и дальше. Например, какая-нибудь главка может быть написана одними существительными, типа, что ли:

Горы. Реки. Выси. Вид.

Медь. Железо. Малахит.

Древесина. Торф. Вода.

Камни. Россыпи. Руда.

В общем, замышлялось так здорово, что Кирюша стал подумывать, что за такое произведение не то что региональный, а все столичные журналы передерутся. И сразу получит он премию Ленинского комсомола. А это уже слава, слава всесоюзная! И после этого он напишет «Рвы», и тогда-то, на волне славы, напечатают и это его мрачное произведение. Оно, конечно, будет подвергнуто самой суровой критике, вызовет жесточайшие споры, но уж после появления «Рвов» ему точно гарантирована всеобщая скандальная слава, в том числе — чем черт не шутит? — и за рубежом. Так что Стива дурачок, на коне гарцует.

В пятом доме они нашли бусы. Кирюша только взглянул на них, как сразу определил, что это четки. То ли нефритовые, то ли не нефритовые. Вернулись в кашинский домик, и Кирюша засунул их себе в сумку.

В шестом доме они нашли камин. Посмотрев на него какое-то время, Стива сказал:

— Слушай, а какого мужского полового члена мы каждый раз возвращаемся?

— А куда ж добычу складывать? Денежка счет любит!

— А зачем, слушай, ее вообще куда-то складывать? Давай пользоваться на месте. Ты как буржуй какой-то, частный собственник! Кулак-мироед! Ты даже не понял всей важности исторического момента. Ты тут, понимаешь, шары залил и спьяну проглядел наступление коммунизма! Ты не понял, что ли? Тут все наше! Любой дом — наш! Выбирай на вкус.

— Слушай, а давай знаешь что...

— Что?

— А давай, в натуре, каждый выберет себе дом по вкусу и будет там жить. И в гости друг к другу ходить.

— Тема! А еще лучше знаешь что?

— Что?

— А ты читал «Незнайку на Луне»?

— Ну.

— Помнишь, там был миллионер Скуперфильд?

— Это тощий-то?

— Ну да.

— И что?

— Вот помнишь, когда он разорился? У него остался охеренный домище в тыщу комнат. И он жил в каждой комнате по очереди. Одну засрет — перебирается в следующую. Мы так тоже сейчас можем. Типа, например, выбрал ты себе домик и живешь в нем. Срать захотел — сел, на стол насрал, и все, — переходишь в другой.

— Очень расточительно.

— То-то и кайф, понимаешь!

Еще бы не понять! Это — кайф. И даже совсем необязательно срать на стол, это очень некультурно. Можно просто менять жилище сколько угодно по малейшему капризу. Это такая роскошь, какую мало кто на планете может себе позволить. Это, кстати, гораздо лучше коммунизма. Потому что при коммунизме хотя и будет изобилие, но все потребности станут разумными. Там, например, никто не насрет на стол. А ведь если захочется насрать на стол — надо это сделать. Потому что не надо себя искусственно сдерживать. Да, это свинство, но уж коли тебе захотелось впасть в свинство — то ты

в своем праве, потому что кто тебе указ?! Никто тебе не указ! Потребности тогда только и хороши, когда они неразумны, когда они безумны и антиобщественны.

Так что фигня полная этот ваш коммунизм. Полное говно по сравнению с нейтронной бомбой. Вот нейтронная бомба — это вещь! Это величайшее изобретение человеческого гения. Только надо ее еще очень и очень улучшать. Чтобы ровно никого не оставалось.

Например, человеку хочется поджечь дом. Предположим, очень хочется, а это желание приходится в себе искусственно подавлять. А от подавленных желаний — есть такая теория — происходят все болезни. И значит, что если здравоохранение будет развиваться и далее, оно должно дойти до такой точки, в которой будет сказано определенно: никаких преград! Мы свободны и одиноки! Любые желания должны исполняться!

Например, поджечь дом. Костер — тоже хорошо, но это все паллиативы. Дом!

Стива так и сказал Кирюше. Но Кирюша был дурак, поэтому спросил:

— Дом? Ну и в чем тут кайф?

— Вот дурак-то! Зарево в полнеба, жар такой, что раскрываются почки на деревьях, а ты — «в чем кайф»!

— Нет, Валерик, ты что, серьезно?

— А то!

— Да ты с ума сошел.

— Да ничуточки. Но если я никогда себе не позволю сжечь дома, то в оконцовке я обязательно сойду с ума, и поэтому самое время здесь и сейчас заняться профилактикой неврозов.

— Блин, ты че! А вдруг соседние загорятся?

— Ну я уж подберу такой, одиноко стоящий, от которого не загорятся.

— Нет, ты точно дурак! Пожар ведь увидят, вызовут пожарных!

— Да кто увидит, кто вызовет?!

— Да кто-нибудь! Сам же говоришь — зарево в полнеба.

— Так можно днем! Никакого зарева.

— А дым?!

— Ну, дым... Скажешь тоже — дым! Дым-то — хер с ним, дым почти не заметен. Он только в самом начале, а потом, когда разгорится, да дерево сухое, — так дыма почти и совсем нет. Сплошное пламя и треск! Круто, а?! Ну и потом тоже. Если только водой не заливать, а само догорит, то дыма почти и нет!

— А че ты так возбудился-то, я не понял.

— Да я не возбудился.

— А по-моему, так ты очень возбудился. Ты что, пироман?

— Как это?

— Не знаешь? А вот есть такие сумасшедшие человечки, они очень любят огонь. До такой степени, что все вокруг себя поджигают. Дома там всякие, частности. Их называют пироманами и держат в сумасшедших больничках.

— Ладно, потом поговорим, кто тут сумасшедший.

И они пошли далее.

В седьмом доме гран-туристы ничего не нашли, но на них что-то нашло, и они окончательно перешли на американский язык. Хотя и непонятно, для каких таких причин. В том смысле, что переходить на американский язык у них причин не было. Ибо оба им не владели. Но это ничего, наверное, подумали они. Плюс к этому еще и то, что Кирюша глубоко презирал эту плебейскую Америку. Но это ничего, наверное, подумали он. И они перешли.

— Хей, Стива, кисс ми ин май асс! (Хэй, Стива, поцелуй меня в мою задницу!)

— Вот ду ю вонт?! (Что ты хочешь?!)

— Лук эт зе ступид бой! Кисс ми ин май асс! (Блин, дубина, целуй меня в жопу!)

— Кисс е асс? Ай шелл фак е асс! (Поцеловать? И больше ничего?)

— Фак еселф! (Ну уж ты сам как хочешь, а меня — только поцеловать.)

Ну и типа того. На более содержательный разговор их не хватило. А впрочем, что и возьмешь с американского языка.

В восьмом доме они нашли квадратную стеклянную чернильницу и ручку с ржавым железным пером. Каждый из двоих отразил эту находку поразному. Стива вспомнил, как он писал письмо генсеку.

Западные ребятишки, говорят, то и дело пишут письма Санта-Клаусу. Советские, возможно, тоже пишут Деду Морозу, но у нас это меньше развито. С другой стороны, советские нередко писали письма генсеку.

Стива учился в первом классе со второй смены. И у него в подъезде, еще на той, старой, лошарской (клошарской) квартире, случайно образовались приятели — брат и сестра, второклассники Ленка и Мишка. Барановы. Они тоже учились со второй смены. С утра пораньше Кирилл приходил к ним, и они до обеда валяли дурака, предавались праздности и пустым развлечениям. А праздность, как известно, мать пороков. И вот однажды они докатились до того, что написали письмо генсеку. Они взяли тетрадный листочек и с диким хохотом написали на нем: «Брежнев дурак!!!» Вложили в конверт, надписали: «Москва. Кремль. Брежневу». Обратный адрес указывать не стали. Пошли на улицу и бросили в почтовый ящик. Потом Мишка, самый старший и опытный из них, вдруг спохватился, что все это нужно было проделывать в перчатках, чтоб не делать отпечатков. Но так или иначе, а ответа никакого не было. Странно, что у Стивы такие ассоциации при виде чернильницы и пера, ведь писали они нормальной шариковой ручкой.

У Кирюши же не возникло никаких личных воспоминаний, их заменил восторг созерцания самых настоящих чернильницы и ручки с пером. Ну да, не гусиным. Но пером с чернильницей. Кирюша заплакал от умиления и отчаянья. Стива утешал его, но Кирюша не утешался, потом дал тумака, и Кирюша заплакал еще сильнее, а тогда Стива опять его утешил, и Кирюша утешился.

В девятом доме они нашли бабу голую. На картинке висела на стенке. И Стива неожиданно рассказал Кирюше о своей связи с одной молодой колхозницей на сеновале прошлым летом. Они с батюшкой поехали куда-то в область, а там жили некие батюшкины дальние родственники. Были там всего-то несколько часов. Но Стива успел. И она была беременна на седьмом месяце, и она была его родственницей! Но конечно, очень дальней. Как говорится, вшивой и сифилисной. И она была совсем голая, а Стива остался в одних носках, и было беспрецедентно жарко и потно от раскаленной железной крыши сеновала, и Стива то и дело соскальзывал с ее крупного потного живота и заваливался в труху, и даже нарушалась связь. Но ничего, каждый раз ее быстро восстанавливали. Стива любезно добавлял, что баба была очень вонюча.

— Ну вот видишь, а пейзанок хаешь!! — проворчал Кирюша с тоскливой завистью.

— Да я не хаю, просто чего хорошего-то?

— Того, что они дают! — свирепо сказал Кирюша и энергично захрустел сапогами по мерзлой траве к десятому дому.

В десятом доме они нашли эликсир жизни. То есть настойку женьшеня. Целых три фанфурика. Ну и высмоктали.

В одиннадцатом доме они нашли смерть.

Глава двенадцатая
Один день ягавой бабы

Ты перед ним — что стебель гибкий,
Он пред тобой — что лютый зверь.
Не соблазняй его улыбкой,
Молчи, когда стучится в дверь.

А если он ворвется силой,
За дверью стань и стереги:
Успеешь — в горнице немилой
Сухие стены подожги.

А если близок час позорный,
Ты повернись лицом к углу,
Свяжи узлом платок твой черный
И в черный узел спрячь иглу.

И пусть игла твоя вонзится
В ладони грубые, когда
В его руках ты будешь биться,
Крича от боли и стыда...
И пусть в угаре страсти грубой
Он не запомнит, сгоряча,
Твои оттиснутые зубы
Глубоким шрамом вдоль плеча.

А. Блок. «Девушке»

Началось все еще второго дня, а этот день был воскресный. В самом прямом и поэтому очень плохом смысле. Вчера ягавая баба, морда жилиная, нога глиняная, проснулась, как обычно, ни свет ни заря — в четыре часа утра, у себя на пече, на девятом кирпиче. Зевнула и поскрипела зубами. Звук, однако, получился будто бы неладный? С поразительным для ее лет проворством она соскочила с пече, накинула на голое тело ягу из жеребячьих шкур (другая яга, из неблюя, лежала в сундуке) и, прихрамывая, подошла к двери.

Сказала:

— Эй, запоры мои крепкие, отомкнитеся; ворота мои широкие, отворитеся!

Со скрипом отворилась дверь, и баба вышла на двор испробовать зубы на донельзя изгрызенной неподалеку растущей осине. Стала грызть, но осина поддавалась что-то худо. Убедившись таким образом, что зубы точно затупились, ягавая баба приподняла подол яги и присела помочиться. Струйка звонко зажурчала, и баба, пока моча не кончилась, смотрела, как снизу подымался пар. Прохладно было.

Она вернулась в избушку, взяла стоящий у стены рашпиль и с отвратительным ей самой скрежетом стала точить зубы. Аж вспотела точить. Вспотела? Потрогала себя под мышками. Как будто вспотела? Понюхала пальцы. Как будто бы да.

— Однако мертвые не потеют, — сказала она назидательно и скинула ягу. Тело у ягавой бабы было темное, твердое, соски свисали ниже пояса (если глядеть сверху), казалось, что кости местами выходили из тела наружу. Последние годы иногда бывало, что дырявый живот совсем проходится, и тогда из него течет по ногам кровь. После этого ей будут говорить, что она живая! Глупые. У живых людей дырявых животов не бывает, а только у мертвых.

Наточив зубы, она снова надела ягу и еще юбку. Повязала косматую голову пуховым платком так, чтобы концы его торчали вперед. Посмотрела в зеркало. Стоит яга, во лбу рога.

Подошла к мышеловке, проверить. Мышь была, но совсем маленькая, скорее даже мышонок. Перебитый пополам створкой мышеловки, с остекленевшими черными бусинками глаз и капелькой крови на пасти. Ягавая баба подняла створку, достала добычу. Взяла ее в кулак, поднесла ко рту. Поцеловала мышонка в малюсенькую пушистую морду и с хрустом откусила башочку. Он был уже совсем холодный. Легко разжевала хрупкие косточки черепушки и проглотила. Ничего себе. Но и ничего особенно хорошего. Да что там: еды-то на один зубок! Тем более — только что наточила. Тем более что все уже давно остыло. Вот однажды попался ей хомяк, в смысле — пасюк. О, то было совсем другое дело!

Однажды она проснулась ночью от шума. Деда Ваня как раз опять охотился. Охотничек нашелся! А тут кто-то возится, шебуршит. Но не мышка, определенно это не мышка. Потому что топает, кашляет, пердит, шумно чешется. Баба и смекнула, что хомяк системы пасюк. Потому что кто еще добровольно к ней полезть захочет? Домовой у нее не живет, не хочет. Ну и черт с ним совсем. Не хочет — не больно надо!

Кто же еще, как не пасюк? Больше некому.

Еще будет отдельный разговор про цыплят, котят и ребят, но зайчата, белые крольчата, козлята, поросята, телята, утята, ежата, ужата и медвежата, гусята, кукушата, даже лягушата, ягнята, орлята, жеребята, гордые индюшата, разноцветные щенята, скворчата, бельчата и взрослые белки, барсучата, аистята, быстрята, оленята, волчата, мамонтята, лисята и лосята, бобрята, я бы даже сказал —бурундучата, глухарята, кабанята и другие животные, и не столько даже несмышленые детеныши, сколько взрослые особи, обегали ее жилище за сорок верст кругом. Так что хомяк, он же пасюк, больше некому.

Через какое-то время мышеловка захлопнулась. Ягавая баба услышала металлический лязг, визг пасюка и топот. Она соскочила с пече и зажгла свечу из человеческого сала. Пасюк прыгнул в сторону вместе с мышеловкой, завалился набок, еще немного судорожно подергался и затих. Он лежал в мышеловке с разбитой головой, был еще жив, но уже не визжал, а тихонько постанывал и сучил лапками. Пасюк был необыкновенно крупен и красив. Ближе к животу его густая шубка была серой и пушистой, а на спине — жесткой и золотистой. Ягавая баба нежно погладила трепещущую тушку и потом сожрала.

Отдельный разговор про цыплят, котят и ребят.

Был дремучий лес, а в лесу стояла на поляне избушка, а в избушке жила ягавая баба, никого она к себе не подпускала, и ела людей, как цыплят. И цыплят, как людей. Летом она частенько ела цыплят, как людей. Живыми. Таскала и ела.

Это было не так-то просто. Для этого приходилось ей идти на хитрость. Она переодевалась в маленькую девочку и старалась понравиться тем хозяевам, у которых недавно вылупились маленькие цыплятки. Это ей удавалось.

Была одна женщина, она держала кур. Редко кто держит кур в коллективном саду, а она держала. Потому что жила недалеко и могла приезжать часто. Но все-таки не каждый день, и поэтому она очень обрадовалась, когда познакомилась с маленькой девочкой, которая, между прочим, сказала, что живет тут совсем недалеко, и предложила свою помощь в уходе за курочками. Девочка сказала, что очень любит курочек. Особенно маленьких цыпляток. Через какое-то время женщина убедилась, что девочка говорит правду, и доверила ей своих курочек. Женщина решила в этом году — благо

у нее такая прекрасная помощница — развести цыплят. Она давно этого хотела, но как-то не решалась, а теперь, зная, что за цыплятами всегда будет присмотр, решилась.

И ягавая баба, не будь дура, действительно присматривала за цыплятами так, что будь здоров! Чтобы ни кошка, ни сорока цыпленочка не схватила. Потому что было их всего десяток, а троих, самых лучших, ягавая баба наметила сожрать сама. И поэтому никак не собиралась кормить еще кошек, а то никаких цыплят не напасешься.

Цыплята содержались в маленьком загончике, с боков и сверху затянутом сеткой. Кошки и сороки так и крутились вокруг загончика. Мнимая девочка кормила цыплят: сначала нарезанным вареным яйцом, затем, когда они немного подросли, пшенной кашей. Она ставила корытце с водой и своих питомцев охраняла от многочисленных врагов.

Двух кошек она метко и от души огрела булыжниками, третьим был молодой неопытный кот, который запутался в сетке. Кота удалось поймать живьем, хотя крика и крови было много. Однако она все же скрутила зверушку и, держа в одной руке передние лапы, а в другой задние, своими железными зубами стала жрать ему брюхо. Кот выл и тоже грыз ей руку, но ягавая баба терпеливая, да и недолго он грыз. Зато уж она вволю полакомилась живым мясцом.

Так что всех десятерых цыплят она уберегла. Троих, намеченных ею для себя, сожрала, сославшись на хищников. Хозяйка была очень довольна. Они даже подружились. Хозяйка угощала ее чаем с разными вареньями, и баба пила — отчего бы не пить. И даже хозяйка с дедой Ваней познакомилась и тоже не раз звала на чай, только иногда охала, что как же так — девочка в школе не учится (ягавая баба, как мы помним, притворилась девочкой). Он, раскрасневшись от чая, благодушно отвечал, что раньше ходила, да малахольная она, Дарька (деда называл ее Дарькой). Все равно мало проку было от этой учебы. Или, сказать по-научному, в начальной школе имели место трудности обучения чтению, счету и письму. Однако ж научили, чего больше, куда еще с добром! Только вон и делает, что книжки читает. Да и то сказать — не всем же академиками быть, сторожихи тоже нужны.

(А что школа? В школе последней правды не скажут. Ну да, читать, писать и считать научат, а последней правды — нипочем. Образование ума не прибавляет. А до подлинной правды всегда собственным умом приходится догадываться. Учится, например, в школе баба-яга, и никто ей этого не скажет, пока она своим умом не дойдет.)

Деда Ваня той женщине вообще много рассказывал. Он чай посватать ее хотел. Что Дарька родом из одного пригородного совхоза, но мамка ее померла, да как-то странно, так что даже папку посадили в тюрьму. Так и осталась Дарька одна, не считая кошки Мурки, а была еще маленькая, и ее собирались отдать в детский дом. Она боялась в детский дом и плакала.

Но тут приехала тетя Мотя и Дарьку приютила. У тети Моти были муж и четверо детей, имен которых не нужно, а также сильно пьющая бабушка. Но у них сгорел дом. Однажды копали картошки. Выкопав, сели пировать. Наелись, напились и легли спать. Ночью дом загорелся. Стали хватать что под руку подвернется, но второпях набрали всякой ерунды. Денег у них не было. Одежда сгорела. Тогда вся семья переехала в дом к Дарьке. Так хорошо сложилось, что и погорельцам жилье нашлось, и Дарьку в детский дом отдавать не нужно.

Но жили, прямо скажем, небогато. Приближалась зима, а у них не было теплой одежды. Рассчитывать приходилось на огород да бабушкину пенсию, потому что тетя Мотя с мужем временно не работали. В этом печальном положении нашел семью деда Ваня, дальний родственник. Он давно переехал в город, но к родне наведывался. Деда Ваня зашел к ним, когда

они уже жили в Дарькином доме, потом другой раз, третий. И как-то они с Дарькой сдружились.

К тому времени произошла еще одна беда. Какая беда? Нога. Что за нога? Сла-ма-налась. И Дарьке сделали костяную. Она сначала страдала, а потом привыкла немножко, да так сильно, что, даже когда костяную ногу сняли, все равно хромала. Мачеха сердилась, что Дарька после этой истории стала очень ленивая и все время мерзла. Прежде, бывало, с мая по октябрь бегала в одной отцовской майке, доходившей ей до колен. А в больнице ее будто подменили. Лето, жарища, как в Гондурасе или, лучше, в Африке, — страшное дело! А она кутается.

— Дарька, че с тобой?

Молчит, кутается. И не раздевалась никогда.

И когда деда Ваня предложил приемным родителям, чтобы падчерица немного пожила у него в саду, возражать никто не стал. Их самих семеро, а дом-то небольшой, комната да кухня, так и сидели друг у друга на головах, да и лишний рот, скажем прямо, тоже. Так что Дарька с легким пустым сердцем была отпущена к деду и охотно переселилась. Ибо охотница в ней вызрела. И кошку Мурку с собой забрав. Так говорил деда Ваня. А хозяйка слушала и охала.

У этой же хозяйки, пользуясь случаем, ягавая баба сожрала однажды и живую курицу. То есть вначале эта курица была живая, а когда баба стала ее жрать, курица постепенно перестала быть, т.е. сдохла. Ягавая баба, собственно, и не заметила, в какой именно момент, так была увлечена. Кажется, когда она сожрала обе ноги, курица еще была живая, потому что как будто бы еще трепыхалась. Но, конечно, когда она отъела ей голову, та уж точно подохла. Так что доедала Дарька курицу уже дохлую, как кочерга. В сущности, уже падаль, спасибо, хоть свежую. Так вот, курица — это вам не кот. Это вкуснятина. Или, короче, вкусня. Только приходится отплевывать много перьев.

Что касается котят, то их частенько надо было топить, и она предлагала свои услуги. Хозяева обычно соглашались с большой охотой. Ибо потом была большая охота. Она уносила котят в корзинке домой и ела. Здорово было бы испечь пироги с котятами, но это надобно тесто ставить, а она тесто никогда не ставила. Не умела. Кто бы ее научил. Но когда ешь котят, надо беречь руки. Поэтому лучше сразу откусывать голову, тогда они меньше трепыхаются.

Но больше всего ей хотелось сожрать младенца. Хотелось, очень хотелось, причем даже не живого, а зажаренного в печке. Но это очень трудно. До сих пор даже ни разу не доводилось ей сожрать младенца. Где ж его возьмешь, не выродишь ведь. Мертвые-то не родят. Тем более от козла.

Она было облюбовала маленького мальчика.

Хорошенький очень, белоголовый, румяный, щеки как яблоки. Прямо Терешечка. Годика четыре было или пять. Копаясь в грядке, говорил:

— Это хороший грязный червяк! Его зовут Бээопа.

— Как? — спрашивала его бабушка.

— Бэ-э-опа! Бээопа.

И эта бабушка неотлучно была при нем. Отец с матерью, бывало, уедут в город, а бабушка остается при нем. А потом бабушка померла. Но уже поздно, мальчик вымахал выше ягавой бабы, и где ж ей было с ним совладать! Она ведь так-то щупленькая. Хотя и жилистая.

Были и другие младенцы, но и их не оставляли без призора, а коли и оставляли, то совсем на минуточку. То есть схватить-то можно, а убежать — уже нетушки, шалишь! Были бы гуси-лебеди, а их не было. И кошки даже не было. Сдохла, наверное. Пропала, и все. Одна ягавая баба жила, только с Бяфой. Ну и деда Ваня тоже.

Итак, Ягавая баба нежно погладила трепещущую тушку и с удовольствием потом сожрала. Да, живое мясо — это вам не падаль. Но где же его напасешься? Приходилось есть падаль. Когда сырую, когда вареную, ту же курятину, например. Ну что сказать? Невкусно, то есть нет совершенно никакого вкуса. А если невкусно, то и жрать незачем. Это, может, живым надо питаться, а ей если невкусно, то и ни к чему. Когда у нее вскакивали чирьи, она их давила и ела гной, все-таки теплый он, живой. Но чирьи вскакивали редко.

Дело в том, что ягавая баба может не есть очень долго. Может даже никогда не есть. Зачем ей есть, коли она все равно мертвая? Это которые живые — те вечно голодные. Но, конечно, от живого мясца она никогда не откажется.

Впрочем, она охотно пила молоко. Некоторые ведьмы умеют сделать так, чтобы воткнуть топор в дверной косяк, и из топорища течет молоко от соседской бешеной коровы, а в сиськах, наоборот, пропадает. Ягавая баба так не умела. Она просто подкрадывалась к корове или козе, ложилась на землю и отсасывала молоко из сиськи. Зверихам это нравилось. А бабе тоже. Называется симбиоз.

Симбиоз, вот! Так-то ягавая баба много читала. И научную там литературу, и художественную, и научно-популярную. И учебники какие ни попадись. Читала. Целая огромнейшая связка книг с чердака. Деда Ваня тоже был отчаянный читатель, хотя и ругатель тоже. А зимой что делать нам в деревне? Я встречаю... Да не ты, а Пушкин.

Она ведь читала Пушкина: и сказки, и стихи, и «отрывки из романа «Евгений Онегин». Но при чем здесь Пушкин? Ни при чем. Все-таки она больше сказки, но не сказки Пушкина, а «Народные русские сказки». Сочинил Афанасьев. Конечно, не только. Были и другие книги. «Маленькая Баба Яга». «Бабий яр». «Повесть о Зое и Шуре». «Гретель и Гензель». «Как самому сложить печь». «Беляночка и Розочка». «Подвиг разведчика». «Мальчик-с-пальчик». «Судебная медицина». «Спящая красавица». «Морские узлы». «Лицо гитлеровской армии». «Кот в сапогах». «Борьба самбо». «Зимой сорок третьего». «Волшебник Изумрудного города». «Начальная военная подготовка». «Пулковский меридиан». «Пособие по гражданской обороне». «Судьба человека». «Челюстно-лицевая хирургия в военно-полевом госпитале. Для служебного пользования. Экз. № ...». «Стихи русских поэтов». И другие. Но главное — «Народные русские сказки».

Теперь, когда ягавая баба позавтракала, сожрала то есть мышь, пора было ехать в Город. Она частенько туда наведывалась осенью и зимой. В ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Ступа у ней такая железная, а везут ее черти, а под поездом этим страшная буря, скот ревет, бывает мор и падеж. Ягавая баба ездила так за человеческим мясом, похищать детей. Вдруг какая-нибудь бедная городская женщина подбросит свою несчастную малютку на крыльцо богатого дома. Уж тогда бы ягавая баба деточку подобрала и как следует приютила. Или вдруг какой-нибудь ребеночек заблудится в каменных джунглях, станет плакать, тогда она тоже своего счастья не упустит.

Деды Вани сегодня дома не было. Он пошел на охоту. Так называлась поездка в Город, где было у него четыре дела. Первое — получить пенсию. Второе — отдать бабе Любе связанные ягавой бабой вещи и получить с нее деньги за уже проданное. Баба Люба торговала на колхозном рынке, и с неплохой выгодой для себя. Шали, носки, варежки из Бяфиной шерсти шли на ура, и иной раз выручка была как пенсия.

(А вы хоть поняли, кто такой Бяфа? Это козел. Вообще-то сначала его назвали Бяша, это уж потом переназвали, потому что деда Ваня так его звал:

«Бя-а-афа, Бя-а-афа!» Деда Ваня был беззуб. А ягавая баба очень зубаста. У ней зубы росли даже везде. А у деды Вани уже нигде. Он был без зуб. Правильно сказать — без зубьев. Шутка! Правильно сказать — без зубов. Но он тоже очень любил козла. И все гладил его, и все, шамкая, приговаривал: «Бя-а-афа, Бя-а-афа!» Так и переназвали. Ведь сначала у ягавой бабы была черная кошка Мурка, ее колдовская помощница. Но что-то не больно было от нее много помощи. Деда Ваня говорил, что Мурка была покость, покостила и покостила. А потом Мурка пропала, и невесть откуда прискакал этот козел. Огромный, красивый, вонючий. Ягавая баба его полюбила больше, чем эту дурацкую Мурку. Бяфа был не покость. И у него была очень богатая шкура, то есть шерсти этой очень много.)

И баба из нее пряла кудель.

(Да, Дарька умела прясть. Многие ли сейчас умеют вручную прясть? Да считай, что и никто! А Дарька умеет. Это при том парадоксе, что учить ее было совершенно некому. Мать прясть не умела, про деду и говорить нечего. Сама как-то научилась. А может, где в сказке прочитала. Прялка-то была. Вот она ее крутила, крутила вхолостую и постепенно научилась.

А пряла, бывало, очень подолгу. В смысле, что очень уж не торопясь. Да она вообще лентяйка стала после того случая. Придет — руки аж черные. Ну и пахнет от нее не хуже того козла. Но и не лучше. Деда уж смеялся: «Да уж ты там с ним не обжимаешься ли?» Дарька морально дефективная краснела на такие слова. Девка-то была непорочная.

Ну и напрядет, навяжет. Этих самых носков и рукавиц было невпроворот. Тоже и одних шалей у ней четыре штуки, и шарфов невесть сколько. Потом руку набила и стала вязать кофты себе и деду.

Потом торговать стали. Как купцы какие. Хотя и не особенно прибыльно поначалу: больно уж вонюч был Бяфа. Дарья даром что шерсть мыла, да ведь разве намоешься. Так и все вещи попахивали. Но постепенно оценили. От шалей еще женщины воздерживались поначалу — все волосы пропахнут, боялись. Спасибо цыганкам: те скоро раскусили. А за ними и русские потянулись.

Козел-то косматости был куда как повышенной. Дарья всегда сидела на мешке козлиной шерсти. А уж щипать его уходила, как на работу. А уж подросла, Дарька-то... Уж и женихов бы ей, да где уж.)

И третье — закупиться. Деда Ваня покупал пшена, макарон, чаю, консервов, спичек, папирос, вина и иногда какую-нибудь книжку внучке. И четвертое — напиться. Ночевал он у бабы Любы, а если напивался сильно, то, бывало, и две ночи. А то и три. Но все равно потом обязательно возвращался домой с гостинцами.

Итак, деда Ваня ушел на охоту, надо попользоваться случаем. Для поездки в Город нужно переодеться, чтобы не узнала милиция. Ягавая баба стала переодеваться в нищенку. Так всегда делают ведьмы. Перевязала платок так, как носили деревенские бабы. Сняла ягу. Надела теплую кофту и обтерханную телогрейку. Свою донельзя изорванную юбку поменяла на другую, несколько более целую. Натянула трусы и поношенные гамаши. Надела шерстяные носки и резиновые сапоги. Подошла к зеркалу. Вылитая маленькая нищенка! Поглядела на руки. Так, не очень грязные, в самый раз. А то после Бяфиной шерсти бывали такие черные, что городские шарахаться бы стали, тогда, переодеваясь в нищенку, приходилось еще и руки мыть. Да с мылом!

Вышла из дома, выпустила из сарая козла погуляти.

Она его пускала погуляти. Потом садилась прясть. Шерстяной кудель мечет, а нитки через грядки бросает. Потом, как напрядет, бывало, веяла зо-

лото. Ягавая баба ведь золото веет; как совьет веретешко, и в ящик, и ящик запрет, так ты поди попробуй найди ключ, отвори или отбери ящик, веретешко переломи, кончик брось назад, а корешок перед себя. А яички там отдельно. Все это она засовывала под порог или полог, а поди-ка попробуй-ка! Сейчас съест.

Бяфа пошкандыбал, как обычно, неторопливо, качая в такт шагам огромными рогами и бородой.

Ягавая баба вернулась в избушку на курячьих голяшках и думает: «А на кой ляд я сюда вернулась?» Развернулась и пошла прочь из избы. Забор вокруг избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами, вместо столбов у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами.

И вот нарядилась ведьма нищенкой, приехала в город, протянула руку и стала просить милостыньку. И один добрый молодец посмотрел на нее, пожалел и говорит сам себе:

— Разве мало золотой казны у нашей матушки? Подам этой нищенке святую милостыню.

Добрый молодец вынул червонец и подал старухе; она не берется за деньги, а берет его за руку и вмиг с ним исчезла. То есть тьфу, наоборот, с деньгами исчезла, а не с ним. Запуталась. Голова-то дырявая!

Тут и другие его приятели подошли. Винца выпили и поехали кататься. А маленькая старушонка тут же рядышком пристроилась, клубочком свернулась, нос хвостиком прикрыла, ее и не видать, и не слыхать.

А лучше бы она вместе с добрым молодцем-то исчезла!

Сказала бы ему:

— Фу-фу-фу! Русским духом пахнет! Кто здесь? Прежде русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, нынче русский дух сам на ложку садится, сам в рот катится!

Привела бы к избушке и сказала так:

— Покатаюсь я, поваляюсь я на Лутонькиных косточках, Терешечкиного мяса наевшись. Ну, избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, повернись ко мне передом, к лесу задом; мне в тебя лезти, хлеба-соли ести.

А он бы и слова молвить не мог. А потому что, кто видит ягу, становится нем.

А она бы привела его в горницу, растянулась и толстым голосом сказала:

— Поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и отпущу тебя; а коли нет, так я тебя съем! Подавай-ка сюда, что там есть в печи; я есть хочу.

А кушанья настряпано человек на десять; из погреба вынесла бы она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха; ему оставила только щец немного, краюшку хлеба да кусочек поросятинки. Стала бы спать ложиться и сказала:

— Когда завтра я уеду, ты смотри — двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь да пойди в закром, возьми четверть пшеницы да очисть ее от чернушки. Да чтоб все было сделано, а не то — съем тебя!

А на другой день стук-стук, приходит баба-яга:

— Подавай обед! Пить-есть хочу!!

Он поставил на стол хлеб-соль и жареную утку; она все сожрала да еще спрашивает.

— Больше ничего нет, мы сами люди заезжие.

Баба-яга ухватила его за волосы, принялась таскать по полу, таскала, таскала, еле живого оставила. Наутро опять баба-яга —золотая нога спит непробудным сном, залегла отдыхать на двенадцать суток, зубы на полке, а нос в потолок врос.

Это все ей во сне привиделось. Сегодня проснулась и все вспомнила, как на самом-то деле было. Приехали добры молодцы, люди заезжие, да к ней в лес! А ведь не младенчики. Таких не съедать бы впору, а накормить, напоить, в баньке попарить, всех троих спать уложить, а уж потом и наутро и разговоры разговаривать. Со всеми троими: не то по очереди, не то со всеми с троими разом! Как это разом? Она прыснула в ладошку.

Ягавая баба, морда жилиная, нога глиняная, зевнула, потянулась и поскрипела зубами. Опять ступились? Соскочила с пече, накинула на голое тело ягу, сегодня из неблюя, и, прихрамывая, подошла к двери.

Сказала:

— Эй, запоры мои крепкие, отомкнитеся; ворота мои широкие, отворитеся!

Со скрипом отворилась дверь, и баба вышла на двор испробовать зубы на донельзя изгрызенной неподалеку растущей осине.

Ночью ударил крепкий мороз, и тонкие веточки осины покрылись белыми кружевами инея. Она-то сама, костяная нога, холода не чувствовала, а все-таки ногам было очень холодно. Ягавая баба приподняла подол яги и присела помочиться. Струйка звонко зажурчала, и баба, пока моча не кончилась, смотрела, как снизу подымался пар. Сегодня он был густой, белый.

Погрызла, вернулась в избушку, взяла стоящий у стены рашпиль и стала точить зубы. Аж вспотела точить. Хоть мертвые и не потеют, ан зубы-то железные! Тут и мертвый вспотеет.

Скинула ягу. Стала рассматривать свое темное, твердое тело, долго щупала свисающие ниже пояса (если глядеть сверху) соски. Кости вроде сегодня торчали из тела наружу не сильно. Живот тоже не протекал. Мертвечиной, конечно, пахло, но тут уже ничего не попишешь.

Наточив зубы, она снова надела ягу и еще юбку. Повязала косматую голову пуховым платком так, чтобы концы его торчали вперед. Посмотрела в зеркало. Стоит яга, во лбу рога.

Подошла к мышеловке, проверить. Мышеловка оказалась совсем пуста. Ягавая баба вздохнула и пошла выпускать Бяфу погуляти. Бяфа пошел, качая рогами и бородой.

Ягавая баба вернулась в избушку на курячьих голяшках и думает: «А на кой черт я сюда вернулась?» И вспомнила: добры молодцы. Они должны прийти. Она села прясть. Шерстяной кудель мечет, нитки через грядки бросает, а сама думает: «Охтимнешеньки, что делать-то?» Потом стала веять золото, а сама думает: то ли ей баню топить, то ли еду готовить, то ли постели стелить? И ничего не может придумать, голова-то дырявая. Семь дыр.

Тем более баню она и топить толком не умела. Баню всегда сам деда Ваня топил, сам же в ней и парился, а ягавая баба это дело не уважала. Еще чего, она же баба, а не какой-нибудь добрый молодец! Она видела, конечно, как баню топят, но сама-то не пробовала.

То же самое с постелями стелить. Деда Ваня стелил себе сам, а ягавая баба спала на пече, на девятом кирпиче, и откуда ей знать, как постели стелят?

Вот разве еду приготовить. На первое суп из лягушек, салат из дурман-белены. Нет, лягушек лучше на второе нажарить, а на первое — да вон хоть лука наварить целый чугунок, и пускай себе хлебают.

Так сидела, и пряла, и веяла, и думала, а добры молодцы все не приходили, хотя чутким ухом она за версту слышала, как они гуляли. Они и вчера вечером гуляли, и вчера она даже не утерпела подкрасться совсем близко и немного посмотреть, могли бы ее и заметить, да уж больно они были хмельные. День уже начал клониться к вечеру, а их все не было.

Да, день уже начал клониться к вечеру, а где же Бяфа? Он всегда делал что вздумается и гулял сам по себе, но редко пропадал надолго. Еще бы ле-

том можно понять — где калиновый кустик обгложет, где капустку, а зимой подолгу гуляти вовсе бы незачем?

Вдруг за окном замяучила кошка. Ягавая баба вскочила с лавки и стала прислушиваться. Приложила ладонь к уху и долго стояла. Никак померещилось? Через несколько времени мяуканье повторилось, доносилось как будто с полночи. Ягавая баба вышла на двор. Оторопела: прямо напротив избушки за решетчатыми воротами сидела здоровенная черная кошурка. Она смотрела прямо на ягавую бабу и мяучила, словно просила жрать. А то ли и не жрать, а будто просилась в избу. Так раньше просилась Мурка. Потом Мурка совсем пропала, тогда появился Бяфа. А теперь что же, Мурка воскресла? А как же тогда Бяфа?

Ягавая баба не знала, куда бежать, и, выйдя за забор из человеческих костей, снова стала прислушиваться, настороженно шевеля петлистыми ушами. И услышала такие звуки, что, не обращая внимания на хромоту, со всех ног понеслась на эти звуки. Звуки доносились еле-еле. Бяфа кричал очень сердито, а в саду были только эти молодцы. И они тоже кричали и бранились. Значит, там драка. Бежать было далеко, надо было очень торопиться, чтобы успеть. Только теперь, задыхаясь от бега, она все поняла.

Она бежала и видела взломанные двери домов, выбитые окна, поваленные заборы и растоптанные грядки. Голоса слышались все ближе, но русским духом вовсе не пахло. А потом она услышала то, что говорили эти люди... Они говорили не по-русски.

Окончательно стало ясно — никакие они не добры молодцы. Это были фашисты. Гребаные фашисты. Она читала некоторые книги про фашистов. Там описывалось все точно то, что она увидела сегодня. Фашисты грабили, взламывая дома и погреба. Они убивали. Сначала они убивали всех собак, кур, свиней и, конечно, козлов, потом принимались за людей. Фашисты насиловали женщин. Фашисты кичились своей культурностью и называли русских людей дикими зверьми.

Но ни в одной книге не было написано, как фашисты, охотясь за партизанами, набрели на избушку на курьих голяшках. Рвущимся на восток гитлеровцам не было никакого дела до дремучего русского леса, где на неведомых дорожках следы невиданных зверей. А русскому лесу до фашистов — и подавно. И правильно, что не написано ни в одной книге, — она получилась бы слишком страшная.

Фашисты были совсем рядом. Баба яга забежала за соседний дом, легла на землю и осторожно выглянула из-за угла. Их было двое. Рослые, вооруженные до зубов ломом и топором, они возились с чем-то большим и темным. Разглядев, что это было, ягавая баба сумела не закричать. Сумела не броситься на фашистов. Ей не справиться с ними двумя в открытом бою. Она вонзила отточенные зубы в руку и заставила себя отползти назад. Во рту стало тепло и солоно от хлынувшей из прокушенной руки крови. Слезы застилали глаза, но этого было нельзя — сейчас ей особенно важно было хорошо видеть. Она изо всех сил укусила вторую руку, и слезы кончились. Стала дышать глубоко.

Посмотрела: плохо, что шла кровь. Вокруг были пятна. Правда, уже начинало смеркаться, и хорошо, что не было снега. Руки следовало бы забинтовать, но для этого надо рвать юбку, а треск ткани могут услыхать фашисты.

Она опять осторожно выглянула из-за фундамента. Фашисты привязывали тело Бяфы к шесту. Видно, собирались унести в свое волчье логово. Они были так заняты своим черным делом, что совершенно не смотрели по сторонам и не прислушивалась. Ягавая баба оторовала от подола два куска и завязала руки. Она читала, что фашисты всегда были самонадеянны и глупы. Потому-то мы били, и бьем их, и будем их бить.

Вскоре к ним подошло подкрепление, еще один фашист. Конечно, вдвоем им было не сдюжить, вызвали подмогу. Подмога шел медленно, немного пошатываясь, сейчас видно, что был пьян.

Выследить, где находится их логово, не составило для ягавой бабы никакого труда. Прячась за кустами и строениями, она краткими перебежками следовала за оккупантами. Вскоре они дошли до захваченного ими дома, громко кричали что-то на фашистском и ломаном русском языке, но ягавая баба не вслушивалась. Она лихорадочно думала, как стать быть.

Справиться со всеми сразу ей не под силу. Она, хотя и ягавая баба, была небольшого роста и худенькая, недаром ее так легко принимали за девчонку. Можно взять топор, подкараулить и зарубить одного, но двое оставшихся рано или поздно его хватятся, а с двоими ей уже не справиться.

А вдруг искать пропавшего пойдет один? Тогда можно перебить их по очереди. А вдруг не один? И вдруг они вообще будут все время вместе? Кроме того, вообще неизвестно, как они поведут себя, когда ее увидят. Фашисты ведь трусы, они могут и вовсе запереться в доме и вызвать карательный отряд. Правда, как только они запрутся в доме, тут им и смерть, но каратели-то потом приедут, прочешут местность, поймают ее. И прежде чем повесить, будут еще пытать и насиловать. Правда, никаких пыток ягавая баба не боится, она ведь мертвая, но изнасиловать ее они вполне смогут. От одной мысли об этом ягавую бабу затрясло от ненависти. Нет, бесславные ублюдки, этого-то не будет! Никакого карательного отряда не будет. И зачем их рубить топором? Что потом прикажете делать с мясом? Зажарить и сожрать? От этой мысли ягавую бабу передернуло от отвращения. Это же не сладкие Терешечка или Лутоня, это фашисты, жрать их она брезговала. Нет, фашисты не должны ее заметить.

Ягавая баба засунула палец в рот и призадумалась. За козла они ответят. Вот они сейчас напьются своего шнапса и уснут пьяные. А дом случайно загорится, и все будет шито-крыто.

Ягавая баба тихонько обошла дом и его узнала. Этот дом был хорошо ей знаком — один из немногих в саду, он имел ставни на окнах, и она радостно захлопала в ладоши:

— Ай да гостинец фрицам! Ай да сюрприз фашистам!

Тем временем стало совсем темно, и окна в доме — всего их было три — зажглись. Ягавая баба приподнялась на цыпочках и осторожно заглянула в окошко. Стекло изнутри запотело, но разглядеть было можно. Фашисты жарили мясо и пили вино. Они громко кричали на фашистском и ломаном русском языке, чокались стаканами.

Затем самый звероподобный подошел к музыкальному ящику и завел музыку. До ягавой бабы донесся зловещий барабанный бой, оглушительный скрежет, похожий на звуки пилы или сирены, и истерические вопли фашистского певца. Наверное, пел Гитлер. Верзила еще прибавил звука, и все трое задергались в конвульсивных движениях.

Ягавая баба медленно вынула крючок из петли и очень осторожно стала закрывать одну створку ставни. Створка заскрипела, но из-за своей музыки фашисты ничего не слышали. Она закрыла вторую створку и накинула запор, сверху вниз наискосок прижав створки снаружи. Вставила его ушко в петлю и просунула в отверстие толстый ржавый болт.

Бегом обогнула дом и приникла к другому окну — фашисты продолжали свой ужасный пляс, ничего не видя и не слыша. Ягавая баба вынула крючок из петли и закрыла первую створку, затем вторую и так же закрепила болтом.

Вдруг со скрипом распахнулась дверь, и по крыльцу загрохотали сапоги. Ягавая баба, присев, прижалась к стене дома и затаила дыхание. Пьяный молодой голос изо всей мочи прокричал: «Ай донт ноу факен шит!» После

этого до нее донеслось журчание, громкий треск испускаемых ветров, а затем шаги и опять скрип двери. Она облегченно вздохнула и подбежала к третьему окну. Ей уже дважды повезло, и она боялась, что с третьим окном возникнут какие-нибудь трудности. Или ставень не станет закрываться, или в нижней петле не окажется болта. Но и здесь все было в полном порядке. Она прежде мельком видела хозяина этого дома, теперь захваченного фашистами, и, благополучно заперев последнее окно, мысленно поблагодарила его за хозяйственную рачительность.

Затем ягавая баба на цыпочках вбежала на крыльцо. Приложила ухо к входной двери. В доме продолжалась оргия. Этот засов закрывался на замок. Она вынула из-за пазухи огниво, которое всегда носила с собой, и щелкнула им. Слабый огонек осветил висящий на засове огромный замок, и даже ключ торчал в скважине. Она вынула замок из ушка и хотела было уже запереть дверь, но вдруг глубоко задумалась.

Она подумала, что если изба загорится, то это будет видать очень далеко, и могут вызвать пожарников. Они приедут и потушат. И увидят, что дом заперт снаружи. И вызовут карателей.

И еще она вспомнила один секрет. Никто этому не верит. А пожарные говорят — дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в него. И там задыхается. И еще — в дыму ничего не видно. Не видно, куда бежать, где двери, где окна. Дым ест глаза, кусает в горле, щиплет в носу. Не говоря уж об угаре. Угар-то, правду сказать, глаз не ест, в горле не кусает, в носу не щиплет и совершенно прозрачный. Но радости от этого никому нет, потому что в некоторых других отношениях он еще гораздо хуже этого... как его? Ну да, дыму!

И вот если залезть на крышу и чем-нибудь закрыть трубу... Нет, не сейчас, когда из нее валит дым, а потом, когда дым уже пройдет, а останется один только угар. То все получится очень тихо и хорошо. Стоит только выждать нужное время. Ждать ягавая баба умела. Только чем закрыть? Жопой сесть. А наверное, горячо, а сидеть на трубе придется долго. Ну ничего, она потерпит.

Через несколько часов фашистская оргия стихла. Ягавая баба, затаив дыхание, подошла к двери и прислушалась. Из-за двери доносился только храп. Она осторожно потянула дверь на себя, рассчитывая, что, если та заскрипит и фашисты проснутся, успеет шмыгнуть с крыльца и раствориться в темноте. Но дверь приоткрылась совершенно бесшумно.

Ягавая баба заглянула в дом. Сразу за дверью была крохотная прихожая с вешалкой и печью. Фашисты храпели дальше, в комнате. Ягавая баба еще приоткрыла дверь и бочком на цыпочках вошла в прихожую и подошла к печи. Здесь было невыносимо жарко, а сквозь щель в плите виднелась груда ярко-красных углей, по которым пробегали синие огоньки. Ягавая баба осмотрела печь и с радостью поняла, что ни на какой трубе сидеть не придется. Вверху была открыта вьюшка. Баба приподнялась на самые кончики пальцев, осторожно задвинула ее. Затем выскользнула из дома в холодную черную ночь. Плотно затворила за собой дверь, закрыла ее на засов, просунула дужку замка в петли, повернула ключ и побежала домой отогреваться. Потом надо будет вернуться и снять засов.

Никто этому не верит. А пожарные говорят...

Глава одиннадцатая
Пораймос

С годами демон кровожадности слабеет, отдавая большую часть своей силы своему брату — демону нечистоты (...). Я умолчу о биографических фактах, — скажу лишь несколько слов о стихотворных произведениях, внушенных этим демоном нечистоты. Во-первых, их слишком много; во-вторых, они слишком длинны: самое невозможное из них есть большая (хотя и неоконченная) поэма, писанная автором уже совершеннолетним, и, в-третьих, и главное — характер этих писаний производит какое-то удручающее впечатление полным отсутствием той легкой игривости и грации, какими отличаются, например, подлинные произведения Пушкина в этой области. Так как я совершенно не могу подтвердить здесь свое суждение цитатами, то поясню его сравнением. В один пасмурный день в деревне я видел ласточку, летающую над большой болотистой лужей. Что-то ее привлекало к этой темной влаге, она совсем опускалась к ней и, казалось, вот-вот погрузится в нее или хоть зачерпнет крылом. Но ничуть не бывало: каждый раз, не коснувшись поверхности, ласточка вдруг поднималась вверх и щебетала что-то невинное. Вот вам впечатление, производимое этими шутками у Пушкина: видишь тинистую лужу, видишь ласточку и видишь, что прочной связи нет между ними, тогда как порнографическая муза Лермонтова — словно лягушка, погрузившаяся и прочно засевшая в тине.

Или, — чтобы сказать ближе к делу, — Пушкина в этом случае вдохновлял какой-то игривый бесенок, какой-то шутник-гном, тогда как пером Лермонтова водил настоящий демон нечистоты.

В.С. Соловьев. «Лермонтов» (1899)

Итак, как уже отмечалось, в одиннадцатом доме они нашли смерть. Смерть явилась им в образе большого черного козла.

Калитка была широко раскрыта, они прошли на участок и столкнулись лицом к лицу с козлом. Говоря о козле «лицом к лицу», мы, разумеется, помним, что лицевую часть черепа козла, как и любого другого зверя, вообще принято называть мордой. Но именно потому мы прибегли к данному обороту речи, что этот козел олицетворял собою саму смерть.

Но только олицетворял, ибо сам по себе был самым настоящим козлом. Хотя и не совсем типичным представителем фауны для описываемой местности.

(Уже одно это могло бы насторожить героев описывающейся повести, но, как уже можно было понять выше, они не придавали таким вещам ни малейшего значения.

Ведь совершенно очевидно, что, в частности, подойдя к берегу озера, они должны были обратить внимание на кричащее несоответствие расстилающегося окрест них растительного сообщества тому ландшафту, на котором оно расстилалось.

В самом деле: в болотистой приозерной низине, где они находились, естественно было встретить густые заросли камыша или тростника, рогоза, крупных осок и им подобных злоехидных злаков. Вместо этого перед ними

шумели, качаясь на ветру, султаны тимофеевки, метелки овсюга, ежи сборной и мятлика, тут и сям пестрели побуревшие соцветия клевера, высохшие листочки и усики мышиного горошка. Произрастали там чемерица, лютик едкий, болиголов пятнистый, вех ядовитый, фиалка удивительная — то есть именно все то, чему здесь произрастать было никак невозможно.

Такое невнимание к природе родного края может быть объяснено не столько опьянением героев, сколько их потрясающим ботаническим невежеством.

Совершенно сходная ебатория произошла и с козлом.)

Это был матерый полорогий самец, плотного сложения, чрезвычайно вонючий, в чем путешественники убедились, когда ветер подул на них со стороны козла. Рога были очень мощны, длиной едва не в человеческую руку и круто загнуты назад. Позднее, когда туристы познакомились с животным поближе, они отметили, что переднее ребро рога было острое и усажено зубцами. Облик зверя дополняла очень длинная и густая борода.

Скорее всего, по виду он напоминал так называемого безоарового, или бородатого, козла, который обитает все больше на Крите, в Турции, на Кавказе, в Южной Туркмении, Иране, но уж никак не здесь. Но они, как уже и следовало ожидать, не насторожились и едва ли даже осознали эту, мягко скажем, странность.

Они подбежали к козлу, стали называть его козлом, что, в общем, справедливо, а также, по аналогии, пидором, что, несомненно, являлось по отношению к нему полной чепухой.

Кирюша немузыкально запел:

У нашей Мэри был козел,
Он бородой дорожки мел.
Ах, до чего ж смешной козел!
Спляшем, Мэри, спляшем!

Тут же и заплясал заплетающимися ногами какой-то пасодобль.

Козел до их появления спокойно жевал торчащую между бревен дома паклю и не обращал на них никакого внимания. Гран-туристы были возбуждены спиртным, и им захотелось пообщаться с животным. Как это делается, они, в связи со своим потрясающим зоологическим невежеством, разумеется, понятия не имели.

Сначала они прыгали вокруг козла, называя его, как уже указывалось, козлом и пидором. Он, однако, искоса бегло оглядев пришельцев одним глазом, продолжал, жуя, тащить паклю из стены, тем самым, безусловно, нарушая теплоизоляцию жилья. Обращенный к нему упрек Стивы в порче чужого личного имущества козел проигнорировал. В ответ на повторный упрек, сопровождаемый пинком под зад, козел повел глазом, но не более того. Между прочим пинок, нанесенный козлу, от этого даже не пошатнувшемуся, был средней силы, из чего юноша мог бы сделать вывод о достаточной массивности и силе зверя. Сделал ли он такой вывод — сейчас судить сложно. То же самое следует признать и в отношении Кирилла, который, обеими руками ухватившись за козлиные рога, с пьяным криком «Отдай рог!» тщетно попытался оторвать его от трапезы равно вредительства.

Таким образом первый контакт с представителем нечеловеческого мира провалился. Исходящий же от козла специфический запах вблизи показался молодым людям трудно переносимым, если не сказать большего.

Стива, назвав козла голливудской вонючкой и еще раз пнув, предложил Кириллу оставить в покое это зловонное существо и двигаться дальше. Кирилл согласился, достал из пачки сигарету и закурил. Вдруг козел оторвал

морду от пакли и заинтересованно потянулся к раскрытой пачке. Кирилл сначала вздрогнул, вероятно, подумав, что козел хочет его забодать, и со страха чуть не упал. Козел между тем заблеял неожиданно тоненьким для своей комплекции голоском и продолжал тянуться мордой к пачке, причем ноздри его раздувались. Приятели не знали, что и подумать. Кирилл с нервным смешком предположил, что животное хочет курить. Стива нерешительно достал и протянул козлу сигарету, и тот немедленно и, с видимым удовольствием тряся бородой, ее сожрал.

Друзья вытаращили глаза. Кирилл предположил, что козел сумасшедший. Стива немедленно выдвинул версию, что он наркоман.

(Здесь трудно удержаться от сентенции. О, дети мои! Сумасшедший ли, наркоман ли — не суть важно: в обоих случаях разумному человеку следует держаться от такого субъекта подальше. И уж тем более — в подступающих сумерках над торфяными болотами, когда силы зла властвуют безраздельно!)

Невежественным молодым людям, конечно, трудно было уразуметь, что козлы суть твари травоядные, а сигареты, наполненные высушенными листьями табака, суть своего рода сено. Козел же чувствовал соблазнительный, незнакомый прежде запах. Он жевал ароматизированное американское сено, уж конечно не помышляя ни о том, что оно особенного свойства, ни о том, что ведро никотина убивает бегемота. Не думали об этом и пораженные зрители.

А ведь Кирилл был очень близок к пониманию происходящего, когда сказал после третьей съеденной сигареты (которые одну за другой с громким смехом подавал козлу Стива), что козел-то — явный американец. Стива спросил: «Почему американец?» Кирилл ответил: «Ну американцы же раньше табак жевали, да и сигареты как раз американские». На что Стива заметил: «Ну вот, не зря же я сказал — вонючка голливудская!» Кирилл засмеялся, и у него в этот момент не хватило рассудительности, чтобы логически развить свое гениальное прозрение. Никому не пришло в голову, что американцы жевали табак вовсе не ради его выдающихся гастрономических качеств, но специфического эффекта для. И то же самое, независимо от темных побуждений животного, происходило сейчас на их глазах.

Они со смехом скармливали сигареты зверю, а тот постепенно возбуждался, глаза его начали понемногу розоветь, и ноздри двигались все чаще и сильнее. Козел снова заблеял, уже гораздо энергичней, чем в первый раз, и, отчаянно тряся бородой, стал нетерпеливо переступать копытами по обледенелой земле. Приятели со взрывом хохота констатировали тот уморительный с их точки зрения факт, что козел-то и впрямь наркоман, что его уже явно торкнуло! И в этом они оказались правы.

Когда пачка Кирилла опустела, он смял ее и бросил на снег. Козел проворно кинулся к ней и стал жевать, чем вызвал новую волну смеха у зрителей. Но, по всей видимости, ни картон, ни целлофан не пришлись ему по вкусу. Он оглянулся на потешающихся над ним приятелей и внезапно бросился на них. Сделав несколько больших скачков, он круто остановился перед Кириллом и громко заблеял. Стива захохотал еще громче и, поскользнувшись, упал. Кирилл, однако, уже не смеялся, а с некоторым испугом смотрел на козла. Козел вторично заблеял и ткнулся Кириллу мордой в карман, где раньше лежала пачка. Молодой человек пошатнулся и ухватился одной рукой за обледеневшие ветки сиреневого куста, которые, сотрясясь, издали хрустальный звон. Козел сделал еще один шаг и, слегка наклонив голову, толкнул Кирилла в карман рогами. Кирилл побледнел и, тихо, с ужасом прошептав: «Он меня забодал», навзничь упал в куст сирени, сопровождаемый новым переливом хрустального звона.

К тому времени Стива смог наконец подняться на ноги, хотя его немного пошатывало. Он подбежал к кусту сирени и заорал, обращаясь к напа-

давшему: «Ты че, козел, а?!» Этот, в сущности, риторический вопрос он отнюдь не забыл сопроводить очень энергичным пинком по козлиному заду. Однако ни пинок, ни уж тем более вопрос не произвели на нападавшего решительно никакого действия. Стива, судя по молча открывшемуся рту, был удивлен. Козел же, выставив рога, продолжал наступать на карман Кирюшиного пальто, и до Стивы донесся дрожащий голос друга: «Он меня забодал!» Лицо Кирилла было совершенно белым. Стива подпрыгнул и, как настоящий каратист, ударил козла ногой по голове. После такого сокрушительного удара козел наконец обратил внимание на Стиву.

Зверь развернулся и, выставив рога вперед, скакнул на противника. Едва ли он сознательно целился в солнечное сплетение, но попал. Стива ахнул и согнулся пополам. Его лицо оказалось прямо напротив козлиной морды. Морда была вполне отвратительная — красноглазая, бородатая, да еще с высунутым тоненьким языком, словно бы козел дразнился, и даже некое подобие улыбки почудилось Стиве в козлиной морде. Сверх того Стиву окатила волна столь отвратительного зловония, что он, и без того задохнувшийся от подлого удара, казалось, на какое-то мгновение отключился. Во всяком случае, он не успел заметить того козлиного движения, в результате которого получил следующий удар рогами прямо в лицо. Здесь ленивый и нелюбопытный Стива наконец-то отметил, что переднее ребро рога было острое и усажено зубцами, и упал на землю с разбитым носом, причем еще хорошенько треснулся головой о подвернувшуюся кирпичную окантовку клумбы.

Тем временем Кирилл, как ни был деморализован внезапным и вероломным нападением, все же выкарабкался из обледенелого куста и, видя, что козел пока занят растерзанием Стивы, со всех ног бросился бежать. Козел заблеял, скакнул как-то боком и кинулся вдогонку. Кирилл слышал сзади все ближе и ближе топот копыт о мерзлую землю. То настигала его сама смерть, и он, сбросив пальто, изо всей мочи рванул вперед — там, метрах в десяти, была застекленная теплица...

Он успел добежать — но не затормозить. Слава Богу, успел выставить вперед руки и вписался в стеклянную стену не лицом, а всего лишь ладонями. Слава Богу — потому что тут же, запнувшись о край теплицы, полетел сквозь стекло вверх кармашками, из которых посыпалась мелочь.

(Заметим здесь, что у каждого в течение описанных минут был шанс внезапной смерти. Стива мог проломить череп при ударе о кирпич, а Кирилл — сломать шею при кувырке в теплицу. Но ни один этим шансом воспользоваться, увы, не сумел. И поэтому наше повествование продолжается.)

Позорное бегство Кирилла с поля боя на самом деле только сыграло на руку Стиве. Теперь козел, бросившийся в погоню за трусом, оказался на достаточном отдалении от Стивы, чтобы последний отдышался, встал на ноги, вытер кровь с лица, потер ушибленную голову и произвел разведку и перегруппировку. Стива был достаточно тренирован, чтобы быстро прийти в себя, и достаточно взбешен, чтобы не спустить это дело на тормозах.

Разведка показала, что Кирюша со звоном кувыркнулся в теплицу, и неизвестно, жив ли, козел на полпути к теплице возится с Кирюшиным пальто, а под навесом садового домика, метрах в пяти отсюда, стоит в углу сельскохозяйственный инвентарь.

Стива, стараясь не выпускать из вида врага, бросился под навес. В углу стояли грабли, деревянная лопата для чистки снега, ржавая совковая лопата (а впрочем, там все было совковое), еще какая-то херь типа мотыги. В это время Кирилл в теплице сел на землю, очумело помотал головой и стал рассматривать руки, кажется, окровавленные, а козел оставил пальто и неторопливо направился к теплице. Тут Стивин взгляд упал на пол, и там обнаружился приблизительно метровый обрезок не слишком тонкой, но и не

так чтобы слишком толстой арматуры. «То, что надо!» — злодей заулыбался и, подхватив увесистую железяку, легко побежал вслед за козлом.

Кирилл сел на землю, очумело помотал головой — голова была цела, лицо тоже. Но когда он увидел свои окровавленные ладони с застрявшими осколками стекла, то едва не потерял сознание. И, вероятно, потерял бы, но боковым зрением увидел некое движение, повернулся и обнаружил, что к теплице довольно быстро трусит чудовище. Сердце его захолонуло, и он, мигом позабыв о боли, в ужасе вскочил на ноги.

Козел неминуемо приближался. Надо бежать! Или... не надо? Он заметался, не зная, что решить, а решать надо было мгновенно. Может, козел не захочет бить башкой стекло? А уж на открытой-то местности он точно нагонит Кирилла и растерзает! Лучше остаться здесь. А вдруг козел плевать хочет на стекло, разобьет и ворвется в теплицу? Тогда точно конец! Лечь на землю, между грядками? И Кирилл лег, сразу перестав думать. Зажмурился, вжался в землю, прикрыл голову и затаил дыхание. Может быть, козел тупой, он подумает, что жертва исчезла, и уберется восвояси? А может быть, не видя Кирилла, он побежит к Стиве, а Кирилл, пока зверь, в слепой ярости добивая Стиву, не видит ничего вокруг, тихонечко проберется к калитке и уж потом побежит со всех ног? И, может быть, пока будет бежать, даже придумает, как Стиве помочь? Да уж куда там! Уж, небось, Стива давно мертв, а козел уже давно зашел в теплицу, и сейчас стоит над Кирюшей, и только ждет, когда тот устанет лежать, и поднимет лишь голову, а тут козел его — жжах! Бах! Трах! Ой, бля...

Раздался свирепый выкрик Стивы и звук удара. Кирилл вскочил на ноги и увидел в паре метров от теплицы козла и Стиву. Стива размахнулся палкой, но промахнулся и выпустил ее из рук. Она покатилась по земле, ударилась о кирпич и зазвенела, как железная. Стива крикнул: «Киря, топор! Топор в заборе!» Кирилл завертел головой, увидел и рванулся к забору.

Стива изо всех сил ударил направившегося к теплице козла по спине, но удар пришелся немного вскользь, и козел только вякнул странным голосом, мигом развернувшись мордой к Стиве. В этот момент в теплице возник Кирилл, и Стива, бросив на него беглый взгляд, не заметил следующего скачка козла вбок, поэтому второй удар пришелся и вовсе в пустоту. Арматурину Стива не удержал, она отлетела далеко и, упав, покатилась еще дальше. Стива вспомнил про топор и послал за ним Кирю, а сам со всех ног бросился за железякой. Козел заблеял, но Стива даже не стал оглядываться, спеша добраться до своего орудия. Добежав, поднял его и увидел, что Киря с топором уже бежит к нему, а козел — к Кире.

— Бросай! — крикнул Стива.

Киря бросил топор, и слава богу, что не Стиве, как последний подразумевал, крича: «Бросай!» Нет, Кирюша метнул топор прямо в козла, как томагавк. Однако неожиданно для всех присутствующих попал прямо по башке. Не лезвием, обухом, но козел вторично вякнул, пошатнулся и стал мотать головой. Кто его знает, как бы он повел себя дальше, но на помощь уже спешил Стива с арматурой. Он размахнулся, и на этот раз удар железяки пришелся не вскользь: она с треском опустилась прямо между рогов.

Козел повалился на землю и мелко засучил ногами.

Киря поднял топор и, подскочив к козлу, с хаканьем стал рубить ему голову. Рубил долго, минут пять, никогда не перерубая шею с одного удара и никогда не попадая дважды в одну рану. Кровь хлестала во все стороны. Он уже запыхался, но продолжал рубить. Стива туповато наблюдал за этим зрелищем.

Ольгович тоже.

Никто не заметил, как он подошел. Кирюша продолжал расправляться с поверженным врагом, а Стива наконец заметил, что их стало трое.

— Ты где был? — не глядя больше на труп, накинулся на Кашина Стива.

— Где, где... В п...де-е, — протяжно ответил Кашин.

Но это была неправда.

Хотя он и собирался. Собирался, если кто помнит, долго, тщательно все продумав до самых последних мелочей. Его план был столь великолепен по замыслу, настолько просчитан, что не мог не воплотиться в жизнь самым блестящим образом. Это было просто невозможно. Но невозможное возможно, когда блеснет в дали дорожной мгновенный взгляд из-под платка. И Олег помнил мгновенный взгляд из-под платка на конечной остановке трамвая.

Кирюша окончательно выдохся и, завершив наконец декапитацию, тоже увидел Ольговича. Переволновавшись, он выказал гораздо меньше удивления, чем следовало.

Олег сказал, что спал в бане, потом проспался и их потерял, и пошел искать, и услышал крики, и вот нашел...

Товарищи сказали все, что о нем думали.

Что же касается козла, то он теперь являлся их законной добычей, и они решили оттащить его домой и зажарить. Добычу привязали к шесту, Стива и Олег взвалили его на плечи и потащили. Кирилл указывал дорогу, потому что начинало смеркаться.

Итак, Олег проспал целый день! Он вчера выпил больше, чем следовало (что, кстати, тоже было совершенно невозможно). Но случилось именно так, он перебрал. Как это могло произойти — уму нерастяжимо. Он с самого начала собирался налить себе наркомовские сто грамм и объявить, что это его норма на сегодня. Правда, он пил и до того. И правда, что Стива стал кричать, что наркомов нонче нету, это вам не восемнадцатый год! Нынче у нас министры, а министерские бывают не сто грамм, а двести! Кирилл горячо поддержал. Пришлось уступить требованиям возмущенных приятелей и добавить еще сто. Но разве двести — это так уж много? Тем более — под хорошую закуску. И музыку. Казалось бы, ничего страшного.

И тем не менее Олег умудрился перебрать. Нет, голова была совершенно ясной, но вот ноги слушались плохо. Ему приходилось заставлять себя их переставлять, чтобы не упасть прямо на улице. Потому что это бы не лезло уже ни в какие ворота. Потому что нужно было столько сделать, а подлые ноги отказывались функционировать.

После того как товарищи перепились (а один еще, резвясь, разбил ему нос), нужно было дойти до места назначения и провести там воспитательную беседу, убедив девку пойти в гости. А девка дикая и убеждать, возможно, придется долго. Кроме того, требовалось ее подпоить, и он нес для нее водку в кармане, да и не без зелья. Станет ли она пить? Тут все тоже зависело от его суггестивных, или, говоря проще, дипломатических, способностей. Так что нужно собрать волю в кулак, а ведь еще придется вести ее обратно. А может быть, и нести, ведь один хрен знает, как на нее подействует райская смесь. И еще придется тут ее пьяную раздевать и привязывать к креслу. А еще предстояло связывать этих придурочков. Да все это с умом. Их надо связать так, чтобы они смогли сами освободиться, когда проснутся. А ее, наоборот, так, чтобы, проснись она первой, нипочем бы не смогла, но вместе с тем и так, чтобы они-то все же развязали ее. Вот как все непросто! А ноги, подлые, не слушались.

Они не были даже знакомы. Олег видел ее много раз, но всегда издалека, и лишь однажды крупным планом, да и то мельком, хотя ему и так понравилось.

Однажды, год почти тому назад, собрались резать у Ивана свиней. Он тогда держал свиней и козла, а теперь одного только козла. Папешник

тоже собирался, да не получалось, и послал вместо себя Олега. Потому что смочь-то не смог, а мяса тоже охота. Вот он и сказал Олегу поехать, вроде как поприсутствовать. Толку-то вроде от Олега и не было, а свинины тоже непременно дадут. Он и приехал, и дали, хотя и опоздал.

Он прособирался, да еще пока ждал трамвая. Вот и перерезали они всех свиней, а дело было в ноябре, и они пили водку и ели свинину на раскаленной до светло-красного цвета плите: легкие, печень и х... с яйцами. Нет, в хорошем смысле. Свиной х... с соответствующими яйцами. В доме было чрезвычайно жарко натоплено. Резали татарин Малахайка, Иван и Олег, хотя от него пользы не было, но зато он напился и наелся, не говоря уже про Дарьку, которая, к сожалению, спала, потому что всю ночь пряла шерсть. Но тогда и без нее было очень хорошо. Но с ней бы в тысячу раз лучше.

А началось с того, что ворота, раскрывшись, словно бы рухнули вовнутрь. Когда Олег вошел во двор, на свежем снегу уже лежали пять черных, опаленных паяльной лампой свиных тушек. А впрочем, пожалуй, туш. Тушками их называл Малахайка. Ему, конечно, было виднее. Он перерезал этих грязных свинищ столько, что и иному мяснику с Чикагских боен бы не уступил. Достаточно сказать, что когда их вскрыли, то у всех пяти сердце было разрезано точно пополам. Это была работа Малахайки — так он бил еще живых свиней прямо в сердце, и каждое свиное сердце — точно шашкой, напополам! Вот так фокус.

И он еще много рассказывал про забой скота, покуда подручные Иван и Олег под его руководством пластали туши. Он все время ругался и пенял на Ивана, что тот такой не такой. А тот только посмеивался, дымя «беломориной».

— Что ты такой не такой! — бранился Малахайка. — Соломы в хозяйстве нет!

— Отвяжись со своей соломой.

— Паяльной лампой кто палит? Дураки!

— Да ладно!

— Что ладно? Не ладно! Сальце засолишь — шкуру не угрызешь! Сальцо хорошо со шкуркой, нежная, вкусно!

— Ты ж татарин! Тебе вообще сало нельзя.

— Я не татарин, — возразил Малахайка. — У меня только бабушка татарин, а я не татарин и свинину всегда ем. И сало ем. Только надо вот как: свинью забил, соломкой обложил и подпалил. Шкурка нежная, вкусная. А не паяльной лампой!

— Ты достал! Ну нету соломы, что, удавиться теперь?

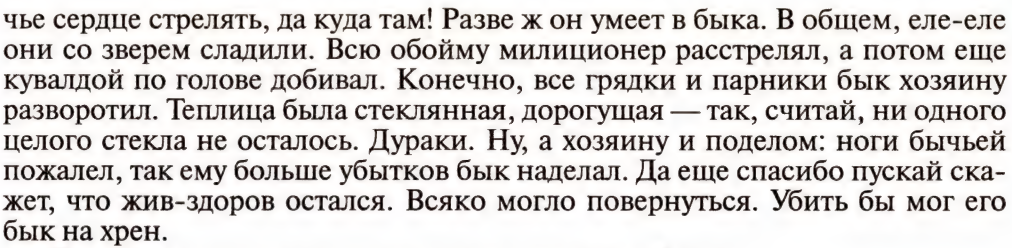
— Хозяин такой, — заключил Малахайка.

— Какой?! — возмутился Иван.

— Не такой.

Потом вынимались кишки, печень, почки. От всех внутренностей шел пар и густой запах свежей крови.

Малахайка рассказывал, как его позвали однажды забить бычка. Он приходит, а там какой бычок! Там бычище старый, что такой бегемот. Малахайка покачал головой и сказал: «Здоровый же бычище! Такого трудно будет». И потребовал за работу бычью ногу. Хозяева пожадничали. Хозяйка говорит: «Ишь ты, ногу! Да это ж сколько кило мяса будет!» Хозяин смеется: «Раскатал губу! Да ты и не унесешь столько». Малахайка спорить с такими людьми не стал, пошел домой. Заранее знал, что ничего хорошего у хозяев не получится. Хозяин тогда позвал приятеля, милиционера. Тот прямо в форме приехал, с пистолетом табельным. Сейчас, говорит, мы его приговорим. Вывели быка на огород, и бац этот милиционер ему прямо в лоб из «макарова». И что вы думаете? Пуля рикошетом в сарае дырку делает, а бык, ясно, озверел. Те не знают, куда и бежать! Милиционер давай тогда в бы-



чье сердце стрелять, да куда там! Разве ж он умеет в быка. В общем, еле-еле они со зверем сладили. Всю обойму милиционер расстрелял, а потом еще кувалдой по голове добивал. Конечно, все грядки и парники бык хозяину разворотил. Теплица была стеклянная, дорогущая — так, считай, ни одного целого стекла не осталось. Дураки. Ну, а хозяину и поделом: ноги бычьей пожалел, так ему больше убытков бык наделал. Да еще спасибо пускай скажет, что жив-здоров остался. Всяко могло повернуться. Убить бы мог его бык на хрен.

Отрезали пашину с членом и здоровенными яйцами.

— Во, бабе своей такой х...ило принеси! Да с яйцами! — насмешливо сказал Иван.

— Ничего ей, я сам съем. Яйца вон какие полезные!

— Какие?

— Не знаешь? Такой хозяин! Чтобы х... стоял до ста лет, вот какие полезные.

— Ну, не знаю...

— Не знаешь. А у нас был один мужичок...

И Малахайка рассказал ужасную историю, как был у них один мужичок, и пошел в лес. Встретил там старушку, и что-то она у него попросила, а он ее послал куда подальше. На три буквы. Старушка же оказалась волшебная и за это ему яйца наколдовала.

— Как яйца наколдовала?

— А как? Пришел домой, а у него яйца уже как яблоки, и дальше набухают, уже стали с арбузы. Тогда послали за колдуном. Колдун пришел, все ему рассказали, он и спрашивает: «А не встречался ли ты, такой-сякой, в лесу со старушкой какой-никакой?» Пришлось мужику правду рассказывать. Колдун его побил по щекам и говорит: «Еще хорошо, что ты ее по матушке не послал! У нее матушка знаешь кто? Не знаешь? То-то! А ты куда ее послал, то и получил». И велел принести чьи-нибудь яйца. Побежали по всей деревне — не резал ли кто скотин, узнавать. Нашли, слава богу, один двор, где барана зарезали. Колдун взял яйца бараньи, обратно их наколдовал и велел съесть. Тогда все сразу и прошло.

— Ладно, сказочник, пошли до хаты.

А в избушке было совсем хорошо. Сразу в лицо ударила упругая волна тепла, и по телу медленно стали одна за другой прокатываться волны блаженных мурашек. К печке было страшно подойти. Олег прежде никогда не видел так жарко растопленной печи. Она была невелика, и Олег думал: как же такой маленькой печкой можно отопиться в крещенские, к примеру, морозы? Теперь он увидел.

Небольшая чугунная плита была раскалена до светло-алого цвета, точно бы она была тоненькой фольгой. По ней пробегали какие-то тени, словно бы сквозь нее были видны языки пламени. Олег протянул ладони, чтобы погреть руки над плитой. Замерзшие руки еще не почувствовали тепла, но лицо сразу обожгло нестерпимым жаром, а когда он отскочил, то стало горячо рукам.

Иван кочергой распахнул дверцу топки, тоже раскаленную до вишневого цвета, и, прикрывая лицо от жара, быстро швырнул в печь два толстых березовых полена и торопливо захлопнул дверцу.

— Ну, раскочегарил! — воскликнул Малахайка. — Спалишь домик!

— Ты поучи жену щи варить! — самодовольно ответил Иван.

Все трое поспешили раздеться. Иван и Малахайка сразу закурили, и через минуту маленькая комната наполнилась слоями дыма, на которые тут же легли лучи яркого солнца.

— Ну что?.. — помолчав, спросил Иван.

— Наливай, чего спрашиваешь!

Иван открыл тумбочку, достал бутылку водки и три маленьких граненых стаканчика. Олег с удовольствием отметил, что он ни секунды не колебался по поводу количества, достал именно три, как само собой разумеющееся. Разлил понемножку. Сели за маленький кухонный столик.

— Ну, с морозца! — сказал он.

Чокнулись и опрокинули стопки в рот. Олег, выливая в рот и глотая водку, успел заметить, что у него получилось это не менее залихватски, чем у Ивана, и даже куда более молодецки, чем у Малахайки, который закашлялся и долго морщился после стопки.

— Ах, хороша! — сказал он, однако, когда наконец откашлялся и перестал морщиться.

— А чего скосорылился?

— А больно хороша! Больно хороша! Ты давай сковородку мне давай.

Иван подал ему огромную, как таз, чугунную сковородку и вышел за дверь. Малахайка, кряхтя, поставил ее на плиту и тоже вышел.

Олег встал из-за столика — размять ноги и немного развеяться. Вошел через занавески в маленькую комнату. Она еще не натопилась, здесь было прохладнее и свежее — не так накурено. Олег мельком окинул взглядом комнатку — диван, заваленный постельным бельем вперемешку с верхней одеждой, круглый стол, заваленный всем, что только может (и даже не может) прийти в голову, рассохшийся буфет, колченогие старинные стулья. На стене висели ржавые часы с неподвижным маятником и какая-то картинка, настолько преужасная, что Олег подошел поближе и присмотрелся.

Это была не картинка — фанерка с грубо выжженным изображением, настолько грубо, что, лишь внимательно приглядевшись, Олег с трудом разобрал, что это была репродукция известной картины «Охотники на привале». Черные, разной ширины и глубины борозды от выжигательного аппарата складывались в картинку весьма бредовую. Казалось, что один из охотников, с огромным уродливым лбом, по пояс увязший в болоте, тянет когтистые лапы к другому, который в ужасе наставил на него пистолет. Тело же третьего, длинное и белое, простиралось по земле под совершенно неестественным углом к лежащей на плахе голове, черной и словно бы расщепленной надвое. Между охотниками лежало ружье, в левом углу маячило нечто похожее на переломленного пополам козла.

А Дарьку он увидел чуть позднее, а мог и не увидеть, если бы та не пошевелилась. Но она всхрапнула и перевернулась на другой бок. Она спала на печи. Оказывается, печь, или, кажется, не печь, а это называется полати, со стороны комнаты оснащена типа лесенкой, туда забираются, и можно спать. Она всхрапнула, и Олег сразу увидел. Спящая красавица, хотя какая красавица, рукой вытерла рот, потому что у нее вытекла слюнка, и повернулась к нему спиной. И высунула ноги из-под одеяла, потому что становилось жарко, к сожалению, только до колен. Ноги у девочки были грязные, и Олегу это понравилось, потому что такова уж была его планида.

Тут дверь скрипнула — это вернулся Иван с охапкой дров и со страшным грохотом бросил их у печи. Олег быстро отвернулся от девки обратно к ужасной картинке.

— Изучаешь? — сказал Иван Олегу. — Давай-давай, генералом будешь!

Тем временем сковородка на плите стала тихонько потрескивать. Иван распахнул дверь и зычно крикнул:

— Эй, повар хренов! Сковородка уже красная, ты где заснул?

— Чичаза, штана надевала! — ответили со двора.

Малахайка вернулся с грудой мяса в окровавленных руках.

— Сейчас под свежие потрошка выпьем! — сказал он и бросил мясо на сковородку. Оно сразу оглушительно зашипело, и Малахайка, торопливо схватив ложку, стал мешать в сковороде.

— Ай, сука, горячо! Как натопил!

Он завертел головой, увидел брошенные на полу брезентовые рукавицы и, надев правую, снова стал мешать мясо. По комнате поплыл запах, от которого у Олега немедленно и обильно потекли слюнки.

Иван снова налил стопки, на сей раз до краев, и спросил:

— Ну че, скоро? Я уже налил.

— А готово!

И Малахайка, обернув рукоятку сковороды грязным полотенцем, поставил сковороду на стол, и его лакированная поверхность сразу затрещала.

— Ну куда ставишь, подними! — воскликнул Иван и, когда Малахайка приподнял, подложил под нее валявшийся под столом противень.

— Ого, с горкой налил! — одобрил Малахайка.

— Ну а как?! Под такую-то закуску!

Малахайка, возбужденно потирая ладони, сел за стол.

Чокнулись и до дна выпили. Взяли вилки и стали есть. Обжигающее мясо было сильно зажаренным снаружи и несколько недожаренным внутри. Иван тоже заметил это, но сказал:

— Ничего! Горячее сырое не бывает.

Так или иначе, но мясо было необыкновенно вкусным.

— Ты легкое, легкое возьми! — посоветовал Олегу Малахайка.

Олег взял кусочек легкого. Оно было действительно легким и восхитительным: хрустящее сверху и воздушно-нежное внутри, хотя жевалось долго.

— А теперь — печенки кусочек и сверху сальца!

Олег попробовал — и это было еще вкуснее.

Через пять минут сковородка была уже совершенно пуста, а аппетит только-только пришел. Поев, Олег почувствовал, как особенно горячо зажгла внутри водка. И, видимо, не он один, потому что Иван сказал:

— О, как захорошело!

— Закуска градус повышает, — поучительно ответил на это Малахайка.

— Малахайка, не умничай! И без тебя хорошо.

Выпили еще, стали рассказывать, кто больше всех выпил. А еще Иван рассказал, как однажды на спор съел живого мыша. Они поспорили на бутылку, и дядя Ваня взял мыша, откусил ему голову, и проглотил, и запил полным стаканом водки. Для дезинфекции, как он говорил, потому что мыши все-таки очень грязные животные, могут переносить болезни до чумы включительно, но если со стаканом водки, то тогда еще ничего, еще можно. Потом пошли разговоры опять про выпивку и про медицину.

Но все эти разговоры юноша слышал как сквозь вату. Он привалился на диван и незаметно приподуснул. И увидел сон. А проснулся он — и странно было вспомнить ему о его сне, потому что проснулся он с эрегированным пенисом, притом снилось какое-то несусветное. Что-то настолько гнусное и похабное, что он охотно забыл.

Похабство сие не случайно. Что-то с ним творилось уже давно, с самого детства, некий странный рок, и причину понять трудно, да и зачем ее понимать, когда налицо следствие. Ну как зачем, так просто из любопытства, а если кто-нибудь скажет, что это большое свинство, то мы на это дадим целых три ответа. Первый — зато не порок. Второй — а можно это назвать пытливостью ума. Третий — что от свинства мы ни в коем случае не отказываемся, наоборот.

Ведь в трамвае Олег неспроста дал по башке Стиве, не до такой степени он простак, чтобы дать спроста. Просто не выдержало ретивое. Пулемета! Как же так?! Мало ему других телок? Ему и любая даст, на кой ляд ему Пулемет? Другое бы дело — Олегу.

Олегу, как и любому юноше, очень хотелось поиметь женщину. Но не любую, а чтобы непременно грязную. Ибо а как же иначе? Он, в отличие от своих оранжерейных приятелей, довольно повидал в жизни этих грязных девчонок, девок, девушек, баб, женщин! И всегда они были недоступны.

Началось все в незапамятные еще времена. Сложились народные сказки и прочий фольклор. Возникла русская литература. Потом все это было экранизировано. Потом родился Олег, а впоследствии все это прочел и просмотрел. И дополнил личными впечатлениями бытия.

Сказки учили, что прекраснейшая девушка государства, впоследствии супруга монарха, всегда выбирается самая грязная и оборванная. Когда эти сказки превратились в кино и мультипликацию, всякий имеющий уши (но главным образом глаза) убедился, что главная героиня-грязнуля очень красива в отличие от своих более благополучных сверстниц-уродин.

Трудно сказать, к какой эпохе относится возникновение этих сюжетов. До или после пришествия Христа. То есть являются ли они предпосылками или позднейшими иллюстрациями к известному тезису Спасителя о том, что последние станут первыми. Или, как впоследствии оригинально перевел эти слова на русский язык свердловский поэт А.Я. Коц: «Кто был ничем — тот станет всем».

Что же касается письменной русской литературы, то она, вне всяких сомнений, возникла уже после Пришествия и являлась позднейшей иллюстрацией. Но сколь яркой!

В свое время Олег, проявляя недюжинный интерес к глубинам и вершинам русского духа и выходя далеко за рамки убогой школьной программы, был очарован пленительнейшими женскими образами Достоевского. Сонечкой Мармеладовой, хромоножкой Лизаветой, Лизаветой Смердящей сугубо, а также той девочкой, забыл как зовут, которая хотела бы маленького мальчика распять, пальчики ему отрезать и любоваться на него, кушая ананасный компот.

И не только этими четырьмя. Он вообще много читал. Пожалуй, поболее Кирюши, только не такую фигню, как тот. Олег читал классиков и современников. Начал он, как и положено, с произведений школьной программы и уже там почерпнул для себя много прекрасных женских образов, а затем вышел за рамки программы и там почерпнул еще больше. Много интересного было у Толстого, Чехова, Серафимовича, Горького, Вересаева, Сологуба, Андреева, Сергеева-Ценского, а также и у другого Толстого. Советская литература также изобиловала пленительнейшими героинями Бабеля, Фадеева, Шолохова, Зощенко, Макаренко, Симонова и некоторых других авторов. Хороши были также кинофильмы, где, как и в книгах, можно было полюбоваться тем, чего так не хватало в жизни, — грязными, очаровательными женщинами. То есть женщин-то вокруг было предостаточно, но вот очаровательных... Их было маловато.

Помимо теории вопроса, Олег с детства знакомился и с его практикой. Когда живы были еще бабка с дедом, он ездил к ним летом в деревню. И там у него образовалась компания подружек. Он не особенно дорожил этой дружбой, но они почему-то очень к нему липли. И в ответ на долгие призывные девчачьи крики из-за забора он иногда снисходил, в смысле, выходил. Поболтать с ними на лавочке. Бабушка, посмеиваясь, характеризовала эту дружбу как «восемь девок — один я», хотя девок было меньше. Девчонки подобрались довольно неряшливые, с растрепанными косичками, грязными ногтями и коленками, в затрапезных платьицах. И хотя ему с ними было скучновато, но самолюбию льстило быть кумиром публики. Они взирали на него с восторгом и слушали во все уши с открытым ртом. Они приносили ему то сливы, то малину, то какое-то посыпанное сахаром домашнее пече-

нье. А вот в городе он никогда не пользовался таким повальным девичьим обожанием. И уже после этого он стал с симпатией взирать на девчонок-замарашек, оставаясь равнодушным к аккуратным, чистеньким девочкам.

Но если этих подружек он ставил не очень высоко, то это больше потому, что жила неподалеку еще одна девочка, Таня, уже совсем другого сорта. Хотя какая девочка, скорее взрослая девушка, и очень красивая. Она была старше Олега лет на пять, а то и больше, и у нее был даже настоящий ухажер, учившийся на механизатора, с которым они целовались и обнимались. Но и с Олегом она с удовольствием общалась. А точнее сказать, играла. Потому что с ухажером не поиграешь, он-то совсем взрослый человек, он уже зарабатывал деньги и дарил ей разные подарки. А Олег, кажется, был в Таню несколько влюблен, несмотря на чудовищную разницу в возрасте, благодаря которой ни Таня, ни ухажер не видели ничего предосудительного в том, что Олег каждый божий день огородами тащился к Тане и, бывало, проводил с ней целый день. Так вот, Таня была самая настоящая красавица и тоже грязнуля.

Бабушка над ней и посмеивалась, и давала добрые советы. Дело в том, что мать Тани давно умерла, а отец, хромой и вечно пьяный дядя Матвей, в вопросах гигиены ни шиша не смыслил. Бабушка же смыслила лучше всех во всем на свете: в космонавтике, в кибернетике даже, потому что выписывала журнал «Наука и жизнь», а уж про искусство, медицину и политику знала решительно все. Смешно и говорить о какой-то там гигиене или домоводстве. Она советовала Тане, когда заходишь в свинарник, надевать косынку, а то все волосы моментально пропахнут навозом. А если руки настолько грязны, что уже не отмываются даже с мылом, то оттереть их можно жидкой глиной. А в баню надо ходить каждую неделю, а уж раз в месяц — непременно. А цыпки на ногах смазывать постным маслом. Таня все это слушала, но мысли ее были заняты другим — домашним хозяйством и предстоящим замужеством, так что ничего из сказанного она не выполняла. Таня стала для Олега первым в его жизни секс-символом, хотя такого слова он и до сих пор, кажется, не знает.

Продолжение было в пионерском лагере. Год был аккурат олимпийский. И все зажигали под антисоветские опусы группы «Чингисхан», игравшей в редком музыкальном стиле «мюнхенское диско». И все дружно плясали и пели: «Москау, Москау, забросаем бомбами, будет вам Олимпиада, а-ха-ха-ха-ха!» Все плясали и пели — это в СССР, естественно, все. Потому что за рубежом эта бодяга, говорят, не особенно котировалась. Да и в СССР, разумеется, далеко не все так делали, а только малая часть населения, а именно — поганая молодежь. Но молодежь тогда на девяносто процентов была поганая, так что все-таки изрядное число народу.

В том числе и в пионерском лагере. Там же тоже проводились дискотеки для старших отрядов, и вот там-то на дискотеке под звуки запрещенного «Чингисхана» и понравилась ему девочка Марина. Такая была совершенно обалденная девочка Марина. Высокая, красивая, грудь у нее такая, уже совсем как у взрослой, покачивалась. И притом что она была его ровесница, и такая веселая простая девчонка, но загадочная и нежная вместе с тем. И там, на дискотеке, она под «Чингисхан» танцевала «цыганочку», а это многие уже знают, что значит. Что она падает на колени и гипнотически быстро вибрирует персями! И Марина это делала, а он... ну, сами должны понимать, что он чувствовал. Да и все, конечно, пялились тоже. Но это еще была фигня по сравнению с мировой революцией. Мировая же революция, о необходимости которой так долго говорили, свершилась завтра.

Завтра, так себе выспавшись после вчерашней дискотеки, все встали и стали готовиться к очередному мероприятию. В поддержку международной солидарности всего прогрессивного человечества. И пионеры это челове-

чество олицетворяли. В частности, и Марина. Она олицетворяла африканские народы.

Естественно, что дикие (ну ладно, развивающиеся) африканские народы нужно было олицетворять в особенной одежде. В идеале, наверное, — в набедренном поясе из шкуры пантеры или банановых листьев. Но где такое, во-первых, взять, а во-вторых, девочка-то, как выше говорилось, уже довольно подросла, и нельзя было с педагогической точки зрения, да она бы и сама не согласилась. Но как-то надо было решать вопрос, и вожатая, долго хмурясь и совещаясь со старшими девочками, решила, что одежды, конечно, чем меньше — тем лучше, но с ума только не сходя. И выбрали Марине самую короткую юбочку в лагере, надели рубаху и выше пупа завязали на узел. Так было нормально. Грудь прикрыта, а остальное чем голее, тем лучше. Очень пикантно получилось.

А потом ее стали мазать черной гуашью, потому что она же негритянка. Вожатая и девочки, которые мазали, к концу гримирования сами были немногим чище, чем Марина. Но все-таки чище. Ей вымазали лицо, шею, руки до локтя (рукава рубашечные до локтя закатанные), вымазали живот — один пуп белеется. Ноги вымазали от самых трусов до кончиков пальцев. И как ловко получилось! Как у настоящей негритянки — вся кожа черная, а ладони и подошвы белые! Ну, конечно, не совсем белые, особенно подошвы, но все-таки гораздо светлее, чем вся остальная кожа.

И когда Марина в таком виде вышла из палаты, ее увидел наш герой. И вот тут-то и свершилась мировая революция, о необходимости которой так долго говорили. Увидев полуголую, вымазанную черным, блистающую белками глаз Марину, он охнул и схватился, скажем так, за сердце —хорошо, хоть никого рядом не было.

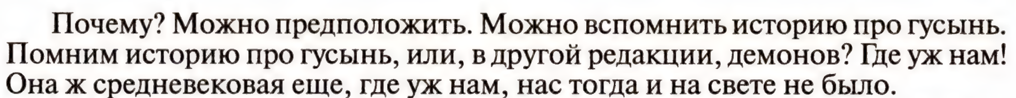
А плюс был выходной, и к ней приехали родители. Она, недолго думая, прямо в гриме побежала к воротам. Он не мог оторвать от нее взгляда и побежал за ней, не думая о том, что ей скажет, коли она обернется. И то, что было восхитительно само по себе, здесь, в ландшафте, было просто необъяснимо притягательно — это властно заставляло его бежать. Сказать, что бежать не думая, — это значит ничего не сказать. Более того, он думал, он удивленно думал — чего это я бегу? Куда бегу? Что скажу? Голова думала, а ноги бежали.

Маринина мама, увидев дочь, сначала чуть не упала в обморок, но Марина объяснила, и они посмеялись.

Олег зашел за щит с планом лагеря, из-под которого виднелись только Маринины ноги, сунул руку в карман и переложил колом торчащий член направо. От прикосновения член вздыбился еще сильнее, стал как железный. Он сжал его, и тут что-то произошло. «Эякуляция» это называется, слово-то он знал, а вот случилось это у него впервые. Мокрые трусы. Ватная слабость в ногах. Шорты тоже промокали, на них быстро проявлялось темное пятно.

Он подумал тогда, что, наверное, любит негритянок. И мулаток. Но не тут-то было. Негритянки и мулатки, а также метиски, квартеронки и папуаски, к которым он с того дня стал пристально присматриваться в кино, по телевизору и на фотографиях цветных журналов, были безусловно привлекательны. Но ничего даже отдаленно напоминающего то, что он испытал, видя полуголую измазанную Марину, не было.

А было нечто подобное в другой раз. В колхозе. В трудовом лагере. Убирали капусту. Девочки и мальчики. Был очень жаркий день. Вдруг ливень. Застиг в чистом поле. Бежать некуда. Грянуло, хлынуло как из ведра. До нитки. Девочки многие разулись. В грязи выше щиколотки, а ведь кто работал на корточках, а кто на коленях. Кто на коленях, те по колено. Хохотали, визжали. Олег тоже кончил сразу. И понял. Не негритянки, а грязь.



Почему? Можно предположить. Можно вспомнить историю про гусынь. Помним историю про гусынь, или, в другой редакции, демонов? Где уж нам! Она ж средневековая еще, где уж нам, нас тогда и на свете не было.

В общем, один монах, духовный наставник. И ученик. Молодой. Этот вообще женщин отроду не видал. Отшельники потому что оба. Вот идут за каким-то рожном в город, и вдруг навстречу им женщины какие-то шкандыбают, шлюхи, вероятнее всего.

Молодой. Ой, это кто?

Монах (про себя). Блин! (Вслух). Это, Петенька, демоны.

Ладно. На другое утро:

— Айдате, папенька, до города сходымо!

— На шо?!

— Та демонов тех побачымо...

(Перевод с латинского автора.)

Мама его, разумеется, тоже духовно наставляла и благовоспитывала. Тоже и половое воспитание. Она ему настойчиво внушала, что, конечно, любовь — это круто, но когда она гармоничная, в смысле одухотворенная, а то вот еще есть чисто животный, то есть, наоборот, грязно-животный, секс, так вот это — грязь. Она очень откровенно беседовала с ребенком о грязных помыслах и поступках. О грязных девках с нечистыми представлениями об отношениях полов. Но ничего такого, не подумайте плохого, не только о девках, о парнях тоже. О грязных. Она приводила примеры. Внушала, внушала — и успешно внушила. Он поверил.

Он тоже, случалось, видывал грязных девок. Но нечистые помыслы в нем к тому времени уже были очень сильны. И когда он видывал грязных девок, он понимал, что это и есть те самые люди, с которыми его нечистые помыслы могут стать явью. В то самое время как никакая чистая девственница весны никогда не доставит ему такого счастья. И постепенно так называемые чистые девушки совершенно перестали его интересовать вследствие своей полной, как он понял маму, сексуальной никчемности.

Нет, как «совершенно»? Не совершенно. Они продолжали его интересовать, и привлекать, и манить, и все, что обыкновенно бывает в таких случаях. Кроме одного — того, что, вследствие нечистоты его собственных помыслов, интересовало его больше всего на свете. Он мог восхищаться той или иной чистой девственницей весны и нередко влюблялся. Он робел и благоговел. Он ухаживал и носил портфель.

И вот однажды он нес портфель девочке, с восхищением слушал ее щебетание и увидел двух подружек. Старше его на несколько лет, они заслуженно пользовались в окрестных дворах самой дурной репутацией. В тот момент, когда он их увидел, одна из них, сильно пьяная, пыталась поднять из лужи другую, еще более пьяную. Та, что еле стояла на ногах, показалась ему грязноватою, но уж лежащая в луже была грязна по-черному. Обе грязно ругались, и он подумал, что у обеих подруг вполне могут быть нечистые помыслы (а уж у валяющейся в грязи — натурально). Такие нечистые помыслы, какие есть и у него и которых нет и принципиально не может быть у его спутницы. И он спешно распрощался с ней, соврав, что забыл в школе что-то там, и побежал в школу. Добежав до первого попавшегося гаража, он осторожно высунулся из-за угла и следил за одиноко удаляющейся бывшей своей спутницей. Когда она окончательно скрылась из вида, он обратил взоры на глупую пару.

Более трезвая подруга в этот момент грязно выругалась и пошла прочь, оставив попытки поднять непутевую товарку. Та тоже грязно выругалась и снова плюхнулась в грязь. Немного, не более получаса, полежала и после этого стала подниматься уже в одиночку. Юноша с трусливо колотящимся сердцем подошел ближе. Она села, оперлась о землю грязными руками. За-

тем, с трудом удерживая равновесие, она поднялась на ноги и неуверенно пошла.

Он долго следовал за ней, обливаясь потом от возбуждения и страха быть замеченным. Она шла медленно, пошатываясь, иногда останавливалась, обращаясь с вопросами к прохожим разного пола и возраста. Большинство шарахалось от нее, лишь двое молодых людей вступили в разговор, насмешливо скалясь. Она уже дважды оглядывалась, но Олег надеялся, что спьяну она не обратит на него внимания. Однако оглянись она еще несколько раз — и кто поручится, что и она не заподозрит, что юноша следует именно за ней. Тогда ужас! Как она поведет себя?

Тоже следовало опасаться и прохожих. Вдруг кто-то из них догадается, тем более они трезвые. Странно, что идет и идет мальчик за этой пьяной мразью и руку держит в кармане штанов. А там все у него выпрямилось, и сквозь штаны было бы видно, если бы не рука в кармане.

Так что в любом случае затягивать преследование было небезопасно. И наш герой, поминутно кося во все стороны, что ему было очень досадно, так как жаль было хоть на мгновение отрывать взгляд от чудесного видения, начал действовать. Рукой. Прямо на ходу, через ткань кармана и трусов. Он ритмично сжимал самый кончик. Продолжалось это, по счастию, очень недолго. Всего четыре или пять крепких рукопожатий, и блаженная истома расплылась по сердцу подобно пятну, которое стало быстро проступать на брюках, по счастию же, школьных, темно-синих, и со стороны совсем не было видно.

Тогда он печально вздохнул, потому что объект наблюдения уже не интересовал его. А наоборот, стало даже противно смотреть на эту особу. Но все равно хотелось еще и еще. И он впервые понял, что противно и обольстительно — часто одно и то же.

Так что творилось это с ним уже давно, а с того раза, как он впервые познал женщину, все только еще усугубилось. Хотя ее и женщиной-то назвать недостойно — девчонка, совершенная девчонка! Сколько ей было лет тогда? Да максимум — пятнадцать. Но предупреждаем — это самый предельный максимум. Скорее четырнадцать. А может, и меньше. Вот во сколько лет у девочек появляется шерстка на лобке и под мышками? Наверное, у всех ведь немножко по-разному? У нее-то все это было, но в остальном это был совершенный ребенок. Хотя она с удовольствием выпивала, а также покуривала, хотя и без особенного удовольствия. Ну, еще она красилась, но ведь все это еще не говорит о настоящей взрослости, что крепко-накрепко усвоил себе Олег из педагогической литературы и радиопередачи «Взрослым о детях». Потому что в детстве он читал в основном популярную педагогическую литературу.

И то, что Снежанка была тогда еще совершенным ребенком, доказывается тем, что сейчас она основательно изменилась. То есть и сейчас она выпивает и курит и последнее делает уже с явным удовольствием. Сейчас она тоже красится, но уже гораздо тщательнее. Кроме того, сейчас она красится, похоже, каждый день, а тогда-то она делала это раз в неделю, и не весьма аккуратно, и потом всю неделю так и ходила, а то и две. Сейчас у нее постоянно чистые руки и ноги, и даже грязи под ногтями не стало. Сейчас от нее пахнет духами (и, если жарко, немножко потом), а тогда пахло каким-то воробушком или, кажется, собачкой. Сейчас она учится на парикмахершу, а тогда училась в школе, и очень плохо. Но не надо думать, что Снежанка была чем-то вроде Пулемета, ничего подобного, она была очень честная в этом смысле. Ну да, она однажды дала Олегу, но только потому, что Олег ведь очень красивый и давно, еще с детства, она была в него влюблена. А потом у нее завелся парень, с которым они гуляют, и теперь вроде бы решили даже пожениться.

Так что эпизод с Олегом был совершенно эпизодическим, хотя, вероятно, и не единственным, потому что девственной, как понял Олег, она не была. Хотя мало ли Олег понял, он ведь не эксперт, тем более у нее недавно закончились месячные, и следы крови на соответствующем ей органе Олега имелись. Единственное, почему он решил, что она не девственна, — не было звонкого щелчка, о котором ему рассказывали приятели. Эксперт! Так что девственность Снежанки на тот момент остается под вопросом.

Снежанка была единственной дочерью дворничихи бабы Любы, хотя почему бабы, не такая уж она старая, а остальные сплошь мальчики, причем старший уже пребывал в детской колонии, а младший еще ходил на горшок. Этот-то горшок, полный дневным содержимым, они с Олегом тогда чуть не опрокинули ногами, когда завалились со Снежанкой на половик. Вот было бы смеху, и ей пришлось бы убирать, а в горшке было много. Простая, как три рубля правды, убежденная двоечница и большая неряха, она тоже нравилась Олегу.

Он зашел к ней вечером под каким-то предлогом, и внутри у него все дрожало от возбуждения известного рода. Днем Снежанка очень активно, что называется, раздавала ему самые щедрые авансы. Он и раньше подозревал, что девчонка влюблена в него. А тут они вместе оказались на картошке, у них были недалеко от сада соседние участки. Ну, они картошку выкопали, причем Олег был со всем семейством, а баба Люба со вторым по счету сыном и Снежанкой, так как отца у них не было. То есть, по здравому рассуждению, должен был быть отец, но где он и как его звали, про то Олег никогда не слыхивал, так что копали они все вместе, а вот мешки с картошкой баба Люба таскала сама, пока папешник по доброму совету мамашки ей не помог. А детям тем временем, как это обычно и бывает, вздумалось в лес погуляти.

Ну они еще пока копали, Снежанка уже раздавала Олегу авансы. День был жарким, и она в купальнике на четвереньках ползала по грядкам, собирая картошку, и все ему улыбалась. Он в шутку кидался в нее засохшими и не очень кусками навоза (папешник ведь очень продвинутый и землю непременно удобряет), а она притворно сердилась, страшно орала, выпучивая серые глаза, но при этом сразу начинала улыбаться еще шире и скоро, не выдержав, расхохатывалась.

Выкопали, и, пока старшие возились с мешками, младшие пошли в лесок. Там Олег со Снежанкой быстро спрятались от ее недалекого братца, который, впрочем, нисколько не расстроился, с удовольствием занявшись разорением птичьих гнезд и муравейников. Они же обнялись и стали целоваться, вначале целомудренно, а потом не особенно. От этого и от того, что на Снежанке был только купальник, у Олега все сильно выпрямилось. А ведь под грудные чашечки купальника так легко засунуть руки, если его носительница не возражает, а она не возражала, так Олег и не преминул, и прежде незнакомое осязательное чувство ему очень понравилось. У Снежанки были, канальство, ма-аленькие грудки, как и ручки, ножки, и носик маленькой облупленной картошечкой. И он засунул руку под более нижнюю часть купальника, взялся за шерстку, но тут она несколько застеснялась и убрала его руку. Но они продолжили целоваться и повалились в траву. В траве было не слишком комфортно, особенно ей, в купальнике: крапива и сосновые шишки под спиной. На комаров они не обращали внимания, но когда Снежанку стали кусать в попу и везде муравьи, она напряглась. Но все-таки они еще немного так полежали, целуясь и энергично гладясь под верхней частью купальника. А потом зашуршал кустами непутевый братец, и родители стали звать детей домой. Ну они и пошли. Но Снежанка пригласила Олега зайти сегодня вечером к ней домой.

Он едва дождался вечера и зашел. Дома была еще подружка, немного постарше. Девушки пили кружками бражку. Подружка с забинтованной рукой

и толстым слоем макияжа диковатой расцветки безостановочно дымила как паровоз. Снежанка тоже курила, но гораздо реже, чтобы только не выглядеть лохушкой в глазах подруги. Олег тоже выпил сладкого и не слишком крепкого пойла, сильно отдающего дрожжами. Он попытался поддержать беседу, но девчонки говорили такую ерунду, что поддержать не получилось. Подружка тоже смотрела на Олега очень доброжелательно, и притом была с шармом. Снежанка сказала ей: «Ну ладно, Ирка, иди домой, у меня дела». Ирка жеманно сказала: «Ну я воображаю, какие у нас тут дела...» Снежанка сказала: «Иди, иди!»

Подружка ушла. Снежанка с улыбкой спросила: «Ну че?» Олег усадил ее на колени, стал целовать сначала серую шейку, потом ротик и опять гладить грудки. Теперь для этого не понадобилось лезть под лифчик, потому что Снежанка была в засаленном домашнем халатике, на котором с грехом пополам болталась одна пуговица, отчего его не приходилось даже расстегивать. Так как Снежанка, как уже отмечалось выше, была совершенная неряха и ей сроду бы не пришло в голову помыть руки и ноги после уборки картофеля, то и те и другие с одинаково грязными ногтями по-прежнему были запорошены черноземной пылью. Олег рассматривал их с большим удовольствием и продолжал ее гладить.

Скоро он легко повалил ее на пестрый от мусора половик, распахнул халатик и стал стягивать трусишки, что она быстро сделала сама, видимо, из скромности, потому что трусишки были заношены уже до самой последней степени, с разных сторон разноцветны и жестки на ощупь. Маленькая девичья п...енка praванивала, почти как большая. («Почти» в том смысле, что даже еще сильнее.) Тут он, конечно, не растерялся и присунул, хотя в нужном направлении далеко не с первого раза. И кончилось все до обидного быстро, но все равно неописуемо прекрасно.

Олег сотни или тысячи раз представлял себе, как это будет с женщиной. Воображал до малейших подробностей, которыми его щедро оделяло множество слышанных на эту тему рассказов старших товарищей, а также немногие книги. Казалось бы, ничего не должно было его удивить. Однако удивило.

Во-первых, грудь. Грудь у Снежанки была маленькой, но когда она легла на спину, Олегу показалось, что груди нет вообще. Но она же, черт побери, была! И когда он сжал груди обеими ладонями, он убедился, что они на месте. Так Олег узнал, что, когда женщина лежит, ее грудь сильно уменьшается.

Во-вторых и в-главных, запах. Он представлял себе все, кроме запаха. А тот был густ и, хотя сам по себе противен, сейчас, совершенно неожиданно для Олега, оказался самым обольстительным фактором во всей ситуации. Так Олег узнал, что, когда женщина подванивает, ее привлекательность сильно увеличивается.

Конечно, если глубоко задуматься, то удивляться не приходилось. Запах можно и должно было предположить, и даже немного странно, что он этого не сделал заранее.

Так, впрочем, часто бывает. Люди хотят добиться той или иной цели, совершенно не учитывая последствий. Иной всю жизнь... (Вот тут бы хорошо офигительные нелепые примерчики, как бы сделал Гоголь, но автор же не Гоголь.)

Хотя тут и Гоголем быть необязательно. Так, например, одна молодая женщина всю жизнь боялась умереть от целлюлита, а умерла от автомобильной катастрофы в бетонный столб. Каковой бы катастрофы не произошло, будь у нее на самом деле целлюлит, потому что за рулем был пьяный гламурный подонок, тоже чрезвычайно боявшийся женского целлюлита.

Или один мужик всю жизнь боялся вообще всего на свете, а сам и вовсе не умер. Даже еще.

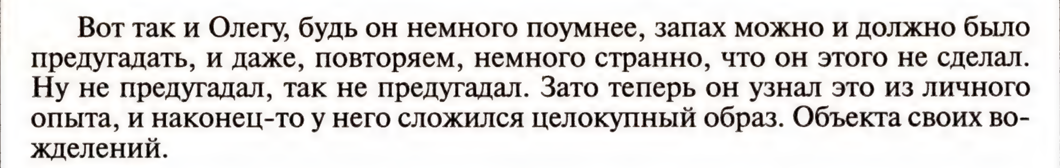
А одна баба за изрядные деньги сделала пластическую операцию и стала выглядеть (да и по сути своей быть) еще хуже, чем до нее.

А другой мужик, вот как Олег, всю жизнь мечтал поиметь очень грязную женщину, мечтал-мечтал да и отыскал на вокзале совсем молоденькую бомжиху, притом неимоверно грязную, прямо неописуемо, как та маленькая Кирюшина цыганочка, правда, некрасивую. Зато блондинку и очень хрупкую. Она там сладко спала под лавочкой на остановке, подложив под голову свою нехитрую обувку. Ну, он купил гондон, привел ее домой, на всякий случай застелил пол газетами, давай ее кормить, поить и ухаживать. Она поела очень охотно и жадно, но от выпивки отказалась, а от ухаживаний и того пуще. Шум, визг, схватила кухонный нож и его в горло, да насмерть. А убежать слабо — замок открыть не умеет. Соседи вызвали милиционеров, те дверь высадили, повязали блондинку. А она, оказывается, больная на всю-шеньку голову с безнадежным диагнозом, сроду девственница, ее вокзальная милиция давно как облупленную знает, так потом и отпустили обратно бомжевать. И это мужику еще повезло, что сразу умер, а то у нее еще много сопутствующих заразных болезней. И не надо думать, что только таких, как педикулез и чесотка. Еще имелся туберкулез в открытой форме, гепатит нескольких букв, вторичный сифилис (хотя и совершенно бытового происхождения, от обсасывания горлышек недопитых бутылок с газировкой из вокзальных урн и мусорных контейнеров). А на сладкое ВИЧ, потому что если она сберегла честь одного места, так это еще не значит, что ее в свое время не насиловали в какое-нибудь другое, мест-то разных много. Так что ее-то прогноз неблагоприятен, а вот он бы всю оставшуюся жизнь работал на лекарства, что тоже не сахар.

А четвертый всю жизнь очень дорожил своей свободой, а деньги у него были, потому что зарабатывал он много, и притом был очень экономен. И вот, когда он уже купил квартиру, дачу и машину, дошло до него, что придется до кучи обзаводиться и семьей. Но он людям говорил прямо вслух, что дешево свою свободу не продаст! И продал свою свободу правда очень дорого. Нашел себе хрупкую блондинку, но далеко не такую, как нашел третий, царствие ему небесное, а настоящую блондинку-фотомодель. У нее оказались соответствующие внешности запросы, да и характер не чета ему, так что теперь он зарабатывает еще больше и еще больше экономит, но уж никак не на жене.

А пятый, как известно, объелся толченого гороха и умер.

А шестого всегда считали гомосексуалистом, но все было даже хуже. Просто он был человек бедный, молодой и симпатичный, и когда один старый влиятельный гомосек оказал ему знаки внимания, он решил дорого продать свою попку. И продал. Патрон, будучи руководителем большого медиахолдинга, выдумал для него новую штатную должность, что-то типа «генеральный менеджер по внутреннему консалтингу», и прожили они припеваючи очень много лет. Но поскольку этот молодой человек был не гомосексуалистом, а хуже, то на работе его не особенно долюбливали, и когда у него завязался тайный романчик с девочкой, боссу дали знать. И он поймал своего сладкого мальчика чуть ли не на девочке в своей собственной готической кроватке. Босс очень обиделся. Кроватку после мерзкой девочки пришлось выбросить, квартиру продезинфицировать, а должность генерального менеджера по внутреннему консалтингу упразднить за ненадобностью. А бедный, хотя теперь уже не столь молодой, человек столкнулся с вопросом, как ему снискать хлеб насущный. Ведь образование у него было только школьное, работать он умел лишь по той упраздненной специальности, так что проблема.



Вот так и Олегу, будь он немного поумнее, запах можно и должно было предугадать, и даже, повторяем, немного странно, что он этого не сделал. Ну не предугадал, так не предугадал. Зато теперь он узнал это из личного опыта, и наконец-то у него сложился целокупный образ. Объекта своих вожделений.

Вот, говорят, на Севере едят так называемый омуль с душком, то есть тухлый, и считают великим лакомством. А в Китае едят гнилые яйца и гнезда из засохших ласточкиных слюней и считают великим лакомством. Зато китайцы не едят сливочного масла и сметаны, справедливо понимая их как испорченное молоко, а европейцы кушают, да так, что за ушами трещит. У большинства европейцев лягушек и змей едят только персонажи страшных сказок, однако во Франции считают великим лакомством лягушек, а в странах Юго-Восточной Азии — змей.

Но это все экзотика. Возьмем обычную жирную селедку. Так сказать, сельдь. Все любят ее есть. А нюхать? Нюхать, говорите? Это смотря как. Если перед едой — то да, слюнки текут. Если во время еды — еще как, во рту так и тает. А вот после еды, когда уже сыт, — не особенно. А руки если пахнут потом селедкой? Фу, гадость. Ну и прочая рыба. Вдобавок лук и чеснок. Запах последнего даже мертвым противен.

А квашеная капуста?

Вот Олегов папешник, будучи еще старшекурсником, с молодой женой и друзьями приезжает в деревню навестить мать, Олегову бабку. Но, конечно, молодежь, дураки. Магнитофон у них ламповый, музыка непотребная, одеты не пойми как. Самогон пьют и разными деревенскими харчами закусывают, пирогами там, блинами, рыжиками в сметане и квашеной капусткой. А только чувствуют, что подванивает. Никто поначалу виду не подает, а оно все гуще. И вот один папешников приятель, терпение которого лопнуло, обращается к своей жене и спьяну говорит: «Это ты, Нинка, набздела!» Та шокирована хамством и кричит, что нет. Тогда другой приятель спьяну возражает: «Нет, это Галька моя, она всегда как нафунькает, хоть из дому беги». Девушки возмущены, объединяются, и начинается потасовка. Тут из кухни прибегает бабка и, хохоча, объясняет, что нет, это она перемешала квашеную капусту в бочке.

А сыр?..

Но это все гастрономия. А вот профессоры Массачусетского университета поставили эксперимент. Расставили в лаборатории кресла, каждое из них слегка сбрызнули экстрактами различных летучих веществ, а затем запустили туда девку американскую подопытную из местных двоечниц. Выбирай, говорят, любое место, щас придет декан, будешь ему тест сдавать. Ну, девка помыкалась по лаборатории, села в кресло и сидит боится. Но тут входят все профессора и говорят: «Огромное спасибо за содействие развитию науки, не смеем более вас задерживать». Она отвечает: «А как же тест?!» Но ей вежливо так объясняют, что какой еще, на хрен, тест, иди воруй, а сами кинулись к избранному ей креслу. И оказывается, что из множества запахов растительного, животного и индустриального происхождения она избрала кресло с экстрактом, напоминающим запах грязного мужского белья. Профессора опубликовали это сенсационное открытие, правда, специально объяснили, что запах был очень слабым, ниже порога осознанного ощущения. Так что не следует мужчинам отказываться от личной гигиены, чтобы одним только своим запахом завоевать сердца всех дам.

Но, видимо, человек человеку рознь, и что у одного подпороговое и подсознательное, то у другого вполне сознательное и сверхпороговое. И не только у женщин.

Да и не в запахе одном дело. Вид-то какой красивый! Как обольстительны нежные (или, наоборот, шероховатые) женские ручки с обрамляющим миндалевидные ногти черным ободком! Или ножки! А ушки, ушки! И продолжать можно бесконечно.

Олег этим и занимался. Он воображал грязных женщин, девушек и даже несовершеннолетних особ всех времен и народов. Он создал обширную типологию грязных женщин, и топологию тоже. Первая предлагала неисчерпаемый живой материал для воображаемых наслаждений, вторая же позволяла рассмотреть каждый экземпляр в мельчайших подробностях. В его воображении пестрым фараоном проносились исхлестанные бичами египетские рабыни, в изнеможении катящие камни. Мысленно переносясь через многие тысячи лет и километров, он пялился на бедных горожанок, чавкающих по зловонной слякоти парижских улиц, подбирая заскорузлые подолы. Впрочем, и самые знатные дамы были немногим лучше, разве что все в золоте. Парижанок сменяли толкающие вагонетки английские шахтерки в пропитанных угольной пылью лохмотьях. Румяные русские девки в домотканых сарафанах, ищущие друг у друга в голове. Голодающие жены и дочери американских фермеров в платьях из проштампованных мешков. Советские труженицы тыла, невеселой стайкой тянущие на себе плуг. Таня. Снежанка. Дарька.

И постепенно у него сложилась целостная и весьма убедительная теория о том, что такое хорошо, а что такое так себе. Что грязные женщины это естественно, а чистые — противо-. И доказательств, по словам Жеглова, хватит на десятерых.

Грязь вообще есть атрибут жизни, а жизнь — атрибут грязи. И все старые девы маниакально чистоплотны, и потому стали таковыми. Издавна славились своей сексуальностью француженки. А никак, скажем, не немки. Те славились, напротив, чистоплотностью. Так вот говорят, что француженки и нынче моются не слишком часто. И потому во Франции до сих пор роковые страсти, а в Кельне четверть мужского населения — гомосексуалисты. Это же объясняет динамику так называемой сексуальной революции. Наиболее революционными в этом отношении стали скандинавские страны. Все дело в слабости полового чувства чистоплотных скандинавов. Там мужчинам по большому счету плевать на женщин, потому и возникают всякие там шведские семьи. В Испании, наоборот, опять же, никаких шведских семей, а огненная любовь и дикая ревность. Потому что испанки, говорят, еще большие засранки, чем француженки.

И в старину во всех семьях было много детей, а теперь стало мало. Потому что в старину женщины мылись редко, а теперь стали часто. И потому в старину мужчины их хотели очень сильно, а теперь так себе. Поэтому в старину почти не бывало гомосексуалистов, а теперь их, говорят, предостаточно. И сейчас в слаборазвитых странах рожают много, а в развитых мало. По той же самой причине. И что касается гомосексуализма, то лидируют опять-таки развитые.

И тот факт, что в Советском Союзе самые крепкие и многодетные семьи у цыган. Насколько грязны все цыганки, может удостовериться любой желающий, только взглянув на них, а также по запаху, если очутиться в одном трамвае со стайкой цыганок. То же самое, читал Олег, было у евреев, пока они жили в отдельных кварталах и местечках. Грязные женщины и, как следствие, крепкие большие семьи. И неспроста Гитлер истреблял и тех и других. Вероятно, сверхчеловеческая интуиция подсказывала ему, что в честном естественном отборе низшие грязные расы всегда превзойдут чистую высшую. И поэтому он устраивал искусственный отбор.

И главное доказательство был между ног. Олег прекрасно знал, на кого он реагирует бешено, а на кого так себе.

Вот таких глубоких обобщений достиг Олег Кашин уже в свои молодые годы. Человечеству еще потребуется определенный исторический срок, чтобы по достоинству оценить его революционный вклад в науку.

Ну вот, а вчера перебрал. А пока шел, можно даже сказать, шатался, постепенно стал думать. А может, на фиг всю эту канитель, шуточки эти идиотские?

Ну да, конечно, это было прикольно. Просыпаются такие красавчики незнамо где и в каком состоянии да связанные. Прикольно? Еще бы не прикольно! Башочки гудят, а в глазах ужас: где мы, что с нами?! А то и заорут, а то и заверещат. А на здоровьице, никто не услышит. Разве только девку разбудите, и она тоже заверещит. Вот прикольно-то! Но ее вам не видно, она на кухне связана. И вот интересно будет поглядеть, что они станут делать, когда развяжутся и увидят на кухне голую связанную девку. И вот бьется он об заклад, что не бывать тому, чтобы не изнасиловали!

А может, и может? Это-то и было Олегу всего интереснее: что же все-таки будет? Как же поведут себя в такой экстремальной ситуации его товарищи?

Кирюша, наверное, сразу упадет в обморок и расквасит себе всю рожу. Но пролежит он без сознания недолго, потому что в своем, хотя и бессознательном, состоянии быстро сообразит, что особенно разлеживаться некогда. И быстренько вскочит он на ноги и, прямо с расквашенной своей рожей, кинется на девку.

Которую, вероятно, к тому времени уже Стива будет иметь по полной программе. Стива — он такой. Уж он своего не упустит. Девка, конечно, не сказать чтобы очень элегантная и ухоженная, но Стива — он такой, он без комплексов. Накормил же он Пулемета. И эту оприходует по полной программе.

Ну и Кирюша тоже. Он хотя и с комплексами, но это как раз такие комплексы, чтобы подобной возможности не упустить. Разве что на радостях он не донесет до тела. Но даже если первый раз Кирюша кончит при одном виде голой девки, то второй раз — при ее осязании, а раз на третий-четвертый, глядишь, и присунуть у него получится. А уж раз в пятый-шестой наверняка.

А Олегу то и любо. Посмотреть на все. А если все пойдет по плану и они действительно ее изнасилуют, то Олегу оно еще более любо. И то ему любо, что совершат его друзья, благополучные мальчики-мажоры, этакое преступление. Этакое зловещее! То-то он посмеется. И также интересно, как они себя почувствуют, когда охолонут. Потому что изнасилование — это вам не фунт изюма. Это такая вещь, ответственность за которую наступает с четырнадцати лет, а не то что с шестнадцати. И вот интересно, как они себя почувствуют, при условии, что он будет единственным свидетелем. Потерпевшая-то — дура, она бы, небось, и объяснить, что произошло, в случае чего, не смогла. А Олег бы, в случае чего, мог. И вот мы посмотрим. Изменится ли отношение проштрафившихся товарищей к Олегу в условиях такой ситуации. В сторону гораздо большего уважения. Надо полагать, что изменится.

И, например, Стива уговорит Инку выйти замуж за Олега. Ну, то есть папа его. Узнает папа, что Стива — участник группового изнасилования несовершеннолетней, а Олег — единственный свидетель. И папа все сделает, что Олег пожелает! А Кирюшина мама даст Олегу денег, так чтобы хватило на свадьбу и первое время. А также купит кооперативную квартиру. Хотя нет, квартиру молодоженам устроит Стивин папа, и работу для начала хотя бы в райкоме комсомола. Так что с Кирюшиной мамы только деньги.

А вот не чушь ли все это собачья? Надо полагать, что чушь. Но помечтать-то хоть можно? И то любо, что и он потом тоже Дарьку-то поимеет. Ее же надо будет утешить, проводить до дома. И он ей все объяснит, что теперь-то

уже можно дать, тем более ему, спасителю. И не раз. И будет у него постоянная баба.

Да еще какая!

Какая?

А вот такая. Бессловесная. Безотказная. На которой жениться не надо. Ведь жениться-то нужно с умом, с разбором. Нужно! А чисто поебаться пока? Да и не только пока, а можно и потом. Можно всю жизнь. Потому что всю жизнь Дарька будет жить в этом саду, деваться ей некуда. И можно всю жизнь к ней приезжать. И даже когда женишься.

И даже непременно. Ибо кого Олег возьмет в жены? Разумеется, дочь высокопоставленного начальника. Конечно, и она может быть изрядной неряхой, но уж не до такой степени, о какой грезит Олег. К тому же едва ли будущая жена станет ревновать его к этакой-то дуре! Потому что это даже невообразимо. Для всех, кроме Олега.

Дарьку ведь красавицей совсем не назвать. Не говоря уж о том, что она очевидно придурошная. Одевается как чучело огородное. Не причесывается. Не умывается. Баба-яга какая-то просто. Но только совершенно молоденькая. А Олегу то и любо. Он бы и давно ею занялся, да есть у нее один недостаток.

Всем хороша Дарька, кроме одного. Ее места. Девственного. Это никак Олега не устраивало. А так-то она всем хороша. То есть, как писал Аркадий Гайдар, и все хорошо, да что-то нехорошо. Девица непорочная. Девица непорочная, чистая. То есть снаружи-то она грязная, черная, вонючая, а душа-то у нее чистая, белая! То есть не в смысле, что душа, чужая душа — потемки, а в смысле морали. Точнее, аморальности. Нет в ней ни малейшей аморальности, а это уже не прикольно. Половая распущенность в обязательном порядке входила в сексуальный комплекс грязной женщины.

Вот Пулемет. Ее смело можно назвать грязной шлюхой, и была она нередким объектом Олеговых эротических грез. Но сравнимте ее с Дарькой — и поймемте, что Пулемет по сравнению с Дарькой — так себе, как говорится, ваще ни о чем. Пулемет — дитя большого города, она и в школе худо-бедно училась, и с основами цивилизации знакома не понаслышке. Дарька же — это совсем другое дело. Это по-настоящему дикая девка. И не как Пулемет, которая как будто слегка придурковатая, а настоящая круглая ненормальная дура. Дикое дитя дикой природы. Дарька чудесным образом соединяла в себе черты почти всех достоевских пленительнейших образов. Она хромала. Она смердела. Она хотя и не отрезала мальчикам пальчиков, но однажды Олег сам видел, как она взяла маленького цыпленка, и — о, ужас! — откусила ему голову, и с наслаждением съела желтое трепыхавшееся тельце. Вот только на Соню Мармеладову она никак не тянула, ибо проституткой не была, а была, скорее всего, девственницей. Ибо потому что а как же иначе?

Но после того, как ее изнасилуют двое, девственницей она уже не будет, а при желании — а желание было — можно будет представить ее самой низкопробной блядью. И уж тогда существа более омерзительного, а значит, и более пленительного и вообразить невозможно. И конечно, прикольно было бы узреть падение этих снобов с их заоблачных вершин до грязной, неграмотной и слабоумной девки. Точнее, бляди.

Хотя насчет ее слабоумия вопрос остается чрезвычайно открытым, а насчет неграмотности Олег трагически просчитался.

Вот так и началось все однажды. То есть позавчера. А вчера Олег, с трудом переставляя непослушные ноги, думал, что неохота ему устраивать все эти фокусы, а просто хочет он Дарьку, и без всякого психоложества. Что глубоко наплевать ему на то, как горестно и низко падут его высокомерные товарищи, или же, наоборот, как не падут.

А проснулся поздно. Не сразу понял, где находится, потому что видел вокруг себя баню с пауками на стенах, так что первое, что пришло ему в голову, — он на том свете, в окончательной вечности. Но баня была настолько знакомой, что показалось ему, будто это их собственная баня в саду, как впоследствии оно и оказалось. Попытка встать удалась с трудом. Ольгович помотал головой — голова моталась с некоторым запозданием. Болел распухший нос. Ноги слушались, но гнулись медленнооо... Голова хотя и моталась, но не сооображала... Оооооооооооооооо...

У Ольговича никогда не бывало прежде похмелья. Вчера он выпил много. Может, это и есть похмелье? Но все говорят, что с похмелья бывает тряска рук, дурнота и тошнота, потливость и гадливость: ничего подобного не ощущалось. Он чувствовал себя не плохо, но как-то странно. Вероятно, он до сих пор еще пьян.

Открыл дверь, пошатываясь, пошел. Куда пошел, зачем пошел? Точно пьяный. Постепенно стало начинаться припоминание. Приехали со Стивой и Кирюшей. Осенним вечером, уже в темноте. А сейчас? Сейчас вообще незнамо что. Ольгович посмотрел на часы. Они, слава богу, тикали. Ольгович с трудом сфокусировал глаза на показаниях прибора и установил, что время уже позднее, а число восьмое. Значит, сегодняшний день — второй по приезде в сад. А казалось, что не второй. Вроде как и зима настала, пришла пора печи топить. И он вспомнил, что действительно топил вчера печь. Пьяный. А друзья были еще пьянее. И тут что-то крылось... Но что именно?

То есть как — что?! То самое! Дарька, вот что.

Ольгович заторопился в дом. Постепенно добрался. Угли в печи догорали, жара стояла страшная, как в Африке, бардак еще страшнее, товарищи отсутствовали. Очень хотелось полежать и подождать, и он даже, несмотря на чувство долга их разыскать, так бы и сделал, но лечь было буквально некуда, все было завалено каким-то фантастическим хламом, а наводить порядок не хотелось уж вовсе. Ольгович вышел из домика и поплелся искать дебоширов. И вот, когда поплелся, вспомнил, что к Дарьке-то он вчера поплелся с таким же трудом, а вот по поводу того, как доплелся, — полный провал в памяти.

А как входил в баню — вдруг вспомнил. А зачем же было ему входить в баню? В самом деле, зачем бы, кажется, входить в баню, если собрался к Дарьке? Если уж идти в баню, так логичнее после Дарьки, а не до. А? На! А то, что до Дарьки он не дошел, а сумел дотащиться лишь до бани, зашел туда отдохнуть и отрубился там, как распоследний барсук, и все на свете проспал.

Вот к таким печальным умозаключениям вынужден был приходить Олег. А раз уж он так лопухнулся, чего уж тем более можно ожидать от этих придурков? Вот и приходилось теперь шататься под тяжестью по сие время не покидающего его опьянения и козла.

Козла этого Олег узнал. Принадлежал он Ивану, но почему он, убитый, тащится ими, и что скажет Иван, а что папешник, и почему они до сих пор здесь, и где Дарька, и что творится лично с ним, а что вообще со всем окружающим миром — все эти вопросы оставались открытыми. Он пытался расспрашивать, но говорил так плохо, что Стива, сам пьяный не по годам, только и сказал: «Э-э, да ты, ваше величество, нарезался!»

Пришли совсем поздно. Затащили добычу в жилище, подбросили дров в очаг и сразу сели пьянствовать. Хотели нажарить козлятины и нажраться до отвала, но надо было сдирать шкуру. Оставили это кровавое дело на потом, тем более что искушенный в охоте Стива сказал, что совсем свежее мясо очень жесткое, туша должна некоторое время полежать.

Олег прислонился спиной к стене и сполз на пол. Ему поднесли еще выпить. Он проглотил жидкость и, шатаясь, вскарабкался на заваленную



хламом кровать, где, несмотря на грохот музыки и твердые предметы под боком, сейчас же уснул.

Очнулся Олег с ужасной головной болью, совершенно обессиленный. Он с трудом приподнял голову и снова уронил, успев заметить, что товарищи, по-богатырски скрюченные, раскинулись на полу в луже блевотины. Его тоже затошнило и вырвало тут же на кровать. В ушах звенело. Он сполз с кровати, но встать на ноги не смог. Дополз на четвереньках до печи, из полуоткрытой дверцы которой падали красноватые отсветы на пол. Он вздрогнул и посмотрел вверх. Вьюшка была закрыта. Олег понял, что рвало их не от перепоя. С удесятеренной силой ползком рванулся к двери и изо всех сил ударился лбом в доску. Дверь не подалась, а снаружи лязгнуло железо. Значит, запор захлопнулся снаружи.

Олег стал лихорадочно думать, что же будет дальше. И понял что. Ужасно не хотелось.

Елена Сунцова

Восемнадцатый этаж

***

Корабли качают шар
медленный земной,
сделай шаг, один лишь шаг,
чтобы быть со мной.
Крен направо или крен
с левой стороны,
все одно, раз ты влюблен,
или — влюблены.
Корабли качают шар,
надо успевать,
чай, не шах, не падишах,
не в Варшаве спать.
Почему поляки? Где
русская беда?
Русских не было и нет
боле никогда.
Так Ивáнов завещал,
воинская кровь.
Корабли качают шар.
Уходи. Не тронь.

***

1

вечер погиб, и погибнет день,
выживет только ночь —
яблоком белым в торшере свет
лампочки изнутри

яблоком белым, пчелой пустой
высохшей изнутри
выживет ночь и обнимет день

осень плывет в окне

Елена Сунцова — поэт, литературтрегер, издатель. Родилась в Нижнем Тагиле, жила в Петербурге и Екатеринбурге, ныне живет в Нью-Йорке на 18-м этаже. Окончила факультет «Литературное творчество» Екатеринбургского театрального института. Книги стихов: «Давай поженимся» (2006), «Голоса на воде» (2009), «Лето, полное дирижаблей» (2010), «После лета» (2011). Главный редактор издательства «Айлурос». Координатор Всероссийской поэтической премии «ЛитератуРРентген».

2

За ладони бугорками
скрип уснет и скрежет,
свет тяжелыми руками
бок подушке срежет.

Увядающим камео
время украшая,
осень выплывет в окне — о,
как форель большая.

И планетою-ковчегом
на небе хрустальном
будет подана под снегом,
молоком миндальным.

***

Жизнь распалась на тогда
и не началась,
жизнь распалась — и, пуста,
вдруг овеществясь,

светом падает в окно,
озером на дно,
увивается — темно —
ленточкой кино.

Серой ложечкой сучит
по тарелке сна,
серым елуром урчит
у веретена,

утолщает палисад
впору ноябрю.
Вот и первый снегопад.
Видишь? Не смотрю.

***

1

Было: зима, и зима была
в черных лучинах троп —
руку горячечную брала,
клала на белый лоб —

черным по белому дню, почти
черному оттого,
что в повторяющейся ночи
ты потушил его.

2

Нет длиннее этой ночи,
нет ладони ни твоей,
ни моей — куда как проще, —
ни черемухи над ней.

Ветка зимняя колышет,
как и летняя, бела,
тени, шорохи на крыше,
вот и эта ночь — была.

Лето цитат

1

Половинкою планеты
станешь той, я стану этой,
легкий мячик меж ракеток,
пролетит и лето.

Поменяемся местами,
странами, мостами,
континентами — не станем,
радугами встанем.

2

Неба стелющийся шелк
шел во тьму, во тьму вошел
и жемчужину нашел,
жемчуг пышен и тяжел.

Блекнут волосы в траве,
светлячок на рукаве,
мне киваешь из волны
половинкою луны.

3

Теплый ветер тихо веет
на целуемых листах,
где ладонь земли чернеет
в оживающих кустах.

Не пора ли догадаться:
здесь, над маленькой землей,
он не может ни остаться,
ни вернуться, утолен.



4

Кто с подветренной приходит,
долгожданный, стороны,
возражая непогоде,
он, как ты, в плену луны —

крутобокой, белоснежной,
так сияй, себе верна,
друг мой гордый, друг мой нежный,
забывай, что ты — луна.

***

Ах, осенний мой Нью-Йорк,
восемнадцатый этаж,
мне сегодня ветер врет,
что как будто бы он наш,

в Петербурге над Невой
пролетают облака,
молодою головой
ты качни издалека

и развейся, милый сон,
рокот моря еле слышный,
от него на волосок
жизнь моя текла и дышит —

так в морозной густоте
пионерского трамвая
шепчешь белой темноте,
засыпая, утопая.

Виктор Мельник

Потом расскажу

Рассказ

Давайте сразу, без реверансов.

Ваша теория смятения чувств мне близка и понятна. Не скажу, что я девственник в этих тонких материях, любопытно другое. На каких неземных лугах и воздушных полянах вы собираете своих возвышенных героев — для меня это загадка из области призраков. Будто листаю цветочный гербарий. Он — высокий, стройный, полон внутреннего достоинства, выражение лица беспредельно спокойное, взгляд проницательный, манеры безукоризненные, родословная благородных кровей, женщины от него в восторге, дети не слезают с колен, мужчины гордятся знакомством — откуда вы таких выкапываете? Или она — умна, немногословна, проста и ласкова в общении домашнем, торжественно-спокойна в высшем свете, прекрасна в левый профиль и дружелюбна в фас, задумчива в осенние минуты, оживлена в вечерних сумерках, краснеет от случайных эротических намеков, а ночью, в семейной спальне, напрасно прячет пламенное зарево стыдливых глаз. Ботанические фиалки, а не живые люди. А диалоги — будто запоздалые цветы роняют лепестки.

Посмотрите вокруг, все по-другому — проще, трезвее, грубее.

Понимаю вас. Меня самого тошнит от неземного совершенства.

Раньше я страдал от их превосходства над собой, но потом смирился. Боюсь разочаровать — это не мной придумано. Весь этот фиалковый цветочный бред достался мне по наследству. Другие получают в дар от предков огороды, дачи, квартиры, особняки, мне же выпало скромное завещание с единственной фразой: «расскажи за меня». Пусть это покажется вам нереальным и мало правдоподобным, но в выборе натуры моей заслуги нет, я всего лишь выполняю последнюю волю отца. Диалоги не виноваты.

Ритм голоса зависит от цвета запонок, от свежести рубашек, от твердости характера и от умения героя не отвлекаться на посторонние шумы — так меня учили. Он должен слышать звуки собственных мыслей, но замечать и тихий щебет сидящей рядом дамы. Все остальные зрительные детали он помнит глазом, наизусть. Я до сих пор слышу его голос.

В Дармштадте, — рассказывал он больше себе, нежели мне, пятилетнему, — помимо германской несносности и никчемности его географии меня раздражали слепящие вещи на улицах: лаковые капоты автомобилей, полированные хромированные детали, замки портфелей банковских клерков,

---

Виктор Мельник — художник-график. Родился в Запорожье. Окончил ВГИК, художественный факультет. Живет в Москве. Автор двух сборников прозы: «Моя жизнь среди женщин», «Любить нельзя казнить».

кончики начищенных туфель, блеск велосипедных спиц, надраенные до невозможного сияния дверные бронзовые ручки и острый мельхиор ножей и вилок уличных кафе.

Город я забыл, а эти детали не тускнеют.

Думаю, он был маньяком воспоминаний.

Жил в бесполезном облаке подробностей.

Все, что я рассказываю в своих так любезно отмеченных вами «смятениях чувств», поселилось во мне издавна, по случайному совпадению дурного наследства. Этот бывший военный летчик, спустя рукава преподававший историю балбесам в вечерней школе, сломал мне жизнь. Не пугайтесь моих откровений. От него я научился говорить о себе с предельным безразличием, как о чужом человеке. Мое сознание уже давно мне не принадлежит. Я забыл и не помню, каким я должен был получиться, без ненужных отцовских влияний и примесей. Он меня ментально подавил. И не рисуйте в своем воображении изверга — это был вежливый, немногословный и до пресного добропорядочный в семье человек. Без труда находя общий язык как с нормальными людьми, так и с обормотами, все же чаще всего он разговаривал с самим собой. Ну и меня, идущего внизу и рядом, на метр ниже, иногда подключал к своему облаку подробностей.

Когда ты приезжаешь в чужую страну, — покашливая от давнего бронхита, он закуривал папиросу, пускал дымок, чуть ежился плечами от холода и шел впереди по утоптанному снегу дороги домой из детсада, — ты должен зачеркнуть болезни. Запомни, это не пустяк. Ты понял, почему я обливаю тебя водой и закаливаю? Климат проверяет слабость чужака. Случайно, извилистым путем, мне удалось попасть на праздник Вогалонги. Меня пригласила знакомая венецианка древних родовых кровей, да и той же древней профессии, если совсем откровенно. Сидели мы на деревянной трибуне, ее ежегодно в майские дни ставят понтоном у фронтальной стены университета. Слушай, малыш, пока для тебя все это мутно и непонятно — палаццо Фоскари, ин-Вольта, Гранде Канале, фондамента, трагетто, пьяцетта, ризотто... со временем ты поймешь красоту этих слов. И как эта узорная прелесть жестоко берет на излом чужестранца. Он — высокий, стройный, одетый по знакомству в лучшие одежды напрокат, потому что вечером ожидается ужин в семействе семиюродных Мочениго, — но все ему не так, все скверно, все несносно. А знаешь почему? От простуды у него вскочили три фурункула на лице. И еще два, стыдно признаться, на мягком месте. Какой тут праздник регаты! Справа сидит красивая женщина в поднебесном платье, с открытой белоснежной грудью... ну, тебе об этом рано... все обращают на нас внимание — в общем, постарайся понять мои больные мысли и мой внешний позор. Понимаешь, о чем я тебе толкую, — закаляйся! Слева, двумя рядами ниже, сидела женщина неземной итальянской красоты. Она заметила стрельбу глазами в нашу сторону, повернула голову — и вместо смуглого иностранного героя увидела три фурункула на опухшем лице. Ты думаешь, я помню Венецию? Какая La sirenessima... Я запомнил только этот скучающий пренебрежительный взгляд. Не все так невесело, там еще были забавные и страстные ночные детали на альтане дома у церкви Сан Стае, но пока ты для них не дорос.

Повзрослеешь, потом расскажу.

Даже не знаю, о чем он говорил так долго. Неужели учил физкультуре? Ничего я не понял, но стал закаляться и уже не скулил по утрам от холодной воды. Странный изгиб биографии: я повзрослел — и он немедленно пропал из моей зрительной памяти. Места и маршруты, по которым мы вместе

бродили, я их потерял, они испарились тоже. Изредка мелькнет в тумане тусклая деталь... пивной ларек без столиков, темные фигуры с кружками в руках... дорога к футбольному полю, гетры и бутсы в летней грязи... черное пальто у подтаявшего катка, огонек папиросы в руке без перчатки... и совсем непонятно, куда и когда он исчез из серебристого брома картинок. Но «ты еще зеленый» я запомнил навсегда.

А как же мама, где она была? — слышу свой голос.

И вижу его удивленно-насмешливый взгляд — над головой, на фоне чертежно-голых веток зимних тополей.

«Ну вот, растет защитник угнетенных».

О матери моей в его подробностях не помню.

Не знаю даже точно, любил ли он свою жену.

Теперь мне кажется, что да, а вот тогда — под сто процентов было непонятно и туманно. По своей зеленой неумности любовь родителей друг к другу казалась мне ненужным темным мраком. Однажды он рискнул на пробу признаться кое в чем сопливому мальцу, но рассказал совсем не то, что я запомнил. Это было похоже на притчу, услышанную мною уже поседевшим и взрослым. Так себе притча, вроде задумчивого тоста, я уже дважды ее слышал в устном пересказе, не жалко слов — использую и в третий раз.

Жил-был один человек, был у него дом, прекрасная жена, чудесные дети, но тянуло его поглядеть мир, увидеть другие страны, горы и леса. Однажды он решился: попрощался с семьей и ушел куда глаза глядели. Шел день, два, на третий заснул вечером в чистом поле, ворочался, запутался в ночной соломе, проснулся, забыл дорогу, спутал направление без компаса и пошел в обратную сторону. Шел день, другой, третий, видит — знакомый дом, женщина, похожая на его жену, дети, точная копия его собственных, обнимают, плачут, просят остаться. Что делать, он подумал, вздохнул — и остался.

И всю жизнь грустил о потерянной родине.

Папиросный дымок и насмешливый взгляд на фоне летних облаков: пойму ли я, зеленый, сказку о прозрачных минеральных пузырьках.

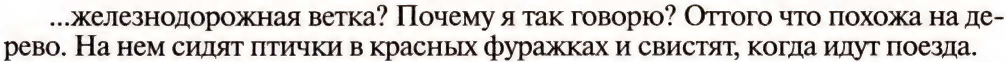
В зеленом Пятигорске, — ну да, теперь это у нас курортные Кислые Воды, — на тропинке к источнику, истоптанной миллионами подошв и усеянной точками миллионов каблуков, я встретил замечательной прелести женщину-девочку, как две капли похожую на ту, совсем другую, которую однажды видел в своем запыленном казачьем городке. И сразу же иглой кольнуло в бок: мгновенно решил, что просею весь город, но обязательно ее отыщу. Ты понял меня: не ту, что на тропинке, в белой шляпке, а совсем иную, которой пока нет, но я ее найду. Редчайший случай, один на миллион, не верю до сих пор — едва сошел с поезда, встретил ее на перроне. Это и была, — пуская дымок в высоту, добавил уже слегка скучноватым голосом, — твоя любимая мама.

Смотри, не рассказывай ей, она не поверит.

Быть сентиментальным — это плавать на обочине чувств. Надо истреблять в себе детскую левизну в организме. Закаляй свой характер сказками против жизни. Сейчас ты маленький, хотя и вредный, но ведь когда-то повзрослеешь, вот и начинай свое утро с ушата ледяной воды.

А пока для тебя все жутковато и страшно, как могила неизвестного солдата. Он потому и безымянный, что непонятно, кто там лежит. — В земле он тоже серебристый, в сапогах и с автоматом? — спрашиваю я, глядя вверх. — Нет, — слышу голос оттуда, — там только череп и кости, а рядом ржавые медали и ордена.

Пока тебе рано о смерти, потом расскажу.



...железнодорожная ветка? Почему я так говорю? Оттого что похожа на дерево. На нем сидят птички в красных фуражках и свистят, когда идут поезда.

Еще я помню про «неудачные города».

Если без птичек, простыми словами: это когда не нравится, где родился или куда тебя занесло. Вышел на станцию, смотришь вокруг на хмурые дома у вокзальной площади и думаешь: зачем я здесь? Хочется смыться отсюда, но поезд ушел, ехидно свистнув на память дураку с чемоданом.

Высокие отцы в длиннополых черных пальто не любят плачущих детей.

Держат их на поясном ремне, в тисках суровой строгости. Девочек не знаю, а пацанов всегда. Иногда, под махорочный кашель, смотрят сверху на твои ковыряния в снежном сугробе и размышляют, наверное, как из почти ничего получился такой плаксивый, замурзанный спиногрыз.

Он никогда не присаживался рядом на корточки, не рассматривал вместе со мной удивительную дребедень на воде и в траве, не помогал собирать рассыпанные на полу стальные шарики — его не интересовало то, что происходит на метр ниже. Не втискивал мою «кривую» ногу в тесный валенок и не учил распутывать шнурки на мокрых ботинках. Но выше, повзрослев, года в четыре, я иногда наблюдал, проснувшись, как он, по-семейному хмурясь, застегивал две пуговицы на голой спине жены и тихо чертыхался, что его большие корявые пальцы не справляются с такой ювелирной работой. Однажды я даже рванулся к нему на помощь — меня, будущего октябренка, в детском саду учили помогать старшим. Родное утреннее лицо смотрело на меня из-за плеча и улыбалось: «мой помощник», а он недовольно хмыкал: «Явился, юный тимуровец. Беги учись переводить старушек через дорогу».

Вы не умеете толковать сны? Хотя бы на уровне любителей гороскопов? Жалко, я тоже в этом туплю, надеялся на чужую помощь.

В последние годы, будто прерванной серией, мне снятся долгие обходные маршруты к месту, где я живу. Причем каждый раз это происходит в разных точках городской географии. Сажусь в автобус, приезжаю на пустую конечную станцию, там пересаживаюсь в метро, качаюсь в вагоне, держусь за поручень, перехожу на другую ветку... куда, зачем?

Я пробовал это понять: видно, долго жил на окраинах и теперь хочу попасть в центр событий — так я это расшифровал. Но мне не надо в центр, я всего лишь надеюсь попасть в свой дом, в свою квартиру, и не понимаю запудренный блуждающий маршрут. Догадываюсь, что это сигналы моей житейской растерянности, но бестолковая ночная езда в запыленных вагонах начинает мне надоедать.

Или другое: зимний троллейбус, сижу у окна, стучусь виском через вязаную шапочку в замерзшее стекло, дышу, оттаиваю, процарапываю ногтем маленький экран и смотрю одним глазом вечернее кино через замочную скважину. Позади сотни остановок, рядом кучкуются какие-то рэперы, готы, эмо, молодые мамы с закутанными малышами и чуть хмуроватые папы, не заработавшие денег на семейный автомобиль. Все спокойно и мирно, ничуть не тревожно, но я тяжело скучаю: зачем я так долго еду и почему так далеко живу?

А ведь живу я в элитном районе, полчаса до Кремля, и когда меня снова врасплох застает эта сонная серия, я просыпаюсь, «покидая троллейбус», и долго смотрю в ночной потолок: куда я еду, когда сплю? Не знаете, что это значит?

Некому расшифровать.

Я тебя ударил, ты свалился на пол и кричишь «мама».

Зачем, мама далеко, делает на кухне вареники. Так можно кричать до трех лет, а тебе уже пять с половиной. Хватайся за руку, подниму. И отвы-



кай сидеть на корточках, вмиг опрокинут на спину. Драться научить нельзя, надо просто перестать плакать. И тогда — бей тебя, не бей — ты будешь при любом замахе стискивать зубы и четко следить, в какой руке блеснет нож.

Таким, с ножом в руке, видеть его не довелось.

Драться он умел. Учитель и бывший летчик превращался в метельного костолома. Но сбитых на землю не добивал. Поднимал шляпу с земли, отряхивал о колено, щупал нос, нет ли крови... и потом с этими же обормотами чокался бокалами у пивного ларька. И хмурился, когда я светлым октябренком прислонялся к его ноге и льстиво улыбался мрачным пьяницам.

«Не подлизывайся к незнакомым людям».

«Прекращай скалить зубы чужим».

— Ладно, мужики, пока. Моя идет.

Вечерняя школа как царство конфет.

Тяжелая деревянная дверь на скулящей пружине, пропахший табачным дымом закоулок у лестницы, длинный лаковый коридор, учительская, три класса, иногда приоткрытые двери, обрывки фраз: «так жестоко было подавлено тамбовское крестьянское восстание»... «сплав меди и цинка?»... «латунь!»... «что легче, тонна пуха или тонна цемента?»... долгое молчание... а после шутки «дважды два?» за дверью весело смеялись, и даже я радостно прыгал, почти с пеленок зная сумму по количеству конфет.

Сын историка идет по коридору, не сомневаясь, кто здесь главный, — все подлизываются к нему на перемене и дарят леденцы. Как прекрасно устроен мир: я был уверен, что до конца жизни наследника престола будут одаривать сластями и шоколадом ни за что. Никогда потом и позже у меня не было таких счастливых императорских мгновений.

Ау, мои вечерние карамели...

Когда ты будешь спускаться с гор, забудь о палках.

Нет, на лыжах рановато, давай поговорим о португальских морских кораблях.

Увы, о кораблях я ничего не запомнил.

Военный летчик работал дятлом — все детство долбил меня по голове. Какие-то непонятно длинные сказки о дальних городах, в которых он никогда не бывал, таинственные и неземные женщины, с которыми он вряд ли был знаком и видел, наверное, лишь в книжных иллюстрациях и на открытках. Какие лыжи, он даже на коньках не умел стоять. Расхаживая по берегу мелкого залива, где я на скользком льду пытался освоить широкий конькобежный шаг, но больше падал, чем осваивал, он мне показывал жестами, как на уроке балбесам: будь смелее, плавно заходи в вираж, рукой на повороте действуй, как крылом, почувствуй себя планеристом... ну что же ты такой тупой!

И черное пальто, и сумерки, и руки в стороны, и папиросные искры — все это было как огни посадочной полосы. Внизу я нес коньки и шмыгал носом, стараясь убедить его, что падал всего лишь восемь раз, а сверху, вполнеба, под полями черной шляпы смеялись его понимающие глаза.

«Растет баснописец на смену».

Вижу, вы тоже недоверчиво улыбаетесь.

Все верно, умеете разгадывать чужие тайны.

Своего отца я не помню. И никогда не видел. Он умер в другой семье, когда мне исполнилось десять лет. Говорю это не ради сюжетного шока: ах, какой разворот! Никаких загадок, все просто, строго и скромно, как у всех полубеспризорных детей. Это сон виноват. Приснился недавно человек со знакомым лицом, в длиннополом черном пальто, вот и кинулся к нему на-

встречу. Мой отец, не мой, родной, чужой... какая разница. Хватай его за руку и тащи за собой в кучу-малу бесплотных подробностей. Не знаете, как толкуют подобные сны?

Теперь ты взрослый, можно откровенно.

Когда я впервые увидел ее... ох, не так резко, дай собраться с мыслями, передохнуть. Ты не представляешь, какая тяжелая скука в ту пору меня одолела. По вечерам я чувствовал, как от тоски выпадают волосы на голове. Вот падает один, другой зацепился за бровь, вот еще несколько длинных, извилистых... Стараясь не дышать, чтобы не сдуть печальный мусор, я сгребал эти «опавшие листья» в ладонь, а волосы падали, падали, и к ночи я становился похож на бильярдный шар, полысевший от дурных настроений. Конечно, это был мираж, к утру они отрастали молодым бамбуком, так что, глядя в зеркало, я видел себя спросонья хмурым растением в джунглях. Между нами, именно поэтому я не люблю бриться. Усталый человек перестает следить за внешностью, подспудно хочет снова превратиться в обезьяну. И вот представь себе — нечесаный, небритый, давно не мытый, побитый жизнью и опутанный мыслями о своей небритости и побитости, причем в обычном легком варианте, без тяжелых похмельных подробностей, — встречаю на пороге открывшегося лифта женщину удивительной неземной красоты. Дай отдышаться... Знаешь, что парадоксально, — перед красотой мы все немеем, женское обаяние стискивает душу, но первая мысль была мгновенно отупляющей: «Силы небесные, кто с такими белоснежными спит?» Ты когда-нибудь получал бутылкой по голове — чтобы не падал, а стоял и шатался? Тогда поймешь, в каком я оказался столбняке.

Всегда какие-то мимолетные мелочи запоминаются лучше, чем поступки и события. Десять несчастных секунд — ей выходить, мне входить, миг — и улетело. Как объяснить эту упавшую сверху сено-солому чувств... Что хорошо — никто не вошел в подъездную дверь и не вспугнул мои «смятения чудных мгновений». Наверное, я болен подробностями, если так долго рассказываю о десяти секундах. Не удивляйся, я их буду дробить еще мельче. Ровно треть секунды ушло на то, чтобы внуздать себя и отрезвить. «Понятно, она чья-то жена, мать, любовница, — такое тело и лицо не живет в облике девушек с книжкой в руках».

В руке она держала презервативы, пряча упаковку в плетенную сумочку ручной работы, даже не успела щелкнуть золотым замком.

Теперь понимаешь, что случилось у лифта, — немыслимая битва моих возвышенно книжных и трезвых житейских миров. Она смутилась и острым взглядом миндалевидных глаз перекрыла мне кислород для крохотного шанса вероятного знакомства. Ты уже взрослый, понимаешь, к чему я клоню. Ноль целых и одну десятую секунды она поднимала ресницы, отгоняя смущение, медленно вышла из лифта и две секунды в задумчивости смотрела на меня. Будь я побритым и помытым, я бы эдак вопросительно вскинул бровь: чем могу быть полезен, нежная фея? Ты же видел, как это делают в кино брутальные самцы. А я стоял, как баран перед цветущим кустом сирени, — бровь не ломал, но дыхание сбилось.

О, как нежно я думал о ней еще три секунды назад.

Понимаешь, не в ту секунду, когда появилась туманная мысль «с кем она спит», а чуть раньше, за секунду до этого. Это потом мелькнуло бредовое: наверное, таких прекрасных женщин специально подбирают в земные службы неземного женского обаяния, чтобы небритый и немытый народ не грустил в тяжелые кризисные времена. Невероятно, но почти угадал.

Никогда не прощу себе бараньей тупости. Еле шевеля языком, я спросил: — Как вы оказались в нашем доме? — Работаю по вызову, — миндалевидными глазами улыбнулась она. Тупой, еще тупее: — Участковым врачом?

Она улыбнулась еще миндалевиднее. Сначала повела ладонью перед моими глазами, как целительница, а потом на секунду коснулась небритой щеки. — Вы дурачок? У меня более древняя профессия. Если вы побреетесь, я вас навещу.

Я как стоял, так и упал. Конечно, не упал, так говорят ради словесного эффекта. Между прочим, если совсем откровенно, последнюю фразу «я вас навещу» я тоже придумал, чтобы спасти свое упавшее настроение. Понимаешь, тонус надо держать всегда, даже когда падаешь в пропасть. Необходимо закалять себя в такие смертельно невеселые минуты. Все очень просто и легко: улыбнуться усталой улыбкой, провести рукой по ее шелковистым волосам, прикоснуться небритой щекой к божественной коже, бережно обнять, прижать к немытой груди, коснуться губами дрогнувших глаз с опущенными ресницами, легко поцеловать в полураскрытые губы, запустить руку под блузку, смело и нежно измять обнаженную грудь, чтобы она задохнулась от ласковой боли, потом скользнуть ладонью на полметра ниже, поднять невесомое платье и долго мучить твердыми пальцами ее влажный, как пишут, бутон, чтобы она без сил запрокинула голову, вошла от сладкой муки в невыносимо страстный штопор и простонала в слезах, как подбитая птица: «Возьми меня, бесплатно, иначе я умру».

Не надо краснеть и смущаться, такие женщины специально придуманы для небритых мужчин, не понаслышке знающих «краеугольное одиночество». Что делать дальше и чем за это платят, я тебе как-нибудь расскажу, не забуду.

Давай перекурим, сердце заныло.

Теперь я вижу дополнительные сны.

Зимний троллейбус... или трамвай, не сразу ясно. Хмельные елки за окном, неоновые двойки, нули, единички. Три часа до новогоднего шампанского. Она сидит рядом со мной на холодном сиденье, прижимаясь плечом, и кутается в воротник старенькой и слегка изъеденной молью беличьей шубки. В ногах у нас набитые продуктовые сумки, мы едем домой. Позади сотни остановок, люди на улицах прячут лица от морозного ветра, она теснее обнимает мою руку, улыбается миндалевидными глазами и шепчет на ухо, касаясь теплыми губами, заподнебесной нежности слова:

— Какое счастье, что мы одни в пустом вагоне.

Ольга Горшенина

Треугольник по имени Время...

***

В разбеле времени —
туман
и контуры березовых
угоров,
но пробивает дрожь
пастушеских ознобов
холодный нож —
хрусталика обман.

***

Поскотина, угоры
    и дружный хруст травы,
        губастые косилки,
            захваты-языки,
бездонные гляделки
    и уши-лопухи...
        рогатые сиделки
            со временем тоски.

***

Морозным майским утром
я кабачок сажаю.
С нежными листьями
навсегда прощаюсь.
А может, сшить ватные брючки
усатому бедолаге?

***

        Увидев в «саркофаге» стрекозу,
складную и недорожденную,
                поймешь,
как погружают в ил, на глубину
                для созревания
мысль сверхлетящую, блестящую.

Ольга Горшенина — родилась в городе Дальний, Китай. Окончила Свердловское художественное училище. Педагог дополнительного образования. Призер областного конкурса учебных программ художественно-эстетического направления. Стихи публикуются впервые.

***

Прилетела пустельга.
Про садовые дела,
Про охоту на мышей
Разговаривали с ней.

***

Треугольник по имени
Время
Ищет пристанище...
Шея?

***

К струне, где спор до хрипоты,
        бежать, спастись от немоты.
Маршрута вечного
        художнической блузы
по катетам хождение
        и по всей длине гипотенузы:
тут Кафетерий, Светофор,
тут Книги, Чебуречной коридор
        и снова круговой простор
у Двери.

***

У образа плоть была.
        Но не стало.
Наверное, нужно, чтоб
        все совпало.

***

Меня по ежику погладила рука.
Невидимо, как оперение крыла.
За самоизвлечение из тьмы,
Квадрата черного разбитие изнутри.
За легкость поступи
И взгляд промежду нитей ткани,
В решетку не ударясь одеяний.

***

Пуля-слово
в предсердье
сидит
и свербит.
Умножает
на дружбу
и делит
на стыд.

***

Деревня Реутинка —
подошва для ботинка.
Подошва для ботинка —
находка для суглинка.
Вот так хожу в ботинке —
Подошва в Реутинке.

***

Со звезды холода
Лодка расплавленного олова.
Режет весло тины тугой пирог
На половины. Вдоль и поперек.
В инее звездный сток.

***

Казарину

На дозреванье в сугробах
дыханье укрой бахромой.
Тебе ведь не трудно, надышишь
глаголов к дороге домой.

***

Одноглазый бандит в преисподнюю тянет
тканью воды,
Черные дыры жаждет заполнить воронкой
в мир пустоты,
Черную крышку-протез бесстыдно откинув
с глаза-дыры.
Ванная комната. Грани жизни и смерти.
Место беды.

***

Санечке

Взрастить в себе новое дерево,
чтоб кроны рука не касалась чужая.
Где время, когда его не осталось?
Все зная.
Все зная, где звуки прощенья?
Печалью ужаля,
стучащим горохом осколки от боли —
пускай прорастают,
а птицы склюют и в них улетают,
в неволе.
В неволе, где время, как провод,
звонком раздирает на доли.
В туннелях, где птицы взлетели,
спиралью пульсирует холод.
Там тоже его не осталось от боли.

Что знают о боли,
кто ветви свои не ломали в неволе?
В неволе по собственной воле.
Забыть о той боли в неволе!
В неволе, где время страдает от боли.

***

— Тук-тук, тук-тук, вот и я! —
По стенке стучит рука.
— Тук-тук, тук-тук, вот и я,
Разносчица молока! —
Морщинки, жакетка, шаль.
— Бидончик освобождай!
— Нет времени выпить чай?
— Высоко живете, жаль.
Конфетку держи, прощай!
— Тук, тук, тук, тук, как всегда,
За вами пришла Беда.
— Тук-тук, тук-тук... тук... тук-тук...
Сердца спасительный стук!
— Жду встречи седьмого дня.
— Мария, спаси меня!

***

Чревовещание открыло тайну:
«Таинственный дух гусеницы» — это
в желании желать желаемого
желатина желтого жевание
И в овладении владений власти
Всласти, присвоение не владений,
но тоже всласти,
жевание зеленого листа
Хрустящего куста бюджетной страсти
И кладка золотых яиц, как тлей,
тем яйцекладом власти в пасти,
Да и присвоение новой власти
Над этой властью всласти, вот — напасти.

***

Из сущности
пиратского буксира,
загона,
как зона
в море домов,
необитаемый остров —
квартира
Робинзона
Бедности.

Наталия Соломко

Мой брат — дурак

Рассказ

Зимой поселок наш до крыш заносило снегом, и мы ходили в школу по узким, твердым тропам, которые нами же и протоптаны были в могучих, спекшихся в пору мороза и ветра сугробах, и не было учеников упорнее и прилежнее нас. Потому что их не было вообще, вот только мы пятеро. Потому что поселок наш, еще несколько лет назад жилой и шумный, теперь был брошен: рудник, вокруг которого он вырос, закрыли, и взрослые разбрелись по миру в поисках другой работы, оставив нас на бабок и дедок. Сначала нас было много в заброшенном поселке, и беспризорная свобода была нам в радость, но вот разобрали уже всех по новым местам обитания, и остались только мы, пятеро, среди заколоченных, умерших домов. Видно, не очень у наших родителей там ладилось. У Коськи батя с мамкой и вовсе разбежались, у каждого уже была новая семья, так что Коська им теперь был без надобности.

Что ж, мы жили, не тужили: вокруг леса стояли до горизонта, было чем заняться. Да и тужи не тужи, что от этого изменится? Потому и в школу ходили мы не просто аккуратно, а с остервенением даже. Особенно зимой. Куда нам еще-то было идти? И вот мы любили нашу двухэтажную бревенчатую школу с тремя учителями и торчали там у печки с утра до глубокой тьмы, пока не возмущалась сварливая Анна Ильинична: «Ну будет казенные дрова переводить!» — и не выгоняла нас по домам. Мы выходили на скрипучее крыльцо в морозную тьму, и пусто и страшно становилось нам: пока родители наши жили где-то там, зарабатывая квартиры и твердо нацелясь на удобную городскую жизнь, так тихо и жутко было в поселке, где когда-то мы жили все вместе, так одиноко и тоскливо в домах, и так зловеще, так мстительно потрескивали половицы... А было мне тогда тринадцать лет.

И вот мы стоим на крыльце школы, и домой нам идти не хочется.

— Робя, домой неохота! — говорит Ванька. — А?

Ему никто не отвечает: чего зря языком трепать — и так ясно, что неохота. Да пойти-то некуда.

— Скукота! — говорит Ванька. — А?

Он вообще болтун.

— Давайте чего-нето придумаем, а?

— Робя, пошли на кладбище! — с отчаянием предлагаю я, лишь бы не расходиться по домам.

— Да сколько можно на кладбище, —— уныло отзывается Тюля, и Наташка с ним согласна.

— А пошлиКото́ву пугать, — лениво предлагает Коська.

Кото́ва — мой брат. Ему семнадцать. Он дурачок.

Наталия Соломко — родилась в Свердловске. Рассказы и повести печатались в журналах «Пионер», «Уральский следопыт», «Литературная учеба» и др. Лауреат премии «Заветная мечта» (2007/08) за лучшее произведение о животных и живой природе (сборник рассказов «Козел, дурак и почтовые голуби»). Книги Наталии Соломко изданы в Японии, Сербии, Греции, Китае, Словакии, Германии.

Он дурачок — его дразнят. Он сердится — всем смешно. Во всяком случае, других развлечений не предполагается...

— Дак бабка, наверно, дома, — говорю я.

Я хитрю: бабки дома нет, и я это отлично знаю. Просто мне не хочется пугать Котóву. Мне его жалко. Только ни за что никому я в этом не сознаюсь. Он такой, Котóва... Тихий, всего боится и чуть что — плачет. А сам огромный, сильнющий. Но он не знает об этом, он думает, что он маленький... Наверно, я должен за него заступиться. Но я не делаю этого, ну его. Когда говорят: «У него брат — дурак», — внутри у меня все замирает, и хочется втянуть голову в плечи. Но я смеюсь вместе со всеми. Жизнерадостно подтверждаю: «Ага, дурак!» И взахлеб рассказываю что-нибудь такое о его жизни, дурацкое. Все хохочут. И я с ними вместе, чтоб ясно было: он — дурак, а я — нет. Я — нормальный. Как все.

— Ага! — говорит Коська. — Расскажи в другой раз: бабка у него дома! У нас твоя бабка, они с дедом в дурачка играют каждый вечер, будто не знаешь.

— Ну и что, — говорю я, — а может, Тузик дома. Это еще хуже бабки...

Тузик — наша собака. Злая. Просто жуткая собака, всех кусает. Ее Соколовы оставили, когда уезжали. Привязали на цепь у дома и уехали. Она и караулила заколоченный дом. А у самой ни воды, ни еды. Ох, и выла. А Котóва ее отвязал, домой притащил. Вот теперь она и кусает кого вздумает. Осенью отец приезжал — так и его эта наша злющая собака укусила. Отец застрелить хотел, но бабка не дала. «Один у Вовки дружок, а ты его стрелять хочешь, паразит!» — сказала. Отец отступился. А Котóву Тузик любит и не кусает. Котóва его за уши таскает, борется с ним, и Тузик — ничего, только хвостом машет.

— Щас все собаки в лесу, — говорит Тюля, — мышкуют. Что, ваш Тузик всех глупее, что ли?

А Наташка смеется согласно.

Тогда я говорю им самое главное — про ружье: оставшись в доме один, пугливый, сумасшедший брат мой достает из шифоньера отцовское ружье, заряжает (я сам научил его когда-то) и даже на двор, в покосившуюся дощатую уборную, ходит вооруженным. Ну, он всего на свете боится: темноты, тишины... А больше всего он боится оставаться дома один.

Эти мои слова — про ружье — ошибка. Потому что все сразу приходят в восторг и начинают радостно вопить, как это будет здоровски интересно... А Наташка смотрит на меня, стоя рядом с Тюлей, только вряд ли меня замечает. Она вообще никого, кроме драгоценного своего Тюли, не замечает, обхохочешься. И я гляжу ей в глаза и улыбаюсь пренебрежительно. Я ее знать не желаю. И ее. И ее обожаемого Тюлю. Они дружат. Подумаешь! И чего он в ней нашел? Девчонка!.. Волос долог, да ум короток... (Я давно уж влюблен в нее.)

И вот мы идем по узкой тропе в сугробах, идем к моему дому, и снег так громко и тоскливо скрипит у нас под ногами. Мы идем пугать моего брата.

Ванька и Коська хохочут, сговариваются притвориться «зыками», которые сбежали. Это правда, поблизости есть лагерь, и «зыки», бывает, бегают. Но летом. А сейчас куда побежишь — снега по грудь, не выбраться из тайги. Не бегают зимой «зыки».

— Не бегают зимой «зыки», — говорю я Коське и Ваньке.

— Больно он понимает, он же дурак! — жизнерадостно отвечает Коська.

Дать бы ему в ухо. И Ваньке тоже. Но я не решусь на это. Да еще и Наташка идет с нами. Мне хочется, чтоб мы все шли и шли вот так, скрипя снегом, под огромным ледяным небом. И чтоб Наташка шла рядом.

К дому мы подходим крадучись. Там окна чуть светят. Там брат мой Котóва пристально таращится в телевизор. Он сидит в обнимку с отцовским ружьем и настороженно вглядывается в мельтешение серых теней на экране. Я вижу

это, подобравшись к окошку по глубокому снегу, начерпав в валенки. А что там показывают по телевизору, не видать мне. Зато хорошо мне видать с моего места, что Коська и Ванька уже подошли к двери, а Наташка и Тюля остановились у калитки, ожидая, что будет. Настроение у всех веселое.

— Колян, иди сюда! — свистящим шепотом зовет меня Ванька.

— Не! — громко отвечаю я из своего сугроба. Может, Котóва услышит? Я гляжу на него сквозь проталину: нет, не слышит. Сидит один в пустом доме и боится, боится... Не знает, что мы пришли его пугать.

— Он сейчас, кажется, заревет, — говорит Наташка Тюле и смеется. — Погляди на него.

Тюля послушно глядит на меня. Он маленький, сутулый. Стоит с ней рядом и за руку ее держит. И чего она в нем нашла?

— Пацаны, — зовет Тюля, — пошли лучше на кладбище.

Но Ванька уже колотит в дверь ногой... Котóва там, в доме, вздрагивает всей спиной, сползает со стула, зажав голову руками, а ружье коленками. Наверно, думает, что так его не найдут: зажмурился — значит, его не видать.

Стук все сильнее, Котóва озирается в ужасе, поднимается во весь свой огромный рост... Он так похож на взрослого, но на самом деле ему года три, он и слова-то еще плохо выговаривает... Разве Ваньке это объяснишь?

В комнате становится пусто, Котóву не видно, он, плача от страха, бредет к двери. Он несет с собой ружье,

— Кто тама? — спрашивает Котóва из-за двери, всхлипывая. Его едва слышно.

— Бандиты! — надрывно выкрикивает Коська. — Открывай давай!

За дверью долгое молчание, а потом тонким своим, невнятным голосом Котóва кричит:

— Уди! Еля буу!

Ванька и Коська хохочут, зажимая друг другу рты. Они не поняли, что сказал Котóва.

Он сказал: «Уходите! Стрелять буду!»

— Открывай! — надрывается Ванька. — Мы знаем, что ты один!

— Живо, а то дверь сломаем! — вторит Коська.

Покричав, они прислушиваются с недоумением. Потому что Котóва затих. Молчит. Становится тихо-тихо, и в этой тишине слышен там, за дверью, некий звук — отчетливый легкий щелк. Только дурак не поймет, что это звук взводимого курка.

— Ложись! — ору я, стараясь выбраться из своего сугроба, а Ванька и Коська опять пинают дверь, давясь от сдерживаемого хохота. Они «бандиты», им море по колено... А у калитки стоят и смеются Наташка и Тюля, им ведь там, у калитки, не слышен был тот звук...

— Ложись! — кричу я, выпадая из сугроба. И от этого всем делается еще смешнее. Я успеваю сбить Коську и Ваньку в утоптанный снег перед дверью, и тут гремит выстрел...

Дверь дымится. Наступает нелепая тишина.

Тихо-тихо на небе и на земле. В тишине кто-то всхлипывает. Это я, кажется.

Тюля и Наташка испуганы грохотом, но так ничего и не поняли.

— Он что, вправду бабахнул? — смешливо спрашивает у нас Наташка. — Ой, умора — лежат! Вы еще окоп выройте! — и она идет к нам.

— Не ходи! — кричу я ей, но она меня разве послушает?

— Ни оди! Оя! Укиех! — командует из-за двери сумасшедший, отчаянный голос брата.

Наташка легко и даже чуть пританцовывая идет к нам, к двери...

А у нас ружье двуствольное.

— Уйди! Не надо! — ору я.

— Уди! — взволнованно повторяет за дверью Котóва и щелкает курком.

Я поднимаюсь на колени, хватаю Наташку за подол пальтишка, валю с ног, мы барахтаемся на снегу, Наташка лупит меня варежками по лицу.

— Обалдел, дурак, да?! — кричит она. — Совсем уже, да?

Она все еще не поняла, а Тюля застыл у калитки: он уже понял.

— Тихо! — говорит он. — Тихо, пацаны, не двигайтесь, он же чокнутый! Прижмитесь к земле, не двигайтесь, а то убьет, Колян, скажи ему!

Я реву. Мне стыдно, что Наташка рядом и видит.

— Скажи ему, Колян, — просит Коська.. — Он ведь точно — застрелит...

— Елю! — грозно соглашается за дверью брат.

Темно. Ночь тяжело навалилась на поселок, затерянный среди лесов, брошенный людьми. В поселке темно и тихо. И в лесу темно и тихо. Только снег падает с веток да неслышно ходят звери. У них там дом, им не страшно. Темно и тихо в лесу до самой тундры. Темно и тихо в тундре до самого океана. И там — темно и тихо. А где-то есть большие города, я по телевизору видел. Там — свет на улицах и люди. Их много. И ни один из них не знает, что мы сейчас лежим здесь, вжимаясь в снег, и мой сумасшедший брат караулит нас с ружьем, а вокруг — темно и тихо, и никто не спасет. Брат мой не поверит мне, что это я, что мы шутим...

— Коля... — шепчет Наташка. — Коль, ты чо?

— Ничо.

— Ты чо, ревешь?

— Не твое собачье дело!

— Коля... Ну, Коленька... — она гладит меня по голове. — Он чо, убьет нас?..

— Не знаю.

— Убью! — вдруг совершенно отчетливо выговаривает Котóва. — Всех астрелю! Адиты!

— Скажи ему, Колян, — всхлипывает Ванька.

Я кричу:

— Котóва, это я, Колька! Не стреляй!

Тишина. Котóва притаился в тишине. Он не верит.

— Ну, Котóва, ну, правда! — тоскливо подтверждает Коська.

Котóва плачет. Он плачет взахлеб, кричит жалобно, но из-за рыданий слов уже совсем не разобрать, и я с трудом догадываюсь, что кричит он:

— Ты не Коля, не Коля! Коля — добрый, он придет...

— Я замерзла, — говорит Наташка и тоже всхлипывает. Все мы тут лежим и плачем в холодном снегу. А Котóва плачет в сенях, держа наготове двустволку. Ну, игра у нас такая.

— Пацаны, — зовет Тюля, — вы полежите... Я пойду приведу кого...

Кого? Нашу бабку? Коськиного деда? И что он может сделать, этот кто-то?

— Коля, умирать боязно... — шепчет Наташка. Губы у нее синие от холода и страха. Я осторожно стягиваю с себя телогрейку, укрываю ее.

— Ладно, — бормочу я. — Не бойся, я сейчас...

Я ведь знаю, что надо сделать, я догадался уже. Только страшно мне очень. Только очень не хочется. И обидно. Вот через несколько секунд все встанут и пойдут домой. А завтра — в школу. А потом весна будет... А я останусь лежать на снегу.

Может, он промажет? Или хотя бы не насмерть в меня попадет?.. Все равно страшно. И больно, наверно, будет очень... Но Наташка замерзла, надо скорей.

— Сейчас, — говорю я, — ты не бойся...

Наташка всхлипывает.

— Слушай, — говорю я, — я тебе только скажу что-то...

Она не слушает, плачет.

— Я тебя люблю, вот...

Она плачет. Я поднимаюсь сперва на колени, потом во весь рост, и снег скрипит громко.

— У-у! — испуганно верещит Котóва.

Но не стреляет.

— Эй! — ору я, топая ногами. Иду к двери. А он все не стреляет. А я все ближе — теперь уж точно — насмерть.

— Ты! — воплю я. — Стреляй скорей!

Брат послушно выполняет команду. Слышится выстрел. Но я жив. Я стою на ногах. Мне не больно.

За дверью воет Котóва.

— Вставайте, — говорю я Коське и Ваньке. — Уже все. Идите отсюда.

Они лежат, вжимаясь в снег.

— Ну, вставайте! — ору я.

— У-у-у! — стонет Котóва и, тяжело топая, уносится в комнату. Перезаряжать ружье.

— Уходите! Скорее!

— Ты замерзла, Нат? — подбегает Тюля. — Вставай скорей.

Наташка плачет. Мы поднимаем ее, мы бежим, бежим прочь отсюда, а отбежав на дорогу, останавливаемся.

— Уже все, все, не плачь, — говорю я ей.

— Пошел ты! — зло выкрикивает она. — Вас с братом в дурдом надо! Обоих!

— Наташка... — говорю я.

— Дурак! — кричит она. — Я тебя ненавижу, дурак! Ты нарочно это все подстроил... И болвана своего подговорил...

— Наташка...

— Пошел вон!

— Ната, ты чего... — спрашивает Тюля.

— Он нарочно, нарочно! — всхлипывает Наташка. — Он мне там в любви объяснялся... Он нарочно все подстроил!

— Ну, ты гад, оказывается, — говорит Тюля.

— Да пошли, — торопит Ванька. — Руки пачкать об него неохота.

Они уходят. А я остаюсь. Я стою в темноте посреди мертвой темной улицы с заколоченными домами. Пусто. А где-то есть большие города. Там светло. Там людей много. Они ходят по улицам и смеются...

Я возвращаюсь в наш двор, подбираю телогрейку. Пусто и холодно кругом. Пусто и холодно. Надо спрятаться. Я лезу в собачью будку, забиваюсь в угол и, свернувшись калачиком, стараюсь согреться. Я лежу там долго и думаю, что вот вернется наш злой Тузик и загрызет меня. Ну и пусть. Я лежу и жду...

Но из дома выходит Котóва. Он идет прямо ко мне, будто знает, где я, будто видит сквозь доски. Брат сворачивает будку, отшвыривает ее в сторону, берет меня на руки — он огромный, сильный — и несет в дом. Там тепло, там свет горит, а по телевизору передают, какая погода завтра будет в других городах. Котóва кладет меня на топчан, ложится рядом, плачет.

— Ходишь... — говорит он. — Ходишь все... Я один, один... Сижу. Жду. Боязно. Бандиты приходят...

Я молчу. Он затихает, говорит шепотом:

— Я стрелял — они ушли. Я боялся — где ты. Не ходи, я боюсь...

Глаза у него серые, круглые, мокрые от слез. И я опять думаю, что вдруг он притворяется, а на самом деле все понимает...

По телевизору говорят, что в Москве завтра будет солнце.

Стихи из альманаха

Айгерим Тажи

Автор книги стихотворений «БОГ-О-СЛОВ» («Мусагет», Алма-Ата). Лауреат Международного литературного конкурса «Ступени» (Москва), почетный дипломант Международного конкурса художественной литературы имени А.Н. Толстого (Москва), неоднократный лауреат международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (Астана), международного литературного конкурса «Магия твердых форм и свободы» и др. Живет в Алма-Ате.

***

У старого дерева молодые листья.
Прорыты ходы в яблоке. Делятся половинки:
Одна на счастье, другую почистить.
Империя насекомых выстроила лабиринты
в мякоти, из которой выйти лишь по веревочке.
К Ариадне, что украла плод, а осталась с овощем.

***

Воронье с берегов небосклона
разлетается комьями почвы.
Дождь рассыпал не капли — патроны,
жаркий лоб поцелуями смочен.

Мы умрем, а проснемся другими,
с новой кожей, но старой душою,
пережившей кончину без шока.

Сами выберем церковь и имя,
вновь устав, отсыреем, как глина
для ваятеля с пальцами Бога...

В подборке представлены стихи из альманаха «Поэзия в постсоветском культурном пространстве» (Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2011. Издание осуществлено при поддержке Фонда «Русский мир»).

Павел Гольдин

Родился в 1978 году. Зоолог. Автор книг «Ушастых золушек стая» (М.: АРГО-РИСК, 2006), «Хорошая лодка не нуждается в голове и лапах» (М.: Новое литературное обозрение, 2009). Живет в Симферополе.

Воля, слух

Воля моя запуталась в любви к нему,
к моему прекрасному повелителю,
как летучая мышь в волосах девочки над рекой,
как маленький котенок — играла клубком,
оплела себя шерстяной ниткой и лежит —

сидя в клетке, скулит Герман Геринг,
всклокоченный, одутловатый;
за ним записывает стенографистка,
переводчик обратился в слух (hearing).

Катерина Зыкова

Родилась в Минске в 1987 году. Окончила филологический факультет БГУ. Финалистка конкурсов «Четвероногая ворона» имени Даниила Хармса (СПб., 2008) и памяти Карлоса Шермана (Минск, 2009).

***

она считает твои потери
ночь каждую
кричит у меня жажда
кричит у меня истери
ка просит встать тебя на карниз и шагнуть еще дальше
потом извиняется, говорит скоро умру, кашляет
ты ненавидишь ее как белые кости индейцев апачи
силы стремятся к ну лю
плачешь
и вдруг обнимаешь ее од ну лю
бимую бережно чтоб не сломать не по.мять
это она. твоя па.мять.

вдох

дышать не плохо
дышу с лех
костью в небо в медвежий ковш
а в небе смеется тот кто один в трех
видах
«ты не придешь

Виталь Рыжков

Родился в 1986 году в Могилеве. Выпускник Белорусско-Российского университета. Лауреат конкурсов Белорусского ПЕН-Центра, конкурса памяти Карлоса Шермана. Автор поэтического сборника «Дзверы, замкненыя на ключы» («Двери, замкнутые на ключи») (Минск: Логвинов, 2010), за которую был удостоен премии «Дебют» имени Максима Богдановича. Живет в Минске.

Зеленый человечек

просто шатаясь по улицам обычным февральским вечером
и сочиняя стихи, забыв об укорах,
я случайно встретился взглядом с зеленым человечком,
распятым на светофоре.

и я не то чтобы очень спешил домой тогда,
просто появлением своим он открыл мне дорогу.
и в ту минуту он был больше похож на Христа,
чем тот, кого мы привыкли считать сыном Бога.

и почему-то подумалось о далеком, хмельном июле и
недосягаемом теплом море.
а улица гудела себе растревоженным улеем,
не замечая мессию, распятого на светофоре.

В октябре нашей «Детской» исполнился год. По этому поводу в библиотеке «Малая Герценка» на Чапаева, 3 собрались детские писатели, читатели, редакторы, педагоги, работники библиотек, сотрудники музеев, студенты и прочие культурные люди. Разговаривали на тему «Детские страницы взрослого журнала. Для кого?». Стало понятно, что детские произведения в «Урале» с удовольствием читают и взрослые, и дети. Для некоторых детских писателей это возможность сообщить о себе своим коллегам, писателям «взрослым». Для других просто единственная возможность опубликовать свои произведения — ведь в издательствах формат, очереди и серии, а в детских журналах (коих нет на Урале) часто печатают только малую форму. Таким образом, журнал «Урал» отчасти выполняет функцию и детского журнала. Кроме того, выяснилось, что рубрика необходима педагогам-словесникам. Пестрота литературного процесса и отсутствие времени не позволяют составить целостную картину того, как обстоят дела в современной детской литературе. А необходимость говорить с подростком о литературе, в которой главный герой его ровесник, есть.

В этом номере мы рассказываем о книгах детских писателей, произведения которых публиковались на страницах нашего журнала. Все эти книги вышли в 2011 году. И здесь же небольшой новогодний подарок — стихотворения Анны Игнатовой, Аи эН и рассказы Тамары Михеевой, Натальи Дубиной, Екатерины Каретниковой и Ольги Колпаковой.

Если бы я был учителем. — Москва: «Махаон». Для младшего и среднего школьного возраста.

Сборник произведений о школе, название которому дала повесть Наталии Соломко «Если бы я был учителем».

«А я иду в школу... Кто бы знал, как мне туда неохота!» — делится с читателем своими мыслями второгодник Митюшкин. У него все плохо, мама в больнице, отца нет, учительница только и знает что возмущаться. Митюшкин прикидывается болваном, в школе он вредный и хулиган, в школе он врун и злюка. Но он никому не показывает, что ему стыдно за это. Просто школа... Она такая... А какая она должна быть? Об этом герой пишет в сочинении...

Кроме повести Наталии Соломко в книгу вошли веселые рассказы о школе В. Драгунского, К. Драгунской, В. Голявкина, М. Москвиной, О. Колпаковой, И. Пивоваровой и других.

Анна Игнатова. О слонах, троллейбусах и принцах. — Москва: «Оникс». Серия «Лучшее — детям». Для школьного возраста.

В стихах Анны Игнатовой много юмора, они просты и понятны детям.

Из предисловия поэта Михаила Яснова к книге: «О чем эта книжка? Вы сразу же ответите: «О слонах, троллейбусах и принцах! Так написано в заглавии». Это правда. Но еще и о воронах, рыбах, драконах, о снежном человеке йети, о Деде Морозе, Снегурочке, гномах и о совершенно невероятных животных, которые на самом деле существуют на свете».

Екатерина Каретникова. Зимняя сказка. — Москва: «Фома». Серия «Настя и Никита». Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Эта зимняя, заснеженная, очень добрая сказка переносит читателя в опустевший дачный поселок, где мерзнет и грустит бездомный котенок. И кажется, уже никто не может ему помочь. Но как это бывает на Рождество, начинают происходить неожиданные события и настоящие чудеса.

Ольга Колпакова. Детский травник. — Москва: «Белый город».

Читатель найдет ответы на множество вопросов: почему трава зеленая, на всех ли планетах она такая, почему цветы пахнут и как растения лечат. «Детский травник» издается в серии «Моя первая книга» и предназначен для детей дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому он содержит множество цветных иллюстраций. В качестве дополнения к тексту в книге использованы народные песни, пословицы, скороговорки, загадки и стихи известных русских поэтов.

Ольга Колпакова. Бука сама боится. — Екатеринбург: «Пре-пресс-бюро «Генри Пушель». Для младшего возраста. (Книга издана при поддержке Министерства культуры и туризма Свердловской области.)

Цикл сказок для детей и родителей, которые так приятно читать вслух. Очень весело и полезно. В книге рассказывается, как Бука, похожая на любого ребенка, учится себя вести.

Ольга Колпакова. Йо-хо-хо. Веселый учебник для пиратов и журналистов младшего возраста. — Екатеринбург: «Пре-пресс-бюро «Генри Пушель». Рекомендован как приложение к программе по масс-медиа (доцент кафедры периодической печати М.Ф. Попова, факультет журналистики, УрГУ).

Для детей, которые пытаются сочинять и писать, для учителей начальной школы и для руководителей юнкоровских студий. А также для всех семей, где много смотрят телевизор и мало читают. Пособие написано в виде веселых приключений пиратов, к нему даны справочные материалы для ребенка и отдельно пояснения для взрослого.

Светлана Лаврова. От пещеры до небоскреба. — Москва: «Белый город». Серия «Энциклопедия тайн и загадок».

История человеческого жилища с первобытных времен до наших дней. Дом — это маленький мир, где мы живем. Он немножко отгородился от Большого Мира, чтобы охранить нас от неприятностей вроде дождей, ветров, саблезубых тигров и грабителей. Он дает не только тепло, но и чувство безопасности. Наши предки это давно поняли. Не зря тысячи лет люди разных народов создавали свои дома по образу и подобию того мира, в котором жили.

Светлана Лаврова. Военные тайны. — Москва: «Белый город». Серия «Энциклопедия тайн и загадок».

Необычные и малоизвестные странички военной истории: где были воины с косичками, зачем гусару крылья, а солдату хвост, кто стрелял из галстука, зачем нужны боевые тараканы, что было бы, если б Александр Невский хуже сражался, и прочее.

Светлана Лаврова. По одежке встречают: одежда народов мира. — Москва: «Белый город». Серия «Энциклопедия тайн и загадок».

Эта книга — веселые фрагменты истории одежды: во что одевались эльфы? почему славяне не носили римскую тогу? почему у ведьмы из «Огнива» передник клетчатый? что означает «нахальная» юбка? откуда на юбке взялся разрез? когда трусы носили поверх брюк?

Светлана Лаврова. Год Кота. — Екатеринбург: «Сократ». Для среднего и старшего школьного возраста.

Первая повесть («Котенок по рецепту»), забавная и немного грустная, о том, как дети пытаются решить свои проблемы с помощью волшебного котенка, однако решать приходится самим, и волшебство помогает лишь отчасти... Вторая повесть («Про Касю и нечистую силу») — без поучений

и морали, но в веселой сказке красной нитью проходит тема выбора своего дела, своей профессии, а это нелегкая проблема.

Светлана Лаврова. Замок графа Орфографа. — Москва: ИД Мещерякова. Для среднего школьного возраста.

Занимательная и смешная орфография, больше сказочная повесть, чем учебник: в замке графа Орфографа все время что-то происходит: то рыцарский турнир, то поход на дракона, то таинственная кража, то козни злого мага... но главное — постижение орфографических правил, которые, оказывается, могут быть не скучными, а веселыми.

Светлана Лаврова. Славянская мифология. — Москва: «Белый город». Для среднего и старшего школьного возраста.

Славянским языческим легендам и сказаниям не повезло так, как, например, язычеству скандинавских стран. Когда на Руси появилась письменность, народ уже не помнил подробностей древних легенд. Остались обрывки, короткие упоминания — и отразились в нашей повседневной речи, манере одеваться, обычаях. В этой книге без излишней морализации невзрослому человеку показано, что история его страны — это история великого народа.

Светлана Лаврова. Три дня до конца света. — Екатеринбург: «Сократ». Две повести для среднего и старшего школьного возраста.

В повести «Три дня до конца света» дело происходит в Аркаиме. О «благополучном» и даже забавном конце света в 2012 году. Вторая повесть — «Звон колокольчиков в пустом небе». В клуб «Мусубикан», где занимаются восточными единоборствами, приходят подростки, которых не устраивает сегодняшняя реальность, которые не могут найти себя среди «нормальных» сверстников. Что это — уход от реальности в совершенно чуждую культуру Японии?

Светлана Лаврова. Потешные прогулки по Уралу. — Москва: «РИПОЛ-классик». Для младшего школьного возраста.

Замечательные картинки и короткие смешные рассказики на тему истории и географии Урала.

Юрий Лигун. Карасенки-Поросенки. — Москва: «Никея». Рассказы для детей и взрослых.

Два слова от автора: «Про книгу рассказывать — все равно что показывать фокусы по радио. Книгу надо читать! Я писал ее прежде всего для себя, потом, когда появилось несколько рассказов, мне показалось, что они будут интересны моим друзьям. А сейчас их с удовольствием читают и дети, и взрослые».

Юрий Лигун. Илья Муромец и Сила Небесная. — Киев: «Послушник». Современная детская повесть-сказка.

Герой романа — обыкновенный современный мальчик Илья Ножкин, на долю которого выпали необыкновенные испытания. Однако именно они дали ему уникальную возможность пройти по стопам своего тезки — богатыря-монаха Ильи Муромца. На страницах книги читателя ждет немало неожиданных поворотов, ярких приключений, грустных и забавных ситуаций, а древняя история Святой Киевской Руси предстанет так, словно все происходило вчера...

Тамара Михеева. Не предавай меня! — Москва: «Аквилегия-М». Повесть для подростков.

О том, что она аутсайдер, Юля Озаренок узнала случайно, услышав обрывок разговора классной руководительницы и школьного психолога. С этого и начались ее несчастья. «Не предавай меня!» — повесть реалистическая, и Юле во всем придется разбираться самой, никакая магия тут не поможет. Разве что только магия настоящей любви и дружбы.

Каменный пояс России: Путешествие по Уралу с детскими писателями. — Екатеринбург: «Пре-пресс бюро «Генри Пушель». (Книга выпущена при поддержке Министерства культуры и туризма Свердловской области.) 128 полноцветных, прекрасно иллюстрированных страниц.

Каждая статья книги — это отдельное приключение. Читать ее будет интересно и детям, и взрослым. Авторы сборника — лучшие уральские детские писатели — рассказывают только о тех местах, которые любят, где были сами, удивляя читателя необычными фактами и заражая своей страстью к путешествиям, любовью к родному краю.

Олег Раин. Человек дейтерия. — Екатеринбург: «Сократ». Две повести о подростках.

В повести «Остров без пальм» девочка Ксюша расстается с мамой и младшим братом, а вскоре понимает, что может потерять и свою маленькую родину — поселок у моря. Героиня проявляет характер и начинает бороться. В повести «Человек дейтерия» Гриша Крупицын ощущает себя человеком-невидимкой. Тем самым, которого не замечают окружающие, с кем глупо считаться и о кого запросто можно вытереть ноги. Возможно, посчитав количество изгоев и белых ворон, давно пора встревожиться и призадуматься. Это нам и предлагает автор повести. Для того чтобы выйти из тени, нужны силы. А что делать, если их нет? И вот тогда судьба делает Грише Крупицыну подарок: рядом появляется друг — настоящий, помогающий открыть в себе личность и стать интересным человеком.

Николай Шилов. Азбука, которую можно петь. — Челябинск: «Music Production international».

Это цикл песенок, каждая из которых посвящена букве. А вместе — это маленькие истории про детей, зверей, птиц и насекомых.

Николай Шилов. Позапрошлый ветерок. — Челябинск: «Music Production international». Нотное издание. Целевое назначение: Уч.-метод. пособие д/ прочих видов обучения.

Книга написана в январе 2011 года и посвящается памяти Н.П. Шилова. В нее вошли 25 песен на его стихи. Веселые и грустные, озорные и трогательные.

Ая эН. Библия в SMS-ках. — Москва: «IRISBOOK». Книга-победитель конкурса «Книгуру» (2-е место).

Замечательная и богатая бабушка Вигнатя, которая слегка слетела с катушек и собирается оставить наследство не своим родным внукам, а невесть какому «сиротинушке»; ее замечательные внуки Макс и Ева, а также их друзья, подруги, родители, одноклассники и коллеги; совершенно не знакомые ни с бабушкой, ни с внуками братья Салим и Стасик из маленького далекого села, а также их родственники, знакомые и незнакомые личности; два дома; несколько самолетов; американские близняшки; а также совершенно случайные интернет-персонажи и их жизнь. Что их всех связывает, при чем тут Библия, да еще и в SMS-ках? Прочтите роман, тогда и узнаете...

Анна Игнатова

***

Чисто в нашей с дедушкой избушке.
Стол накрыт, давно готов обед.
Холодец, румяные ватрушки...
На дверях две елочных игрушки
Прозвенят, когда вернется дед.

С дедом мы вдвоем живем, как в сказке,
В окруженье елок и берез.
Звери к нам приходят без опаски.
Ведь гостей всегда встречаем лаской
Я и добрый Дедушка Мороз.

Мама?.. Мама — туча снеговая.
Дочку любит. Никаких обид.
Иногда, над лесом проплывая,
Землю белым пухом укрывая,
Ласково снежком припорошит.

Папа есть. Но папа — ветер в поле.
Звать — Борис. А может быть, Борей...
Мы вчера ветра учили в школе.
По отцу Бореевна я, что ли?
Папа, где ты? Прилетай скорей!

Смысла нет ни плакать, ни сердиться,
Ведь никто ни в чем не виноват.
Мама — туча, ей же не спуститься,
Ветру в поле не остановиться...
Даже если очень захотят.

О своих родителях летучих
Я худого слова не скажу.
С дедушкой живем — не надо лучше!
....
Кажется, сегодня небо в тучах?
Побегу на маму погляжу...

Ая эН

Декабрьское

Его на свете нету
и не было ни разу.
А я ему в подарок
нарисовала вазу...

Я так стихи учила
и елку наряжала!
Я так сестренку Настю
почти не обижала!

...Перестаю в чулане
быть маленькой ребенкой...
Я справлюсь, но зачем вы?
Зачем вы... так... с Настенкой?

Тамара Михеева

Елочная история

Сегодня особенный день. Сегодня родители достают и собирают елку. В этот день они всегда ссорятся. Елка хорошая, пушистая, и очень похожа на настоящую, даже не догадаешься, пока не потрогаешь иголки. Но, собрав ее, мама все равно вздыхает:

— А живая была бы лучше...

Три года назад папа вдруг понял: лесов на земле становится все меньше, а человечество каждый год вырубает тысячи деревьев, чтобы позабавить себя несколько дней.

— Это же специальные елки! Лишние! Их вырубают, чтобы лес лучше рос! — говорила ему мама.

— Вырубленный лес лучше расти не может! — упрямился папа. Он решил начать борьбу за сохранение «легких планеты» и в тот же день пошел и купил искусственную елку. Она была очень дорогая. На нее ушла половина папиной зарплаты, и на целый месяц вся семья осталась без мороженого. Это мама тоже ему напоминала каждый раз, когда елку собирала.

— Все равно их срубят, не мы, так другие купят!

— Пусть. Но наша семья в этом участвовать не будет.

С каждым годом мама спорила все меньше, только вздыхала:

— А живая елка пахнет лесом и праздником... Детством...

— Живая елка растет в лесу. А в доме елка — мертвая.

И папа пошел и купил пихтовое масло.

Гошка с папой согласен. Ему нравились, конечно, настоящие елки, их теплые иголки, запах коры... Но праздники заканчивались, и остовы выброшенных елок напоминали скелетики, скукоженные на снегу. Гошка всегда пробегал мимо них побыстрее.

Украшали елку все вместе, даже Никитка и Соня. Папа доставал коробку с хрупкими елочными игрушками, подавал их маме, а она, стоя на стремянке, вешала их на верхние ветки. Гошка украшал серединку, а Соня и Никита — нижние ветки. Мама любила шары. Гошка — собак и колокольчики. А Соня и Никитка — все подряд. Поэтому елка получалась трехслойная.

Гошка с первого года, как появилась у них эта елка, заметил что-то неладное. В первый год очутились на елке имбирные пряники в золотой бумаге со звездами, такие вкусные, что можно штук сто за раз съесть. А родители клянутся, что они не покупали! И главное: съедят Соня с Никитой все до одного, а наутро новые на ветках появляются, будто вырастают!

А на второй Новый год у папы сломалась гирлянда, и папа никак не мог ее починить. Паял, паял, а все без толку. И как назло, из магазинов пропали все гирлянды! Папа совсем отчаялся, а мама сказал:

— Ну, пусть просто так висит...

И повесила ее на елку. И — честное слово! — даже не включила в розетку, Гошка точно видел! А гирлянда все равно загорелась. И мама сказала:

— Вот что значит — ласковые женские руки!

И в этом году Гошка тоже ждал чего-нибудь такого, особенного.

Он шел из школы радостный. Последний учебный день все-таки! И сегодня они все вместе пойдут в игрушечный магазин — покупать елочную игрушку. Каждый свою. Это у них традиция такая. Мама купит шар, Гошка — собаку, а если не найдет, потому что елочные собаки очень редко встречаются, то колокольчик, папа — еще одну гирлянду, а Соня и Никита какую-нибудь ерунду.

Гошка шел и мечтал. И вдруг встретил его. Пес посмотрел на Гошку и опустил, отвернул голову. Гошка присел перед ним на корточки, погладил, потом подумал, что псу неприятно так — влажной варежкой, — снял ее побыстрее и погладил еще раз. Гошка пошел домой, а пес пошел за ним.

Гошка мечтал о собаке. Родители собаку не разрешали. Они были умные и хорошие, но почему-то именно с собаками вышла загвоздка: не хотели Гошкины родители собаку. Гошка шел домой. Уже не очень радостный. Потому что пес шел за ним. И было холодно. И бросить пса на улице Гошка не мог, а ссориться с родителями под Новый год... ну, сами понимаете...

Дома еще никого не было, и Гошка спрятал пса под своей кроватью.

— Сиди, ну, пожалуйста, сиди тихо!

Гошка побежал на кухню за колбасой, которую мама купила на праздничный салат. Мама его просто убьет за колбасу! И отправит покупать новую палку, а он стесняется, колбасы много, попробуй выбрать, он всегда так долго думает, и продавцы нервничают и говорят сердито:

— Тебе чего, мальчик?

А ему колбасы. Самой вкусной. Для самой лучшей собаки на свете. Думаете, Гошка первый раз собаку домой приводит? Нет, это, наверное, пятая. Или даже шестая. Только ему никогда не везло. Обычно или мама, или папа были дома и говорили:

— Ой, какое чудище! Вот дай ей котлетку в подъезде... Нет, солнышко, ну куда такую образину в квартиру? Нет-нет-нет, не может быть и речи!

Собаки съедали котлеты на площадке, полдня ждали, а потом уходили. Гошка плакал. А мама и папа говорили правильные слова.

Только сегодня их дома не было! И Гошка с собакой прошли в квартиру! И съели всю колбасу! И пес был совсем не «образина» и не «чудище», он был как с картинки! Рыжий и кудрявый! Только грязный.

К приходу мамы Гошка приготовился. Он вымыл пса, расчесал, подмел пол, помыл посуду, обед подогрел... Но когда раздался звонок, все-таки спрятал пса под кровать. На всякий случай.

— Ой, какой день сегодня хороший, просто прелесть, морозец такой, самый новогодний! Слушай, Гошка, я знаю, что традиция и все такое, мы все вместе ходим за игрушками, но просто не удержалась, такой шар в витрине увидела... ты только посмотри!

Мама достала из сумки елочный шар. И правда необыкновенный. Это был даже не совсем шар, а очень пузатый попугай, ало-золотой, с умными черными глазами.

— Прелесть, правда? — прошептала мама Гошке в ухо. — Я таких никогда не встречала... Будто живой, будто взмахнет сейчас крыльями и полетит...

Мама любила птиц. Но от них дома было мусорно.

— Так! — сказала мама весело. — Последний день старого года! Гошка, ты просто обязан убраться в своей комнате! И особенно под кроватью, там у тебя такая свалка!

Знала бы мама!

Пришел папа вместе с Соней и Никитой, они, оказывается, тоже уже купили игрушки.

— Гошка, ну сбегай один за своей игрушкой, раз такое дело...

«Странный какой-то день», — подумал Гошка и решил признаться.

— Ага, я сейчас... — пробормотал он и пошел к себе.

Он откинул одеяло на кровати, сказал:

— Вылезай.

Но там было тихо. Гошка наклонился — пса под кроватью не было.

— Ой, какая! — воскликнула Соня. — Мама, мама, а Гошка уже купил игрушку, смотри!

В руках Соня сжимала стеклянную елочную собаку, рыжую и кудрявую.

— Ой, какая прелесть! В этом году какие-то необыкновенные игрушки! Вы моего попугая видели? Как живой!

— И моя черепаха живая! — сказал Никита.

— И рыбка моя!

Гошка забрал у Сони свою игрушку, грустно повесил ее на елку. Что он, сумасшедший, что ли? Вон тряпка мокрая, и за колбасу ему еще попадет...

Вечером все сидели за столом.

— Что-то Гошка у нас расстроенный, — прошептала мама папе. Папа рассеянно плечами пожал. Он в этом году не купил гирлянду. Почему-то ему показалось, что они на змей похожи, а змей папа боялся.

Начали бить куранты. Пора было дарить подарки и поздравлять друг друга. Но с последним ударом часов с елки вдруг сорвалась Гошкина сегодняшняя елочная собака. Он видел, как она летела на пол, еще секунда — и одни осколки останутся. Рыжие и кудрявые. Гошка зажмурился.

— Бр-р-р! — услышал Гошка папин голос. Будто он головой мотал, пытаясь стряхнуть наваждение. А потом в Гошкины колени ткнулся мокрый нос. Гошка осторожно открыл один глаз и увидел рыжее и кудрявое, а потом еще умные карие глаза, а потом пес положил лапы ему на колени и тихонько тявкнул.

Родители долго удивлялись, охали, ахали, не могли понять, но никто, конечно, не мог сказать про чудесную новогоднюю игрушку, что это «чудище» и «образина».

— Ладно, — вздохнула мама, — пусть остается, все-таки Новый год. Но имей в виду, Георгий, что гулять и убирать за ним будешь сам!

— Буду! — не веря своему счастью, сказал Гошка.

И в этот же миг с ветвей елки сорвался ало-золотой живой попугай.

Наталья Дубина

Сансевьера

Гришка задумчиво водил влажной кисточкой по носу. Кисточка пахла медом и еще чем-то непонятным. Еще Гришка рассматривал свой локоть. К нему пристало конфетти, и Гришка мысленно его отцарапывал.

— Гришунь, ну ты что застыл? — спросила мама. — Докрашивай. У меня вот фонарик готов. Я даже окошки нарисовала, пусть будет как дом. Ты чего?

Гришка опомнился, растерянно посмотрел на маму и закивал:

— А. Ага. Щас, — обмакнул кисточку в краску и стал поспешно разрисовывать гирлянду. — Вот смотри, тут я, для тебя специально, паука нарисую, а тут — жука и гориллу. Ну, и трактор. И многоэтажку. Ну, если поместится. И барана какого-то нарисую. Еще не знаю что.

— Подожди-подожди, — сказала мама. — Посмотри-ка на меня. Чего весь нос оранжевый? Смешно, конечно. Но давай, сбегай умойся.

— Раз смешно, то можно и не умываться, — хихикнул Гришка и стер футболкой с носа краску. Мама посмотрела недовольно, а он добавил: — А что, футболка у меня тоже оранжевая. Все нормально.

Гришка снял с локтя конфетти и положил его на мамину голову.

— Украшения начинаются! — весело крикнул он.

— Гришунь, хватит баловаться, — попросила мама. — Давай дораскрашиваем, потом украшать.

К Новому году они с мамой всегда готовились основательно. Разукрашивали окна, развешивали снежинки, гирлянды, лепили снеговиков из пластика. Вот только с елкой была проблема. Точнее — елки не было совсем! Ни настоящей, ни пластмассовой. Вместо нее была сансевьера. Они как-то специально с мамой отыскали настоящее название этого растения, и оно оказалось живым, веселым, каким-то итальянским — как раз для Нового года! Сансевьера длинными тонкими перьями тянулась прямо до потолка. На нее вешался дождик и бумажные игрушки, и она была как будто елка.

Кто знает, может, этот цветок и был елкой в душе, но на вид это была сансевьера сансевьерой. И хвоей не пахла. И Дед Мороз у цветочного горшка смотрелся нелепо. И Снегурочка была этому как-то не рада. Но маме нравилось. Гришке тоже нравилось — раньше. Но вот в этом году... В этом году хотелось настоящего Нового года!

— Мам, — сказал Гришка, перекладывая гирлянды с места на место. — Может, ну ее, сансевьеру. Все сансевьера и сансевьера, растет и растет. А мы ее украшаем и украшаем.

— Замечательно, — невесело сказала мама. — И что ты предлагаешь?

— Догадайся с трех раз, — хитро прищурился Гришка.

— Не украшать сансевьеру? — спросила мама.

— Украшать елку, — кивнул Гришка. — Молодец, ты почти угадала.

— Ну, Гриш, — огорчилась мама. — Я уже к сансевьере привыкла.

— Ну, мам...

— Гришунь. Не капризничай. Ты что, маленький, что ли?

Гришка ничего не сказал, а только выпятил нижнюю губу и отвернулся. Что тут скажешь? Разве что можно ногтем в обоях процарапывать обиду. Но что это изменит?

Мама посмотрела на него и вздохнула. Из открытой форточки дул ветер, покачивал перья сансевьеры, шевелил бумажные украшения на полу.

В окно заглядывали предновогодние снежинки и тут же исчезали. Мама достала большой пакет.

— Гришунь, — сказала она. — Собирай сюда украшения.

— Зачем? — обиженно спросил Гришка.

— Подождет наша сансевьера. Для нее завтра украшения сделаем. Давай без разговоров. Собирай и сам собирайся. На улицу. Только мигом, ладно?

— Хорошо...

Он поспешно оделся, надвинул на глаза шапку и постучал варежкой о варежку. Мама осторожно взяла шуршащий пакет и открыла двери.

Гришка шел, аккуратно оставляя свежие следы на нехоженом снегу, и время от времени оглядывался на маму. Мама шла следом и наступала на Гришкины следы.

— Мам! — возмутился Гришка. — Не порть!

— Какой капризный, посмотрите на него, — усмехнулась мама и послушно пошла рядом.

Людей почти не было. А те, которые попадались на пути, были какими-то предпраздничными и почти ненастоящими. Некоторые из них несли елки. С елок сыпалась хвоя и тонула в глубоком снегу.

В парке было пустынно. Они с мамой уходили вглубь, продираясь через заросли. Вдруг на их пути появился мужчина в камуфляже.

— Елку рубить? — гаркнул он.

— Руками, что ли? — удивилась мама. — Гуляем.

— Ну, гуляйте, — согласился мужчина.

Начинало темнеть, и мама включила яркий фонарик. Гришка смотрел по сторонам и стряхивал с веток снег. На варежках налипли снежные комки, снег забивался в сапоги, и Гришка его время от времени выковыривал.

— Запомнил, как мы шли? — спросила мама, и Гришка кивнул. — Теперь выбирай себе елку.

— Рубить? — удивился Гришка.

— Украшать, — сказала мама. — Дома будет сансевьера. А в парке — твоя собственная елка.

— Понятно, — недоверчиво сказал Гришка и осмотрелся.

Он не понимал, что было не так. И мысль украсить елку здесь была хорошая. И мама молодец. Но... Он вспомнил, что дома осталась сансевьера. Обычная, непраздничная. И вспомнил, как она превращалась каждый Новый год...

Елки были красивые, пушистые, невысокие — как раз новогодние. Гришка обошел их. Небольшая группа елок росла по кругу, а в центре, как будто внутри хоровода, рос куст. Обычный куст, невысокий, ничего такого особенного. Голые ветки и несколько не отвалившихся листьев — как будто бумажные игрушки.

— Мам! — звонко крикнул Гришка. — А давай этот куст нарядим! Ну, пожалуйста!

Мама подошла поближе и посмотрела на куст.

— Смешно, конечно, — пожала плечами мама. — Давай.

Да, дома у них была сансевьера, и сансевьера была елкой. А в парке у них был куст, и он тоже становился елкой... В ветки Гришка воткнул фонарик, и он освещал разукрашенные акварелью гирлянды, игрушки, самолетики, снежинки... Гришке хотелось петь и прыгать, но он молчал, улыбался, иногда счастливо поднимал вверх голову и ловил лицом снежинки.

— Лови! — весело сказала мама.

Гришка подпрыгнул, но случайно отбил игрушку рукой, и та улетела дальше, в еловые заросли...

Он вылез из-под елок, держа в руке игрушку. Гришка весь был усыпан колючими иголками и пах хвоей. Мама улыбнулась и намотала на него последнюю гирлянду.

Всю жизнь

Витка и Валик стояли у окна и смотрели, как падает вечерний снег. Витка влезла с ногами на подоконник, встала в полный рост и уткнулась носом в стекло. Она слегка склонила голову набок, посмотрела на Валика и хитро улыбнулась:

— Спорим, мы будем стоять тут всю жизнь и смотреть, как падает снег?

— Спорим, — кивнул Валик. — Ни за что не будем. Сейчас досмотрим и уйдем.

В комнате замигала и погасла лампочка. Стало темно и почему-то тихо.

— Как же мы досмотрим, — шепнула Витка. — Когда он все не заканчивается и не заканчивается.

Валик повозил пальцем по стеклу, собирая капли.

— Подумаешь. Закончится когда-нибудь.

— Когда? — грустно спросила Витка и отвернулась.

Валик взглянул на Витку. Она казалась похожей на скульптуру, какую-нибудь «Девочку в окне, глядящую на снег», вечную, неподвижную и настоящую. А потом снова стал смотреть в окно. Совсем близко подлетали снежинки, разные — большие и маленькие, детские и взрослые, красивые и просто...

— Не знаю, — пожал плечами Валик. — Наверное, никогда.

— Вот видишь, — сказала Витка и шумно спрыгнула на пол. — А ты еще спорил.

Надо же...

Митька впервые встречает Новый год вместе с родителями. Раньше он был совсем маленьким и рано засыпал.

А сегодня он с утра нетерпеливо бегает по комнатам и пристает к родителям.

— Мама, скоро?

— Нет, — говорит мама, помешивая еду в сковородке. — Не мешайся.

— Это ты еде говоришь?

— Это я тебе говорю.

Митька опускает голову, сует руки в карманы и бредет к папе.

— Пап, скоро Новый год?

— Нет еще, — говорит папа. — Имей терпение.

Митька громко вздыхает и снова идет на кухню.

Боязливо заглядывает маме под руку:

— Ну скоро, мам?

Мама улыбается:

— Не скоро еще, Митенька. Еще только утро. Постарайся об этом не думать. Когда будет скоро, я скажу.

Митька угукает и снова идет к папе.

— Так что, правда еще не скоро?

— Не скоро, не скоро, — нервно говорит папа, сметая остатки разбившейся игрушки. — Помолчи, а?

Митька кивает.

Теперь ему все ясно. Новый год приходит к тем, кто: не мешается, имеет терпение, о празднике не думает да еще и молчит.

Значит, в этом году ждать Нового года просто бесполезно!

Заблудился

В один год Новый год заблудился в лесу.

— Куда идти? — растерялся он. — Направо или налево? Налево или направо? Взад или вперед?

Неизвестно!

Тут он вспомнил, что север и юг по мху можно определить, и стал разглядывать деревья. Стало ясно, где север, а где юг! Только куда идти? На север или на юг? На юг или на север? На запад или на восток?

Непонятно!

Новый год задумчиво постоял посреди леса, а потом решил: какая разница, куда идти, если все равно придешь ВСЮДУ!

И пошел к одинокому лесному домику, в котором светилось окно.

Ольга Колпакова

Следующий!

Главные специалисты по волнениям — бабушки. Но и Даша в этот раз уступать не желала. Как Дед Мороз проберется на девятый этаж? В форточку? А если подарок большой, то ведь застрянет. Или на лифте? А если лифт сломается? А если Дед Мороз не успеет — ведь на свете такая куча детей? И вот сначала она хотела часы. Написала письмо, положила в морозилку — письмо исчезло. А затем она захотела ролики. Написала еще одно письмо, и оно исчезло из холодильника. Так как он решит, что выбрать? Возьмет подарит часы, а Даша уже больше хочет ролики. Или подарит ролики, когда так нужны часы... На всякий случай про свои новогодние желания Даша рассказала всем вокруг. Вдруг Деда Мороза вообще не бывает...

Даша сделала Деду Морозу подарок: гравюру на пластилине, если он придет, когда она спит. И новую пьеску Наседкина «Птичий базар», если он появится живьем и спросит: «Ну, девочка, как ты себя вела?» Даша сразу ответит: «Я выучила новую пьесу».

В общем, Даша по-настоящему волновалась, хотя опять же по-настоящему в Деда Мороза не верила. Еще в прошлом году она обнаружила, что Дед Мороз был в дяди-Мишиных ботинках. Она-то точно знала, Деды Морозы ходят в валенках. Ну, если они, конечно, существуют.

Даша видела, что даже папа с мамой о чем-то волновались. Как оказалось, тоже о Деде Морозе.

— Миша, кажется, не может, — говорил папа, — приболел.

— Колобовым я тоже звонила, у них машина сломалась, — шептала мама. — Дедушка?

— Дедушка на дачу уезжает...

Один только Илья ни о чем не беспокоился. Желание у него было одно — большая машина. Подарок он тоже сделал. Вообще-то он рисовал светофор, но получилось удивительно похоже на Деда Мороза. Вот шапка. Вот борода. Вот красивые блестящие красные глаза. Илья даже два номера художественной самодеятельности приготовил. Стихотворение выучил. А если его спеть, то получится песня.

В пять часов вечера Даша уже не могла терпеть. Ходила по коридору вдоль двери, чтобы не пропустить, как Дед Мороз постучится.

— Тук-тук-тук!

Даша сначала бросилась к маме, затем к Илюшке с папой, затем к двери.

— Кто там? — делово спросил Илья. А папа дверь открыл. В квартиру вошел Дед Мороз. С густой заснеженной бородой. В синей вышитой шапке. Немного сгорбленный.

— Ох, кое-как к вам добрался, устал очень, — окая, сказал дедушка. — Пробки на дорогах.

Мама принесла дедушке стульчик, и он сел, старательно пряча обувь под шубой.

— Тут, что ли, живут самые послушные дети в России?

— Да. Тут, — серьезно ответил Илья. — Слушай стишок. — Илья оттараторил стих.

Дед Мороз вытащил из мешка огромную коробку. Тут и Даша заторопилась. Сыграла «Птичий базар», спела песню и получила свой подарок. Дети еще немного из вежливости постояли возле Деда Мороза и помчались в комнату открывать коробки. Даше Дед Мороз принес ролики, а Илье машину мусоровоз.

Не успели они хорошенько разобраться с механизмом разгрузки-загрузки мусора, как...

— Тук-тук-тук!

— Кто это там? — открывая дверь, первым удивился папа.

В дверях стоял Дед Мороз. Другой.

— Здравствуйте! Здесь ли живут двое послушных деток? — весело спросил Дед Мороз. Папа кивнул головой.

Дети выстроились напротив нового Деда Мороза.

— Да. Здесь, — делово ответил Илья. — Слушай песенку. — И он спел свое стихотворение про Деда Мороза, который живет в холодильнике.

Дед Мороз вытащил из мешка коробку и протянул мальчику.

Даша тут же засуетилась, отбарабанила «Птичий базар» в два раза быстрее положенного, сообщила, что научилась вышивать крестиком, и получила свою коробку. Но потом у нее вдруг появилось подозрение, что, может быть, этот Дед Мороз перепутал адрес, вдруг есть еще на свете другие двое послушных деток.

— Меня зовут Даша. А его — Илюша, — сказала она Деду Морозу. — Это мы тебе письма про часы, ролики и машинку писали.

— Читал я ваши письма! Молодцы! Ни одной ошибки! — похвалил Дед Мороз, пожал папе руку, помахал маме и удалился.

В новых подарочных коробках оказались часы для Даши и бетономешалка для Илюши.

— Это, наверное, брат первого Деда Мороза, — предположила Даша. — Или дядя Витя. Голос немножко похож.

— Ты что! — возмутился Илья. — Это правда Дед Мороз! Я видел!

— Вот как хорошо быть послушными, — сказала мама, у которой камера в руке все еще немножко тряслась от смеха, — целых два Деда Мороза на Новый год приходят.

Уже пора было накрывать на стол. Вспорхнула скатерть с синими зимними домиками по краям. Снежинками прилетели белоснежные салфетки...

— Тук-тук-тук!

— Кто там?

Замерли в воздухе блестящие свечи.

— Да! Здесь живут! — закричал Илья в еще закрытую дверь. Глаза у него сверкали не меньше новогодних свечек. Дед Мороз небольшого роста стоял в проеме, постукивая по полу посохом.

Илья половину стихотворения продекламировал, а половину пропел.

Даша начала играть «Птичий базар», но цыплята в нем не желали прыгать и скакать, а, повернув голову в одну сторону, глазели на третьего Деда Мороза.

— Не могу, — сказала мама папе и отдала ему видеокамеру.

Дед Мороз непонимающе посмотрел на странное семейство, но подарки раздал.

— Я встретил по дороге тетю Лесю. Она к вам в гости собиралась зайти, — на всякий случай сообщил Дед Мороз и, озадаченный, ушел.

Какой веселый был Новый год! Целый воз подарков! Даша в роликах и костюме Снежинки сидела на диване. Кататься она не умела и, если куда нужно было пойти, перемещалась на четвереньках. Так же двигался и Илья, развозя на новом мусоровозе по квартире кучки мусора из фантиков. Потом был фейерверк. А потом Даша с Илюшей уснули.

— Дети! Дети! — слышали они сквозь сон. — Дед Мороз пришел!

— Завтра посмотрю... — перевернувшись на другой бок, пробормотала Даша. Но потом спохватилась, сползла с кровати и, прислонившись к стене, спела песню, лишь отдаленно напоминающую веселую хороводную.

С трудом приоткрыв глаза, Илюшка увидел в дверях четвертого Деда Мороза.

— Да, — сказал мальчик. — Хорошо себя вел. В холодильнике посмотри. Там Дед Мозор живет. У нас. Сейчас.

Пересказав своими словами стихотворение, Илья протянул руку за подарком и опять уснул.

Дед Мороз ужасно огорчился. Он ехал издалека, с самой дачи. У него был мешок подарков. А его так встречают: дети спят, а родители совсем сошли с ума — хохочут и не могут ничего сказать!

Дед Мороз все же оставил подарки, взял гравюру на пластилине и портрет светофора-Деда Мороза, выпил фужер шампанского и лег спать на надувном матрасе.

Утром Даша твердым шагом промаршировала к холодильнику. Она открыла морозилку и начала выкладывать пельмени, мороженые овощи и клюкву в пакетиках.

— Я так и знала! — сказала она, добывая конверт.

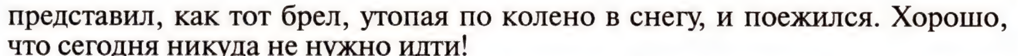
— Илья, слушай! «Дорогие мои Дашенька и Илюша! К сожалению, в этом году я смогу прийти к вам только самой поздней ночью. Столько много дел, столько много детей. А помощников среди людей у меня не очень много, ведь не каждый может работать помощником Деда Мороза! Не огорчайтесь, что не увидите меня. Меня никто не видел: перемещаться приходится очень быстро. Иначе я не успею разнести все подарки. Я знаю, что вы очень славные дети, помогаете маме, слушаетесь! Загляните под елочку! Ваш Дедушка Мороз».

Илья тут же пошел смотреть под елкой. А Даша отправилась в спальню, чтобы посмотреть в глаза родителям. Ведь она так и знала: настоящие Деды Морозы не носят ботинок, не говорят дяди-Витиным голосом и ростом не с тетю Лесю! И они не спят на надувных матрасах! Кого они хотели обмануть? Настоящие Деды Морозы невидимые! Вот ведь, русским языком написано!

Екатерина Каретникова

Новогодний квест

Снег шел всю ночь. Машины, припаркованные под окном, превратились в фигурные сугробы, а дорожка от подъезда до арки и вовсе бы исчезла, если бы не цепочка следов одинокого утреннего пешехода. Димыч



представил, как тот брел, утопая по колено в снегу, и поежился. Хорошо, что сегодня никуда не нужно идти!

Димыч стоял на кухне, облокотившись на подоконник, и смотрел на кружащиеся крупные хлопья. Хлопья напоминали то ли тропические цветы, то ли замерзшие игрушечные облака.

В доме напротив свет горел только в трех окнах. На шестом этаже он был желтым и теплым, на четвертом — голубоватым и ледяным, а вот на третьем... Окно на третьем этаже сверкало, искрилось и переливалось всеми цветами радуги.

«Наверное, уже елку нарядили, — подумал Димыч. — И гирлянды развесили с лампочками. Рановато. До Нового года-то еще три дня. И охота кому-то с утра пораньше любоваться разноцветными огоньками!»

Лично Димычу любоваться не хотелось. И думать про Новый год — тоже. Он даже решил, что не будет доставать с антресолей елку. Зачем? Если все уехали и он остался один?

Неделю назад мама с папой вернулись с работы с сияющими лицами.

— Димка, — с порога закричал папа, — мы едем в Финляндию! Сначала на два дня в Хельсинки, а потом в Лапландию! Представляешь? Встретим Новый год в гостях у Санта Клауса! А еще нам вручат диплом за пересечение Северного полярного круга.

— Здорово! — обрадовался Димыч.

— Выезжаем двадцать седьмого, — объяснила мама.

Димыч сразу же сник. Не мог он уехать из города двадцать седьмого. Никак не мог.

— Вы езжайте, — сказал Димыч, проглотив противный комок в горле. — А я останусь. У меня двадцать восьмого контрольная по алгебре.

— Что за глупости? — возмутилась мама. — Кто придумал эту контрольную перед самым Новым годом? Хочешь, я договорюсь в школе, и ты ее после каникул напишешь?

— Нет, мам! — аж подскочил Димыч. — Да я и ехать-то никуда не хочу!

Кто бы знал, чего ему стоили эти слова! Только не было у Димыча выбора. Потому что на двадцать восьмое декабря была назначена не контрольная, а переписывание контрольной. Для тех, кто не справился в первый раз и не хотел схлопотать «пару» за полугодие. А Димыч не хотел. И чтобы мама об этом узнала — тоже.

Уговаривать родителей, чтобы оставили Димыча одного, пришлось долго. Но все-таки у него это получилось.

Димыч отошел от окна и включил ноутбук. Контрольную он вчера написал. На пятерку. А теперь можно делать, что душа пожелает. Правда, душа больше всего на свете желала сейчас оказаться вместе с родителями в заснеженной Лапландии. Но это было невозможно.

Димыч загрузил сайт рыцарей Огненного меча и зашел на форум.

Рыцарем он стал в начале декабря. Правда, рыцарский орден был виртуальным, но разве в этом дело?

Сперва-то пришлось просто зарегистрироваться на форуме, потом рассказать о себе. А вот дальше началось самое интересное. Димыч играл с форумчанами по сети и раз за разом одерживал головокружительные победы. И неожиданно для всех, а особенно для себя, стал чемпионом форума. И тогда его посвятили в рыцари ордена Огненного меча. Вот только учебу Димыч подзапустил. А ту несчастную контрольную не написал с первого раза просто потому, что забыл подготовиться. Просидел до ночи у монитора и забыл. Если бы он знал, что все так повернется! Да он бы неделю компьютер не включал, лишь бы поехать с мамой и папой, а не сидеть одному дома.

В верхней строке мигнул конвертик с новым сообщением. Димыч навел мышку и нажал на конверт.

«Приветствую тебя, отважный рыцарь! Пусть твой Огненный меч не затупится и служит тебе верой и правдой! Твои заслуги велики, а о подвигах слава гремит повсюду. Но не хочешь ли ты вырваться из оков виртуальности и испытать свои силы в реальном деле?»

Ник автора сообщения — Фантом — Димычу ни о чем не говорил, но приветствие содержало тайный пароль ордена. Значит, это был кто-то из посвященных. Димыч задумался. О каком деле могла идти речь? Реальном рыцарском деле? Ему стало так интересно, что даже пятки вспотели.

Узнав о том, что рыцарь готов приступить к исполнению миссии хоть сегодня, Фантом заявил, что таймер включен, и выслал первую часть пошаговой инструкции.

«Отважный и благородный рыцарь! Завтра ровно в четырнадцать ноль-ноль Вам надлежит оказаться в подземном вестибюле станции метро «Проспект большевиков». Когда подойдет поезд, следующий к станции «Ладожская», зайдите в первую дверь четвертого вагона от головы состава. Встаньте лицом к двери и на стене справа найдите черно-белый плакат с фотографией енота. Отклейте его. В нем Вы обнаружите дальнейшие шаги инструкции. Расшифровав информацию, сожгите плакат, а пепел развейте по ветру. Это письмо, как и все предыдущие, уничтожьте. Не забудьте, что следует удалить не только личные сообщения на форуме, но и уведомления о них в Вашем почтовом ящике, а также очистить корзину.

Да помогут Вам силы Добра! Да будет Ваш Огненный меч верным помощником в правом деле!»

Димыч прочитал сообщение, распечатал его, чтобы ничего не забыть, и старательно уничтожил все следы переписки. Надо — значит, надо! Уж он-то понимает, что такое тайна рыцаря!

Когда Димыч проснулся, сердце тревожно билось, а на душе было муторно, как будто забыл сделать что-то важное. Он посмотрел на часы и чуть не взвыл. Это ж надо — проспал до двенадцати! А если он опоздает? От ужаса Димыч похолодел.

Наскоро умывшись и проглотив булку с чаем, он выскочил из квартиры.

Димыч мчался по узкой расчищенной дорожке, оскальзывался, взмахивал руками, но скорости не сбавлял.

В метро суетливо сновали люди, но их было немного, и ему не пришлось толкаться, ни влезая в вагон на своей станции, ни на переходе с «Садовой» на «Спасскую».

На «Проспекте большевиков» Димыч вышел, посмотрел на часы и бодро потопал к перрону напротив. До назначенного времени оставалось три минуты.

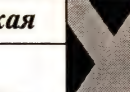
Поезд подошел, обдав ожидающих пассажиров мощной волной теплого воздуха. Димыч быстро отсчитал четвертый вагон и влетел в первую дверь. За ним, опираясь на палку, зашла старушка в зеленом пальто и берете.

— Вот молодежь! — проворчала она. — Мчатся сломя голову. Куда спешат? Зачем? С ног собьют и не оглянутся.

Димыч дернул плечом и отвернулся. Вот вредина! Чего ворчит, если он ее пальцем не задел? Ну, обогнал при входе. Что такого?

Двери закрылись, и вагон плавно въехал в туннель.

Димыч повернулся лицом к дверям. Так. Вот он, плакатик-то! Подобные самопальные плакаты Димыч не раз видел на автобусных остановках и в вагонах метро. В них защитники животных призывали не носить одежду из натурального меха и кожи. Енот на фотографии выглядел так трогательно,



что Димыч, когда ему выбирали зимнюю куртку, наотрез отказался от пуховика с капюшоном, обшитым желто-черным пушистым мехом.

Стараясь действовать незаметно, Димыч отодрал плакат от стенки.

— Ты что, бесстыжий, делаешь? — закричала «зеленая» старушка. — Люди печатали, вешали, а ты? Управы на вас нет! В мое время такого из пионеров исключили бы!

Димыч нервно хихикнул.

— Да он еще и смеется! — разошлась старушка. — Вот сдам тебя в полицию, будешь знать!

В полицию Димычу не хотелось совершенно. Он, конечно, не думал, что из-за дурацкого плакатика, повешенного, кстати, безо всякого разрешения, им займутся всерьез. Но кто эту бабулю знает? Вон какая злая! Скажет, что Димыч не плакат сорвал, а ее толкнул или ударил. А если плакат отберут? Проблем не оберешься.

Димыч решил схитрить.

— Извините, пожалуйста, — наклонился он к скандалистке. — Я, конечно, нехорошо поступил. Просто... Я его девчонкам из класса хотел показать.

Бабуля, явно не ожидавшая от Димыча такой реакции, взглянула заинтересованно.

— А то они, — продолжил Димыч, — каждый день спорят, у кого воротник больше или чья шубка дороже! Может, прочитают это и им стыдно станет? Неужели бедного енота не пожалеют?

— Голубь ты мой! — расплылась в улыбке старушка. — Покажи, покажи бесстыдницам!

Врать Димыч не любил и поэтому решил на самом деле показать енота кое-кому из одноклассниц. Если, конечно, уцелеет, выполняя миссию.

Пока Димыч ехал в метро, он осмотрел плакат с енотом сверху донизу. Сначала повернул его к себе обратной стороной, но там никаких надписей не нашел. Потом попытался читать слова на лицевой стороне всякими разными способами. Например, каждое задом наперед. Или составлял фразу из первых букв. В общем, много чего перепробовал, но получалась полная ерунда. Димыч задумался. Плакатик-то был стандартным. Сколько он таких видел в последнее время? То-то и оно, что много. Значит, в этом стандартном тексте ничего и не могло быть зашифровано! Его же давно составляли и, понятное дело, не для Димычевой рыцарской миссии. Искать инструкцию надо иначе.

Димыч погладил пальцами бумагу. Она была плотной, но не гладкой, а волнистой. «Наверное, от клея сморщилась», — решил Димыч. На мгновенье он удивился, что плакат волнистый целиком, хоть был приклеен к стенке вагона только за верхние уголки. Удивился и тут же забыл об этом, потому что поезд остановился на конечной станции.

Поднявшись по эскалатору, Димыч вышел на улицу. Солнце было таким ярким, что на глазах выступили слезы.

Димыч отошел в сторонку и поднял плакатик на свет. Эта идея тоже ни к чему не привела. Никакие скрытые знаки сквозь бумагу не просвечивали.

Димыч разозлился. Вот ведь невезуха! Сел, наверное, не в тот поезд. И плакат сорвал не тот, где была инструкция, а самый обычный.

В сердцах он скомкал бумагу и швырнул в лужу у дверей метро. Наверное, лужа была волшебной, потому что не замерзала никогда. Про нее даже в газетах писали.

— Люди добрые! — раздалось под ухом. — Вы смотрите, что делается! Мусорят посреди бела дня, и никто слова не скажет! Урна в двух шагах, а он...

Димыч оглянулся. Перед ним стояла старушка, точная копия «зеленой» скандалистки из метро. Только на этой пальто было синим, а вместо берета на глаза сползала вязаная шапка.

Старушка, заметив взгляд Димыча, надула щеки и пошла в наступление:

— А ну подними и выброси куда следует!

Больше всего Димычу захотелось послать ее куда подальше. Он даже рот открыл, но посмотрел на плакат в луже и замер. Намокшая бумага расслоилась и из одного листка превратилась в два. Димыч присел на корточки и осторожно потянул их к себе. Бабулька только диву давалась.

— Вот, правильно! — кивнула она наконец. — А теперь в урну отнеси!

Но Димыч ее не слушал. Он выудил оба листка, встряхнул их и, прижимая к груди, помчался к подъезжающему автобусу.

Дома Димыч разложил подсохшие листки на столе. На одном из них проступали бледные буквы. Димыч наклонился поближе. Так. Буквы латинские. Если читать по-русски, получается абракадабра, но это же... Немецкий!

Этого языка Димыч, конечно, не знал. Но когда он был маленьким, его мама собиралась устраиваться на работу в совместное российско-германское предприятие. Она ходила по дому в наушниках, выговаривала непонятные слова и повторяла вслух правила. С тех пор Димыч твердо запомнил, что существительные в немецком пишутся с большой буквы, а перед ними ставятся коротенькие слова-артикли die, der, das. Интересно, чем сейчас занимается мама? Катается с папой на снегоходе? Или получает именной диплом за то, что пересекла Северный полярный круг?

Димыч тяжело вздохнул.

Перевести текст с немецкого он не мог. Но ведь в его почтовой программе есть автоматический переводчик!

Димыч включил ноутбук и методично, проверяя каждую букву, набрал текст. Переводчик не подвел. Фразы, конечно, получились корявые, но общий смысл Димыч понял сразу.

Ему надлежало ровно в шесть вечера явиться в Аннинскую больницу, подняться в терапевтическое отделение, включить на мобильнике Bluetooth и выйти на черную лестницу.

Димыч задумался. Пустят ли его в больницу? Может быть, чтобы посещать пациентов, нужны специальные пропуска или еще что-нибудь? Хотя что толку гадать? На всякий случай Димыч отыскал в Интернете телефон справочного и позвонил.

— Здравствуйте, — сказал он, услышав приветливый женский голос. — Мой друг лежит у вас в отделении терапии. Можно мне сегодня его навестить?

— Конечно, — ответили Димычу. — Приемные часы с пяти до семи. Не забудьте взять бахилы.

— А пропуск? — уточнил Димыч.

— Пропуска нужны только для посещений в неурочное время.

Димыч перевел дух. Выходит, пока все просто.

В больницу Димыча пропустили без проблем. Только бахилы проверили. Он посмотрел на схеме, где находится терапевтическое отделение, и направился к лифту. В лифте вместе с Димычем поднимался веселый парень в костюме Деда Мороза.

— Простите, — спросил Димыч, — вы не подскажете, как попасть на черную лестницу?

Парень удивленно поднял мохнатые белые брови:

— А зачем тебе? Там вообще-то курилка. Больным, конечно, курить нельзя. Но сам понимаешь, силой не отучишь. А если место не организовать, будут где попало пристраиваться.

— Да я папу пришел навестить, — промямлил Димыч. — Позвонил ему по мобильнику, а он сказал, что ждет на черной лестнице, и отключился чего-то.

— Папа отключился? — хмыкнул парень.

— Мобильник, — объяснил Димыч.

— А, — покивал парень. — Ну-ну! На любом этаже пройдешь до конца коридора, и будет тебе черная лестница.

Лифт остановился. Димыч вышел и, изо всех сил стараясь не торопиться, побрел по длинному, украшенному бумажными снежинками и гирляндами коридору.

Черная лестница оказалась вовсе не черной, а светло-серой. На площадке, куда попал Димыч, никого не было. В воздухе плавали облачка табачного дыма. Димыч закашлялся, облизнул губы и достал мобильник.

Ровно в шесть часов экран загорелся. Димыч разрешил соединение с новым устройством, и минут пять телефон старательно принимал какую-то информацию. Когда экран погас, Димыч убрал трубку, потоптался еще немножко на лестнице и снова вышел в коридор.

Дома Димыч скачал полученный файл на ноутбук. Файл назвался «Кв_40». Димыч открыл его и присвистнул. На экране появился фрагмент карты города. В центре, на прямоугольнике, явно обозначавшем какое-то здание, светилась зеленая елочка. И все было бы хорошо и понятно, если бы не одно «но». На линиях-улицах не было названий.

Димыч почесал в затылке и зашел на сайт с планом Санкт-Петербурга. Квадрат за квадратом он изучал его до тех пор, пока не нашел точную копию своей безымянной карты. От радости Димыч хрюкнул, распечатал участок с названиями улиц и в нужном месте нарисовал елочку.

Место, помеченное елочкой, Димыч нашел без труда. Это был старый пятиэтажный дом. Куда идти, Димыч не сомневался. Зря, что ли, файл назывался «Кв_40»?

Димыч зашел в нужный подъезд и нажал на кнопку звонка сороковой квартиры. Ему не открыли. Димыч позвонил еще раз. И еще.

Он уже собрался уйти, как в квартире что-то зашуршало.

А потом все произошло так быстро, что Димыч не успел ни разглядеть, ни понять.

Дверь приоткрылась, и из нее высунулась огромная лохматая лапа, сжимавшая нечто, обернутое бумагой.

— Забирай, — просипел хозяин лапы и сунул Димычу сверток.

Димыч хотел спросить, что ему делать дальше, но обитатель квартиры то ли мяукнул, то ли кашлянул и захлопнул дверь.

Димыч повертел в руках то, что ему отдали. Сверток был твердым и тяжелым, словно в плотную бумагу упаковали деревянную коробку. Димыч оглушительно чихнул, высморкался и побежал вниз по лестнице.

«Наверное, внутри очередная инструкция», — решил он.

Дома Димыч развернул упаковочную бумагу. Никакой записки внутри не было.

Зато там была коричневая шкатулка с завитками на крышке. Димыч осторожно попробовал приподнять крышку. Не получилось.

Он вертел шкатулку и так и сяк, рассматривал вырезанные на крышке завитки под разными углами. Даже обнюхивал, как собака-ищейка. От шкатулки едва уловимо пахло лаком и деревом. И никаких значков, букв или чего-то другого, хотя бы отдаленно напоминающего зашифрованное послание, не было.

Димыч, конечно, мог бы, подцепив крышку ножницами, взломать замок. Но такой подход к делу казался ему абсолютно не рыцарским. Значит, надо было придумывать что-то другое. А может, и не придумывать вовсе, а просто ждать?

Эта мысль пришла к Димычу поздним вечером тридцатого декабря. Других идей у него все равно не было. Кончились идеи. Димыч повздыхал, завернул шкатулку в бумагу и спрятал в потайное отделение шкафа.

Утром тридцать первого Димыч подумал, что неплохо было бы связаться с Фантомом хотя бы на форуме и осторожненько поинтересоваться, что следует делать дальше. Ожидание ему надоело. К тому же в самом начале переписки Фантом упомянул о каком-то таймере. Вдруг Димыч бездействует, а таймер отсчитывает потраченное впустую время?

В самый последний момент Димыч подумал: «А вдруг, если я напишу Фантому, — это засчитается поражением?» Допустить такого он не мог.

Димыч решительно распахнул потайную дверцу шкафа. Наверное, она не очень хорошо лежала, потому что стоило дверце открыться, как завернутая в бумагу шкатулка вывалилась с полки Димычу под ноги. Раздался негромкий удар и щелчок.

Из-под желто-коричневой бумаги торчало что-то яркое.

Димыч наклонился. От падения шкатулка открылась, и из нее выпала открытка.

На открытке был нарисован желто-алый длинный меч с витой рукояткой и еловая ветка с серебристым шариком. На обратной стороне Димыч обнаружил послание.

«Благородный рыцарь! Если Вы читаете эти строки, значит, миссия почти выполнена. Вы проявили достойную истинного рыцаря сообразительность и расторопность.

До успешного достижения Вашей цели остался один шаг. Но чтобы пройти его, Вам понадобится еще кое-что, без чего рыцарь не может быть рыцарем.

Приезжайте сегодня семичасовой электричкой с Финляндского вокзала на станцию Озерная. Выйдите на главную улицу и поверните налево у дома с красной крышей. Через сто метров Вы увидите высокий забор. Что делать дальше, Вам подскажет интуиция рыцаря.

Да помогут Вам силы Добра! Да будет Ваш Огненный меч верным помощником в правом деле!»

Дочитав последние строчки, Димыч почесал в затылке. Это что же получается? Чтобы выполнить миссию до конца, придется ехать на ночь глядя за город? И ночь-то ведь впереди не простая, а новогодняя. Хотя... Это родители сейчас готовятся встречать праздник в гостях у Санта Клауса. А ему все равно делать нечего. Почему бы и не прокатиться?

Электричка мчалась среди заснеженных полей и поселков, усыпанных разноцветными огнями. Димыч смотрел за окно. Ему было немного грустно и совсем чуть-чуть тревожно.

На Озерной он вышел на перрон и увидел широкую, ярко освещенную улицу. Димыч потопал по расчищенной дороге. С двух сторон поднимались высокие сугробы. Снег искрился в свете фонарей, и сугробы казались не белыми, а серебристо-синими.

У дома с красной крышей Димыч повернул налево. Улочка, по которой он шел теперь, была намного уже, а расчищенная дорожка и вовсе превратилась в тропу. У Димыча замерз нос и вспотели пятки.

Обещанный в послании забор и вправду оказался высоким и очень длинным. А на участке за ним не горело ни одного огонька. Димыч шел вдоль забора, пока не увидел калитку. Незапертую. Это Димыч понял сразу, потому что она качалась под порывами легкого ветерка и поскрипывала.

Представив, что сейчас придется идти по незнакомому темному пространству, Димыч поежился. Но что ему оставалось, если уж приехал? Не возвращаться же?

Он толкнул калитку и вошел. В вечернем полумраке Димыч рассмотрел разлапистую елку, несколько пушистых маленьких сосен, укрытую снегом беседку и дом. Огромный и на вид абсолютно нежилой. Правда, дорога от

калитки до дверей тоже была расчищена. И похоже, совсем недавно. Димыч подошел к двери и постучал. На стук никто не откликнулся. Димыч потоптался на месте, сбрасывая снег с ботинок, и осторожно толкнул дверь. Та открылась. Димыч заглянул внутрь. В доме было еще темнее, чем на участке.

Димыч тяжело вздохнул и перешагнул через порог. Он успел разглядеть смутные очертания высоких стен и лестницы, а потом дверь за спиной захлопнулась, и Димыч оказался в полной темноте.

От неожиданности он замер. Вокруг было не только темно, но и совершенно тихо. Димыч перевел дыхание и вдруг по-настоящему испугался. Кто его заманил в пустой дом? Зачем? Может, это никакая не рыцарская игра, а что-то совсем другое? То, о чем даже думать не хочется, а от одной мысли леденеют пальцы, а щекам становится жарко-жарко?

Свет вспыхнул так неожиданно, что на мгновение Димыч ослеп. А когда снова стал зрячим, то увидел просторный холл, украшенный еловыми ветками, и самую прекрасную Снегурочку на свете. Потому что... Димыч глазам своим не поверил — по широкой лестнице спускалась его мама!

— Приветствую тебя, отважный рыцарь! Ты с честью выполнил свою миссию! — улыбнулась она.

— Мама! — закричал Димыч и, как маленький, уткнулся в ее голубую, расшитую белым мехом «снегурочкину» шубку. — Так это вы все устроили? А как же путевки в Финляндию?

— Путевки пришлось сдать, — объяснила мама. — Я позвонила твоей учительнице и поняла, что ты действительно не сможешь поехать. А что нам с папой делать на родине Санта Клауса без тебя? Думаешь, нам одним было бы весело? Вот мы и решили остаться.

— А чей это дом? — поинтересовался Димыч.

— Моего приятеля, — объяснил папа, спустившийся вслед за мамой. — Здорово я придумал, а? С рыцарской миссией? Мне ведь даже на твоем форуме пришлось зарегистрироваться, чтобы тебе письма слать!

— Классно, — согласился Димыч, приходя в себя от изумления. — А про какой таймер ты писал?

— Про новогодний! Ты должен был успеть пройти все уровни и приехать сюда сегодня вечером.

— А если бы у меня не получилось?

Папа посмотрел на часы и загадочно усмехнулся.

— Если бы ты не приехал на семичасовой электричке, — вмешалась мама, — папа еще успел бы съездить за тобой в город.

— Ладно, — заявил папа. — Пойдем елку наряжать! Видел, во дворе стоит?

— Пап, — спросил Димыч, когда последний сверкающий шар был повешен на колючую темно-зеленую ветку. — А правда же неважно, где встречать Новый год? Главное — чтобы всем вместе?

Папа поправил ветку и серьезно кивнул.

Валентин Лукьянин

Обыкновенная история, XX век

Документальная повесть об отце

Жизнь тяжела. Откуда брать
Игривых, радостных мелодий.
Но надо жить. А в жизни, брат,
Поёшь, что в голову приходит.

Петр Матвеевич Лукьянин

«Благая весть» не находит адресата

Мы с отцом в этой жизни разминулись: я появился на свет лишь через два месяца и пять дней после того, как его не стало. А еще через две недели закончился год — столь значимый для меня, для нашей семьи и, как потом оказалось, черный для всей страны год.

О том, что отца расстреляли 12 октября 1937 года, нам, его сыновьям и остальным близким родственникам, стало достоверно известно лишь в середине 90-х. Заключение Брянской областной прокуратуры о том, что «в действиях Лукьянина Петра Матвеевича отсутствует состав преступления» и, стало быть, обвинение его в том, что он «ведет к/р террористическую агитацию и сообщал за границу сведения шпионского характера» (что соответствовало ст. 58, п. 6 и 10 УК РСФСР), было признано ложным, а значит, необоснованным оказалось и «решение НКВД и прокурора СССР от 12/X–1937, протокол № 100», которым он был приговорен к расстрелу, и приговор, как выяснилось, был приведен в исполнение в тот же день (или ночь?), — это заключение, повторяю, было вынесено 10 августа 1989 года. На основании заключения уже вскоре, 16 августа, была составлена справка о реабилитации безвинно казненного «врага народа» и возможности «возмещения ущерба» пострадавшим. Но встал вопрос: кому ее вручить?

В заключении были названы место работы, должность и место жительства отца до ареста (заведующий начальной школой в селе Писаревка Унечского района Брянской — бывшей Западной — области), а также ближайшие родственники — жена и сын.

Сын — это мой старший брат, которому в момент ареста отца было шесть лет. Естественно, к моменту реабилитации он «несколько подрос»: окончил с серебряной медалью среднюю школу, Ленинградский горный институт, работал по распределению на угольной шахте в Воркуте, с должности ее директора ушел на раннюю шахтерскую пенсию и переселился с женой и тремя дочерь-

---

Валентин Лукьянин — публицист, литературный критик, автор нескольких книг, посвященных истории и культуре Екатеринбурга, и множества статей и исследований, опубликованных в различных российских изданиях. В 1980–1999 гг. был главным редактором журнала «Урал». В настоящее время — ответственный редактор журнала «Наука. Общество. Человек».

ми в Брянск, где за несколько лет до того была им куплена кооперативная квартира. И даже успел выдать замуж дочерей и понянчиться с первыми внуками.

А жене отца — нашей матери — шел тогда уже 85-й год; слава богу, несмотря на все неподъемные трудности, выпавшие на ее долю, она была еще жива. Жила тоже в Брянске, вместе с братом и его семьей.

Про меня же в архивных документах прокуратуры не было даже упоминания: ведь я родился уже после ареста отца. Причем в расстрельном отцовском «деле» не было никак отмечено, что его уводили не только от сына-дошкольника, но и от беременной жены. Откуда ж работникам прокуратуры более полувека спустя могло стать известным, что у «изобличенного» и казненного «шпиона» родился и вырос второй сын, окончил в Брянске машиностроительный техникум (похвастаюсь: тоже с отличием), уехал по распределению на Урал, где окончил еще и университет, аспирантуру; долго работал на кафедре и ко времени реабилитации отца уже десятый год возглавлял редакцию «толстого» журнала?.. Естественно, была и у меня семья: жена, дочь-аспирантка, сын-студент.

Таким образом, близких родственников у реабилитированного Петра Матвеевича Лукьянина в действительности было много, но все жили в немалом отдалении от места, откуда его увели августовской ночью 1937 года. А с тем местом, селом Писаревкой, никого из нас по жизни давно уже ничто не связывало, так уж получилось. Там просто не осталось людей, которые могли бы ответить на официальный запрос, есть ли мы на свете и где нас искать. Вот почему «благая весть» о реабилитации лет пять или шесть не могла попасть в нужные уши. Наверно, захотели бы «органы» нас найти, так нашли бы. Может, они не такие всесильные, как принято считать? Да нет, скорее всего, подобной работы у них было через край.

Но надо признать долю вины и за нами: не очень настойчиво стучались в неприветливые двери. Только была ли то вина?

Пока мы с братом подрастали, учились, становились на ноги, мама остерегалась лишний раз привлечь чье-то недоброе внимание к детям «врага народа» — это могло для нас обернуться какими-то осложнениями. Да ей и самой не следовало лишний раз «засвечиваться». О том, что муж расстрелян, ей не сообщили, сказали только стандартную ложь: осужден на десять лет без права переписки. И она терпеливо ждала. Ситуация усложнялась и запутывалась еще и тем, что в десять якобы отмеренных отцу лет вписалась большая война, все перемешавшая и всех перетасовавшая.

Но бесконечно долгая (по крайней мере, по моим детским ощущениям) война закончилась, и мало-помалу начали налаживаться порванные связи. В наш дом стали регулярно приходить письма от отцова брата Викентия из Воркуты (он еще в начале 30-х был осужден по политической статье и, сполна отбыв свой срок, там и остался на маленькой казенной службе), от маминых брата и сестры, еще в начале 30-х раскулаченных и высланных на лесоповал в Архангельскую область. Вот такая была у нас «вражья семейка».

Однако подходило к концу назначенное десятилетие — пора бы уже и от отца получить весточку. Она и пришла: в какой-то день то ли сорок пятого, то ли уже сорок шестого года (мы еще жили в Писаревке) к нам домой заявился незнакомый мужчина примерно отцовского возраста и очень доверительно сообщил маме (знал ведь, подлец, и адрес, и как ее звать!), что отбывал срок на Дальнем Востоке вместе с Петром Матвеевичем Лукьяниным. Тот, якобы узнав, что этот человек освобождается и направляется в наши края, попросил его по пути завернуть к своей жене, то есть нашей маме, и сообщить ей на словах (ведь он все еще не имеет «права переписки»), что с ним все в порядке, работает бухгалтером и надеется на скорое уже возвращение. Мама накормила пришельца лучшим, что нашлось в доме, и он ушел, исчез бесследно, оставив надежду, но не оставив своих координат. Потом будто бы кто-то еще прихо-

дил, но уже не к нам, а к соседям (нас же якобы никого не оказалось дома) и сообщил, что отец все еще там, на Дальнем Востоке, и даже освобожден уже из-под стражи, но обзавелся новой семьей и возвращаться не собирается. Не знаю, поверила ли мама всерьез этой «дезе», однако запрос куда-то — вроде бы в Хабаровск — все же послала. Пришел и ответ: такой-то не значится.

Как объяснить эти странные визиты? Напрашивается предположение, что столь иезуитским способом НКВД заметало свои кровавые следы (доводилось мне слышать и о других случаях подобной дезинформации). Но трудно поверить, что ведомство, работавшее в принципе грубо и примитивно (в чем читатель, думаю, убедится, прочитав дальнейшие страницы моего повествования), способно на такие театрализованные и, надо признать, психологически неплохо рассчитанные постановки. Возможно, где-то еще остались нераскрытые архивные фонды, в которых таится разгадка подобных «вестников»...

Как бы там ни было, мама продолжала надеяться и ждать, веря в то, что если Петр (она обычно называла его по-белорусски Пётра) жив, то объявится, а если нет — никакими запросами и заявлениями делу не поможешь. Вы скажете: а доброе имя?

Вот тут с высот абстрактной морали надо спуститься на грешную землю.

Доброе имя — для кого и для чего?

Для семьи и всех родственников, ближних и дальних, имя нашего отца всегда оставалось добрым. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в самой малой степени оно не было опорочено в наших глазах его арестом. Бережно хранились (и сохранились по сей день) его фотографии, заветная его толстая тетрадь в черном ледериновом переплете (о ней речь впереди), по возможности — его книги. Вот одежды, которая после него осталась, решительно не помню: может, мама на нее что-то выменяла в те нищие годы. Или просто раздала. Вспоминали о нем дома исключительно как о человеке безупречно честном и пострадавшем безвинно. Долгие годы не иссякала надежда, что вдруг откроется дверь — и он появится, такой любящий, сильный и надежный, каким знала его мама и каким запомнил брат. Но он все не приходил, а время шло...

Заведующий школой, даже начальной, в те времена, как правило, был самым образованным и видным на селе человеком. Отец к тому же никогда не держался в стороне от людей: проводил родительские собрания, выступал с докладами по разным поводам в сельском клубе, в чем-то помогал сельской самодеятельности; к нему приходили за советами и просто так, на огонек, — поговорить о жизни. Так что односельчане хорошо его знали и — уважали. После того, как его увели, отношение к нему не изменилось: я ни разу не слышал от односельчан об отце ни одного недоброго слова. Правда, со мной о нем никто по-серьезному и не говорил — возраст мой был не для таких разговоров (мы уехали из Писаревки навсегда, когда мне не исполнилось еще и девяти лет). Но не раз и не два о нем говорили при мне, а детская память восприимчива. Народный вердикт по поводу происшедшего с отцом обычно выражался словами: пострадал «ни за нюх таббки». В переводе с писаревского русско-белорусского диалекта на общерусский язык это означало: «ни за понюшку табаку».

После отъезда семьи из Писаревки я там, к сожалению, ни разу больше не побывал. Собирались с братом уже в 90-х съездить, да у меня как-то все не получалось, и он съездил один. Мне потом говорил: «Не езди, там уже все по-другому, ты ничего и никого не узнаешь». Сам он нашел-таки нескольких пожилых людей, которые его вспомнили; оказалось, они хорошо помнили и отца. И повторили ему тот же вердикт...

Так что насчет доброго имени для тех, кто отца хорошо знал, проблемы не было.

Однако существовали еще разные анкеты. Мы с братом, по наущению матери, писали в них, не испытывая моральных неудобств по поводу вынуж-

денного лукавства, что отец умер в 1937 году. В конце концов это оказалось, как вы уже знаете, чистой правдой — если, впрочем, отвлечься от причины безвременной смерти. Но о причине ее нас никогда никто не спрашивал, ибо, сегодня я уверен, никто и не заблуждался. Когда брат, окончив школу (в 1951 году), попытался поступить в высшее военно-морское училище в Ленинграде, его, несмотря на серебряную медаль и хорошие медицинские показатели, туда не приняли, не объяснив причины. Он отнес документы в Горный институт — там проблем не возникло. У меня тоже был случай, когда, похоже, подвели анкетные данные, но полной уверенности в том, что зацепились именно за судьбу отца, у меня нет, так что фантазировать не буду. Вспомню про другое: когда поступал в университет, в аспирантуру, на кафедру — везде писал в анкетах, что отец умер. Но при вступлении в партию (в 1965 году) впервые написал открытым текстом, что отец репрессирован. Понятно, что времена были уже совсем другие, но дело не в том, что эта анкетная подробность никого не удивила, а в том, что никто даже из партчиновников не попрекнул меня прежней «ложью». Объяснение тому самое простое: никто и никогда не воспринимал это как ложь, а единственно — как ритуальный жест. Даже чуть ли не настоятельно рекомендуемый. На 1937-м годе с довоенных лет стояло несмываемое клеймо; в том году редко кто «просто умирал», поэтому ни многоопытные кадровики, ни бдительные партчиновники категорически не поверили бы как раз тому, кто стал бы настаивать, что в том году кто-то из его близких помер естественной смертью...

Шли годы, десятилетия; отец все не объявлялся, между тем уже и возможный его возраст оставлял все меньше надежды, что он жив. Мама умерла, перешагнув рубеж девяностолетия; какая-то надежда увидеть его напоследок жила в ней до самого конца. Справка о реабилитации еще застала ее в живых, и поначалу она слабеющим уже рассудком казенную бумагу поняла так, что его наконец-то отпустили и он вот-вот появится дома. Это ее очень взволновало, брату пришлось ее разубеждать... Отцу в то время было бы уже 95 — разве бы он дотянул до такого возраста, если б не был расстрелян сразу?..

Вооружившись справкой об «отпущении грехов» (даже не знаю, каким образом она все-таки нашла нужный адрес), выяснением судьбы отца занялся брат — ему тогда перевалило уже за 65 лет. По паспорту он был Александр Петрович; мы его звали Аликом; у этого имени есть своя история, позже я ее расскажу, а пока буду называть его так, как привык звать на протяжении десятилетий.

Так вот, поскольку Алик жил в Брянске, то никуда ездить ему не понадобилось, разве что на троллейбусе. Зашел в областное управление ФСБ и написал соответствующее заявление. Через какое-то время получил ответ: его пригласили познакомиться с расстрельным «делом» отца. Как он это «дело» читал и что там вычитал, Алик мне тут же, как только возвратился домой, «отписал» в большом письме.

«...В письме из управления ФСБ, — сообщал он мне, — кроме разрешения ознакомиться с делом, было упоминание о том, что “использование полученных сведений в ущерб правам и законным интересам проходящих по делу лиц и их родственников не допускается и преследуется в установленном законом порядке”. С этим же ознакомили под роспись и перед тем, как вручили мне “Дело”.

Читал я его в маленькой совершенно пустой комнатке, куда меня привели, и над душой неотлучно сидел работник КГБ (так в письме. — *В.Л.*). Папка очень тоненькая, я даже усомнился, все ли мне показали. Общие анкетные данные, несколько протоколов допроса (в конце каждой страницы подпись отца), три клеветнические свидетельские показания, — вот, собственно, и все, и дело передано в областную прокуратуру, которая и вынесла приговор. Каким образом выносился приговор, об этом нигде ни слова. Под стражей он находился в г. Стародубе. Расстреляли на шестой день после ареста. Где было совершено это злодейство, не известно».

На этом прерву цитирование.

После того письма я приезжал к Алику в Брянск, даже и не один раз, и он сообщил мне еще одну важную деталь: читать отцовское «дело» он был допущен без бумажки и карандаша, так что ничего иного ему не оставалось, как вчитываться не торопясь и все, что важно, запоминать. Вот почему он и поспешил написать мне сразу по возвращении домой — пока все было в памяти свежо. Да и когда записываешь что-то — оно ведь крепче запоминается. На память Алик не жаловался и письменной речью владел хорошо, и я не усомнился, что его письмо содержит достоверную, точную и достаточную информацию о содержании той тоненькой папочки, так что стремления познакомиться с «делом» самому у меня не возникло. Тем более что в неспешных кухонных разговорах в дни (а больше в ночи) моих коротких наездов (категорически без капли спиртного, но чай Алик любил «наваристый») к тому, что содержалось в его письме, он не смог добавить никаких значимых подробностей. Притом в Брянск я приезжал нечасто, времени там всегда бывало в обрез, и я догадывался, что прийти в такое серьезное заведение, чтобы получить доступ к таким документам... Ну, в общем, это совсем не то же самое, что прийти в районную библиотеку за свежим номером «толстого» журнала.

Вот почему на протяжении почти четырнадцати лет бережно хранимое письмо Алика было для меня единственным источником достоверных сведений о том, когда и как погиб наш отец. А два половиной года назад Алика не стало, и его письмо, датированное 5 февраля 1997 года, превратилось в дорогую семейную реликвию.

Но три месяца назад нежданно-негаданно ту сакраментальную папку довелось взять в руки мне самому... Как это произошло, расскажу чуть позже, а сейчас отмечу два обстоятельства. Во-первых, в некоторых деталях — в общем-то, малозначительных — память Алика все же подвела; зато кое в чем информация из папки была его письмом даже дополнена. Во-вторых, и это главное, содержимое папки показалось мне в некоторых отношениях намного значительнее, нежели дополнение к частной семейной истории. С чем бы это сравнить? Ну, скажем, так. Построили новый дом, заселили, отпраздновали новоселье, погрузились в будни... И тут вдруг этот дом ни с того ни с сего рухнул. Ни с того ни с сего? Так не может быть — надо искать причину: может, проект был плох; может, балки поставили гнилые или цемента недовложили. Или, могло статься, у кого-то прохудился кран на газовом баллоне, а хозяин вышел на кухню покурить... Аналогия, может, и хромает, но, если сказать без экивоков, — читая подлинные документы «дела № 10294», я както очень наглядно увидел, как это тогда делалось... За судьбой отца открылись мне «колесики и винтики» той машины, которая, тяжко скрежеща, прокатилась по судьбам российских людей нескольких поколений, и, пожалуй, никто из миллионов не оказался совсем в стороне...

Espero, esperanto...

Алик процитировал в письме (по памяти) обвинительное заключение: «В письмах за границу сообщал сведения шпионского характера и контрреволюционной клеветы о СССР». Доказывалось это тем, что у него при обыске изъяли «международную переписку на языке эсперанто». «Переписывался он, — как запомнилось Алику, — с классными руководителями школ Франции, Испании и Швеции».

Нынешнему читателю, особенно тому, кто помоложе, о международном языке эсперанто мало что известно, хотя в мире он по сей день распространен довольно широко. А в первой трети прошлого века этот искусственный язык находился на пике своей популярности. Вероятно, с самого момента разрушения Вавилонской башни нарастало стремление людей к преодоле-

нию языковых барьеров; не раз для того изобретались искусственные языки, да все неудачно (название одного из них — воляпюк — стало синонимом непонятной нелепицы). А тут вдруг молодой польский еврей Людвиг Заменгоф, врач-окулист и лингвист-любитель, придумал простой и безупречно логичный язык: грамматика из двенадцати правил, не признающая исключений, и лексикон на основе 500 самых распространенных в индоевропейских языках корней, — и выпустил о нем (в 1887 году) книжку. Существует легенда, будто автор прислал эту книжку на суд Льву Толстому, и великий писатель, по графскому своему воспитанию хорошо знавший основные европейские языки, часа два ее вдумчиво листал, после чего написал автору поощрительное письмо уже на языке эсперанто[1].

О том, что отец знал язык эсперанто и переписывался на нем с заграницей, я узнал от матери поздно — когда уже учился в университете. Не помню, был ли я еще на втором или уже на третьем курсе филфака, когда к нам на факультет пришел старичок «из прошлого» и организовал кружок по изучению эсперанто[2]. Я стал в этом кружке заниматься, о чем при случае рассказал матери. Вопреки ожиданию, мама мой выбор не одобрила: мол, отец увлекался эсперанто — и вот что из того вышло. То ли интуиция ей подсказала, то ли все-таки весть из НКВД просочилась, но арест отца она без колебаний связывала с этим искусственным языком. Может, у нее просто не было поводов для других версий?

И вот из письма Алика я узнал, что она не ошибалась.

А прошедшей осенью тема эсперанто в судьбе отца получила новый поворот. Тут уже толчок событиям дала моя дочь Галина. Уже более десяти лет она с мужем Хосе живет в Испании. Про письмо дяди Алика о судьбе своего деда Галя, разумеется, знала с самого того момента, когда мы его получили, а в последний приезд сюда даже увезла с собой его ксерокопию. И так случилось, что среди обширного круга ее испанских знакомых обнаружились энтузиасты эсперанто. Эсперантисты, надо сказать, при Франко преследовались и были почти поголовно истреблены, но в демократической Испании их движение возродилось. Разговорившись с новыми знакомыми, Галя рассказала им о том, сколь роковую судьбу сыграл язык эсперанто в судьбе ее деда. Они заинтересовались живейшим образом: а нельзя ли уточнить адреса и фамилии тех испанцев, с которыми он переписывался? Ведь сказано же, что «при обыске изъяли» письма, — а вдруг они где-то до сих пор хранятся? Галя загорелась идеей, а мне как-то не верилось: через те места, где свершилась расправа над отцом, прокатился вал страшной войны. Чудо, что вывезли и сохранили папку с протоколами допросов, а чтоб еще и «вещдоки»?.. Но уступил напору Гали — написал-таки письмо в Брянскую областную прокуратуру, где вкратце описал суть дела и вот как сформулировал свою просьбу:

«Узнав от дочери, что увлечение языком эсперанто сыграло роковую роль в судьбе ее деда, они очень заинтересовались этой историей и настойчиво ее попросили узнать фамилии испанских учителей, которые фигурируют в деле Петра Матвеевича Лукьянина. Они надеются, что если не самих тех учителей (скорее всего, их давно уже нет в живых), то кого-то из их потомков можно сегодня разыскать, и это дополнит картину российско-испанских отношений новыми штрихами.

---

[1] Замечу попутно, что, став языком международного общения, язык эсперанто попал под действие тех самых законов, по которым развиваются естественные языки, и начал катастрофически усложняться. Что, собственно, более всего и снизило его популярность. Сегодня это все-таки больше экзотика, нежели реальное средство общения.

[2] В недавно изданной книге Л.М. Сонина «Николай Кузнецов» прочитал, что будущий разведчик изучал эсперанто в кружке, которым руководил «опытный эсперантист Георгий Николаевич Беседных». Глазам не поверил: именно Г. Н. Беседных тридцать лет спустя руководил кружком эсперанто на филологическом факультете УрГУ!

Очень прошу с пониманием отнестись к этой истории и помочь мне найти давние следы. Допускаю, что моя просьба — не совсем по адресу и бумаги те хранятся не в вашем ведомстве. Но если это так, то сообщите, пожалуйста, по какому адресу я должен обратиться».

Отправил я это письмо в двадцатых числах ноября минувшего года и приготовился ждать отписку. Сколь же приятным было мое удивление, когда в середине декабря, то есть всего-то недели через три, получил из Брянской прокуратуры — в качестве ответа на мое письмо — копию их письма начальнику какого-то ведомственного архива (обозначенного неведомой мне аббревиатурой), куда было передано мое обращение. И едва ли не на следующий день после получения этого письма мне позвонили из управления ФСБ по Свердловской области: предложили в удобное для меня время зайти к ним, чтобы познакомиться с «делом» моего отца!..

Если бы не печальный повод, приведший меня в это застегнутое на все пуговицы учреждение, унаследовавшее не только архивы, но и привкус мрачной славы советских органов госбезопасности, я мог бы сказать, что посещение ФСБ оставило у меня самое доброе впечатление. Меня не томили ожиданием: ко мне практически сразу — по звонку от вахты — вышла сотрудница, что говорила со мной по телефону накануне, и провела в небольшую комнату, обставленную нормальной офисной мебелью, не вызывающей мрачных ассоциаций. Марина Викторовна (так ее зовут) общалась со мной доброжелательно и, я бы сказал, предупредительно. После положенных формальностей и разъяснений она вручила мне «дело» и оставила с ним наедине. Мало того, что время для изучения документов мне не ограничили и никакой «работник КГБ» не висел у меня над душой, Марина Викторовна с самого начала предложила мне бумагу и ручку, чтоб я мог выписать все, что мне покажется нужным, и даже пообещала ксерокопировать наиболее важные для меня документы. Это обещание она не только выполнила, но кое-что ксерокопировала по своей инициативе сверх того, что я попросил: человек опытный в таких делах, она лучше меня знала, что мне может понадобиться.

Правда, условие не использовать полученные сведения в ущерб «проходящих по делу лиц и их родственников» было и мне сообщено под расписку, а чтоб избавить меня от лишних соблазнов, протоколы допросов «свидетелей», давших показания на отца, были помещены в конверт, заклеенный скотчем. «Это сделали не мы, — пояснила Марина Викторовна, — а те, кто в Брянске готовил дело к отправке». Я бы слукавил, если б стал вас уверять, что содержимое запретного конверта было мне вовсе не интересно, но, во-первых, уговор есть уговор, а во-вторых, Алику те показания, как я понял, прочитать позволили, и он в своем письме об их содержании сообщил мне коротко, но исчерпывающе ясно: «Все это (что было перечислено в обвинительном заключении. — *В.Л.*) и в протоколах допроса, буквально во всех одно и то же. И в свидетельских показаниях то же самое плюс "клевета" на колхозный строй. Такое ощущение, что все они написаны под диктовку одного человека.

Отец категорически отвергал все эти обвинения.

Свидетельские показания писали: Семеко, Конюшенко и Михаил Галутво. Семеко — инспектор роно. Конюшенко и Галутво — односельчане. Ни одного из них я не помню, да их и в живых-то наверняка нет».

Называя эти три фамилии, ни он, ни я теперь никакой «конвенции» не нарушили, ибо они фигурируют не только в письме брата, но и в описи содержимого папки (там протоколы допроса свидетелей учтены, имена свидетелей названы), и в обвинительном заключении, ксерокопию которого сняла для меня Марина Викторовна: «Изобличается в контрреволюционной террористической агитации показаниями свидетелей Семеко Д. В., Голутва[3] М. К. и

[3] В Писаревке чуть ли не треть жителей носили эту фамилию: Голутва, но как она правильно пишется — не знаю. Брату запомнилось «Галутво», следователь не щепетилен по части орфографии — пишет так и этак, а я в цитатах оставляю все так, как в источниках.

Конюшенко С. Д.». Я их тоже, как и брат, разумеется, не знал, но фамилию Семеко помню с детства: мама подозревала, что именно по его доносу был арестован отец. Наверно, какие-то основания для того у нее были, но какие именно — она никогда мне не говорила. Знаю только, что инспектора районо Демида Семеко почему-то сильно недолюбливали все писаревские учителя и за глаза называли не иначе как Вушлятым (что на местном диалекте означало Ушастый). Сам я Вушлятого не видел, кажется, ни разу и не знаю, что с ним сталось позже, — исчез, как растворился, без следа. Что касается односельчан Голутвы и Конюшенко — их я не помню даже со слов матери; как они попали в свидетели — вряд ли кто-то сейчас может объяснить...

Думаю, читатель без лишних слов поймет мое состояние, когда я взял в руки ту самую папку, которую почти четырнадцать лет назад изучал Алик и в которой подшиты документы — подлинные! — где под многими страницами хорошо знакомым мне почерком с наклоном влево выведено: П. Лукьянин. Подписи моего отца — последние в его жизни...

Кстати, тут же выяснилось, что Алик в письме ошибся: расстреляли отца не на шестой день после ареста, а через полтора месяца. Но почему ему запомнилось, что на шестой день? Я это понял лишь после того, как поднял документ, с давних пор хранившийся у меня. Это «Справка о признании пострадавшим от политических репрессий», присланная мне по моему запросу из Брянской прокуратуры еще в январе 1996 года, — такую же несколько раньше получил Алик. В ней говорится, что Петр Матвеевич Лукьянин был «репрессирован» 12 октября 1937 года, а «приговор приведен в исполнение 18 октября 1937 года». Но что здесь подразумевается под словом «репрессирован»? Судя по материалам «дела», в тот день вынесен приговор, а вот даты 18 октября в «деле» вовсе нет. Откуда она взялась в справке?.. Так или иначе, видимо, даты из этой справки сразу запали Алику в память, и чтение «дела» их оттуда не вытеснило.

Скажу сразу, что ответов на Галины вопросы (об испанских эсперантистах, с которыми переписывался отец) я в этой папке не нашел — зато, правда, убедился, что искать их вообще бесполезно. Но, как говорится, отрицательный результат — тоже результат. К тому же нашел там так много настолько любопытных сведений — и об отце, и вообще о жизни «в нашей юной, прекрасной стране» в те годы, — что это побудило меня сесть за это вот повествование. Надеюсь (почти на всех европейских языках, на эсперанто тоже, я должен был бы сказать: espero; отсюда и слово эсперанто — надеящийся), что этот труд хоть на малый шажок приблизит и читателя к пониманию эпохи, которая давно прошла, но никак не хочет становиться нашим прошлым...

Черная тетрадь

Отца «забрали» (мама обычно употребляла именно это слово) меньше чем через неделю после очередного дня его рождения: 14 августа 1937 года ему исполнилось 37 лет, а пришли за ним 20-го. Сакраментальные 37 лет, согласно молве — предельный возраст поэта в России. А ведь отец и был поэт! Помните — я упоминал его тетрадь, хранившуюся в семье после его ареста? Это тетрадь с его стихами. Энкаведешников поэтические занятия отца, видимо, нисколько не заинтересовали (в материалах «дела» о том — ни слова), что и уберегло тетрадь от конфискации. Она все последующие годы была у мамы, мама после выхода на пенсию жила со старшим сыном — моим братом, после его смерти тетрадь хранится у его внучек Оли и Саши. Сейчас она не в лучшем физическом состоянии: чернила выцвели, расплылись, бумажные блоки распались, но почти все еще можно прочитать без особых усилий, а если какое-то слово уже не читается, оно всплывает из глубин моей памяти.

Существование этой тетради было естественным и не обсуждаемым атрибутом моего детства. Ее не прятали где-нибудь в укромном месте — она от-

крыто стояла на этажерке вместе с книгами, которые сохранялись у нас дома, несмотря на многочисленные переезды и крайнюю бытовую неустроенность. Я в любое время мог ее взять и раскрыть. Рано пристрастившись к чтению, я поглощал книги бессистемно и в большом количестве. Стихи отца тоже читал не раз и помнил практически все наизусть, при том что специально не заучивал и ни разу не читал их вслух перед какой-нибудь (хоть бы домашней) аудиторией.

А «выступать перед публикой» мне тогда случалось. Ставили меня, по малости роста, на табуретку или просто расступались в круг (только кто? Может, соседи, но скорее мамины сослуживцы — вернее сказать, сослуживицы), и я с пафосом выдавал что-нибудь актуальное. Например, про «Исрафила Мамедова, азербайджанца, внука богатырей»: «Он высоко родное знамя поднял, / И, на посту в бою суровом встав, / Он семьдесят фашистских жизней отнял, / Своей прекрасной жизни не отдав». Сейчас уже не помню, чьи это стихи, перед кем с ними выступал, а вот отдельные строчки память зацепила намертво. Или того пуще: «Шуршит по крыше снеговая крупка, / На Спасской башне полночь бьют часы. / Знакомая прокуренная трубка, / Чуть тронутые проседью усы...» Звукопись-то какая роскошная! Ну, тут чувствуется рука мастера: Алексей Сурков! (Это я уже потом выяснил.) Бурные аплодисменты!..

А теперь представьте себе, что шести- или семилетний «вундеркинд», окруженный готовыми поаплодировать взрослыми, влез бы на табуретку и выдал что-нибудь такое:

Стихи бледны, как жизнь бледна.
И нет в них постоянства доли.
Но ведь и жизнь... О, как она
Непостоянна поневоле.
Жизнь тяжела. Откуда брать
Игривых, радостных мелодий.
Но надо жить. А в жизни, брат,
Поёшь, что в голову приходит.
Певцом родился, так и пой,
Пой обо всем, что сердце гложет.
Не сможешь, брат, владеть толпой,
Споешь хоть горсточке, быть может.

Хоть «репертуар» мой складывался не по наущению взрослых, а как-то так — стихийно, я, наверно, уже тогда «нутром» чувствовал, что стихи отца — не только для другого возраста, но из другого времени. В духовный контекст первых послевоенных лет они никак не ложились.

Интересно, а к какой аудитории адресовался сам автор?

Достоверных сведений на сей счет у меня нет: мама ничего об этом не говорила, и брат, видимо, тоже не знал о том ничего. Но сохранившаяся тетрадь со стихами при ближайшем рассмотрении дает повод задуматься. С одной стороны — вроде бы ощущение предназначения: «Певцом родился, так и пой». Или: «Что ж ты, муза, мало пела, / Скоро замолчала? / Если все свое пропела, / Начинай сначала». Но лишь под двумя стихотворениями, переписанными в тетрадь, есть пометки о публикации, а их там 119. (Строго говоря, 120, но они пронумерованы, и в одном месте произошел сбой нумерации: два раза подряд номер 87. Обнаружив это не сразу, отец во втором случае добавил к цифре литеру «а»). Да и то не в литературном издании, а в прочно забытом (даже в Интернете не отыскался) журнальчике «Эхо связи», издававшемся, видимо, в Смоленске в начале 20-х годов. В этих стихах речь и на самом деле идет о связистах (отцу в те годы довелось послужить в подразделениях связи), но разве ж это «корпоративные», как сегодня сказали бы, стихи?

...Жизнь мчится. Гудят провода,
Разносят и радость, и горе.
А жизнь как весною вода...
Шумит и бурлит... будет в море...

Другое опубликованное стихотворение — в том же духе.

У меня сложилось впечатление, что отец и не стремился публиковаться, не прилагал к тому никаких усилий. Стихи оставались для него не просто личным — интимным делом. При этом он вовсе не относился к ним пренебрежительно — как к чему-то второстепенному и случайному в жизни. Самое убедительное свидетельство тому — вот эта самая тетрадь.

Она из того разряда, что называют «общими»: толстая, в черном ледериновом переплете, разлинованная «в линейку». Очевидно даже при поверхностном просмотре, что стихи туда записывались не по мере их создания, а переписывались — тщательно, неспешно, без помарок, в продуманном порядке — после того, как были написаны уже все. Время и место создания каждого из них скрупулезно обозначены, и, к примеру, самое раннее помечено июлем 1919 года, а в тетради оно значится под номером аж 98-м, а самое позднее (октябрь 1926 года) — под 73-м номером. И ни одно стихотворение туда не попало «досылом» — уже после того, как вся композиция была завершена.

Стихотворения, переписанные в тетрадь, разбиты на девять тематических разделов, каждый имеет свой заголовок, причем ни хронология, ни география не принимаются в расчет даже внутри разделов: только смысловые соответствия. Лишь в завершение всей тетради выделен небольшой — десятый по общему счету — раздел из четырех стихотворений, названный по году создания: «1925». В него включены стихотворения, написанные в сентябре и октябре 1925 года, а на предыдущих страницах стихов этого года нет. Стихи предшествующего, 1924 года разбросаны по разным разделам, но их всего семь. И лишь одно стихотворение помечено 1926 годом (я уже о нем упоминал): творческая активность молодого стихотворца явно шла на спад, и виден конечный рубеж.

Наблюдательная Оля, внучка Алика и моя внучатая племянница, спросила в телефонном разговоре: «А что, после того Петр Матвеевич стихов не писал?» Для меня этот вопрос был неожидан: в детстве датам значения не придавал, ибо время в том возрасте не имеет измерений, а после детства — ну, пожалуй, лет пятьдесят, никак не меньше, — той тетради в руках вообще не держал. Тетрадь была при маме, мама жила с Аликом и его семьей, а я к ним заезжал не часто и обычно на короткое время. Но, как оказалось, вопрос этот уже обсуждали раньше Таня, Олина мама, с Аликом. К окончательному решению они не пришли, а я вот сейчас, поразмыслив, сделал вывод: да, стихи отец писал только в юности — в основном в возрасте 20–23 лет.

Почему я так думаю? Прежде всего, в детстве никогда не видел дома каких-либо отдельных листов, каких-либо клочков бумаги с его стихотворными набросками: если б таковые существовали, мама их наверняка выбрасывать бы не стала. Никаких стихотворных текстов не было у отца изъято при аресте — по крайней мере, в «Протоколе обыска» таковые не значатся. Никогда в рассказах мамы он не появлялся пишущим стихи.

Правда, смутно припоминается, с чуть ли не дошкольной моей поры, что хранилась будто бы в семье еще и другая отцовская тетрадь, раза в два-три тоньше этой, — в светлой, серовато-голубоватой обложке из шершавого тонкого картона. Племянница Таня неуверенно подтверждает: да, вроде была. Она могла быть утрачена где-то во время многочисленных переездов семьи, да и какая-то коммунальная авария дома случалась. Но если вторая тетрадь была — что в ней могло содержаться? Если стихи — почему не помню ни одного отцовского стихотворения, которого не было бы в первой, «общей» тетради? Не помнит и Таня, хотя тетради деда так же всегда присутствовали в ее детстве, как когда-то в моем. Была ли вторая тетрадь, не было ее — теперь уже, увы, не проверишь...

Так что, с одной стороны, в семье не сохранилось никаких следов отцовского стихотворчества в последние годы его жизни. С другой стороны — вот эта Черная тетрадь (пожалуй, я для наглядности так и буду ее здесь называть — с большой буквы). В ней нет процесса — в ней четко осмысленный и приведенный в образцовый порядок итог.

Тут самое время задаться вопросом: а, собственно, с какой целью писалась Черная тетрадь? Алик как-то высказал предположение: наверно, отец готовил сборник своих стихов для издания. Тогда я это мнение не поддержал, хотя и не оспорил. Сейчас у меня сложилась более определенная позиция. Если б готовил для издания, зачем переписывал стихи в одну толстую тетрадь? С такой рукописью редактору очень неудобно работать. Почему не выделил страничку для титульного листа — с фамилией автора, с названием книги (хоть бы самым незатейливым, например: «Стихи»)? Почему названия разделов написал крупно и цветными буквами? А кое-где даже набросал рисунки пером: телеграфные столбы с проводами вдоль дороги, уходящей слева направо — вдаль; какие-то простенькие виньетки.

Но самое главное: стихи в Черной тетради выстроены в продуманном порядке, связаны сквозной нумерацией и разделены на тематические блоки, которые тоже пронумерованы; автору, несомненно, была важна именно такая последовательность.

И еще важный момент: стихи отца написаны на двух языках — русском и польском. На польском почти половина — 54 стихотворения из 120, причем записаны те и другие вперемешку. А названия разделов — только на польском языке.

Тут нужно пояснить, что отец свободно владел польским языком с детства (как, очевидно, и все коренные жители того уголка Российской империи, где он родился), так что писать стихи по-польски было ему, наверно, столь же естественно, как и по-русски. (Есть еще в тетради одно стихотворение на белорусском языке, которым отец тоже владел свободно, но стихов на нем, по-видимому, не писал, за исключением вот этого единственного случая, о котором чуть позже скажу особо.) При изначальном двуязычии трудно рассудить, почему одна поэтическая мысль рождается в обличии русских слов, а другая — в обличии польских. Но мог ли рассчитывать отец, если б задавался целью издать двуязычную книгу, на двуязычного же читателя? Притом не был он наивным человеком, за развитием ситуации в стране следил (это видно хотя бы из его «дела»), так что, думаю, прекрасно понимал, что такую книгу в СССР заведомо никто издавать не станет, тем более что второй-то язык — «вражий»...

Нет, по всему видно, что Черная тетрадь для тиражирования не предназначалась. Она была изначально задумана именно как рукописный сборник (в единственном экземпляре), на постороннего читателя не рассчитанный. Отец писал эту тетрадь для себя — расставался с юношеским увлечением. В том возрасте — немного до двадцати, немного после двадцати — стихи пишут многие. Но для большинства из нас юношеское стихотворчество — вроде ветрянки: переболел и забыл. А отец принадлежал к числу немногих, кто к своим поэтическим упражнениям относится серьезно, понимая, что это важный этап духовного становления — сведение счетов с тем самым «вчера», которое становится фундаментом и частью «сегодня»; выяснение отношений с самим собой. Думаю, то была его осознанная позиция. Только тем, на мой взгляд, и можно объяснить, что однажды он выкроил время и самым тщательным образом стал приводить в систему свои юношеские стихи.

Вообще говоря, 120 стихотворений за 7 лет — это совсем немного, особенно если учесть, что в некоторых случаях стихи у него шли «густо», даже бывало — два стихотворения в один день. Скорее всего, в итоговую рукописную книгу отец включил не все, что когда-то им было написано[4]. О крите-

[4] Косвенное подтверждение тому — ремарка, сопровождающая одно из стихотворений, написанных по-польски: «Из цикла “Новогодние пожелания”». А самого-то цикла нет.

риях отбора сейчас можно судить лишь предположительно, однако вряд ли главной ценностью для него было качество версификации (хотя вкус к совершенству формы у него, без сомнения, был), ибо в отдельных случаях он включил в сборник стихи явно любительского уровня: видимо, при формальном несовершенстве в них отразились особенно памятные для него движения души. Я бы даже сказал так: Черная тетрадь — это не столько сборник стихов поэта-любителя, который можно предложить хотя бы неширокому кругу друзей-почитателей, сколько род поэтического дневника, предназначенного, как все дневники, не для посторонних глаз, а для себя. Только отражен в этом «дневнике» не поток жизни изо дня в день, а аналитический итог: вроде как бы поденные записи были заново переписаны в соответствии с неким общим планом. Скорее всего, в контексте общего итога не все, что было им создано за годы увлечения стихотворством, автор счел достойным сохранения. Стало быть, в Черной тетради зрелым человеком запечатлена осмысленная и взвешенная поэтическая история его ушедшей юности. Возможно, оттого и заголовка к своей рукописной книге отец придумывать не стал: для него там были не стихи, а сама жизнь в переломный, самый драматичный ее период. А жизнь иного названия, кроме как «жизнь», не имеет.

Тот факт, что, войдя в зрелый возраст, отец стихи писать перестал, вовсе не принижает его образ в моем восприятии: «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Поворот, совершившийся в его душе, надо правильно понять: тут нет даже намека на смирение перед судьбой, на признание своей второсортности, что ли, по отношению к людям, в большей степени поэтически одаренным. Заметьте: число людей, пишущих стихи, намного (думаю даже, что во много раз) превышает число тех, кто их читает. Стихи пишутся для себя! Зачем? Да примерно затем же, для чего вы мурлычете себе под нос какой-нибудь навязчивый мотивчик, когда руки (или ноги) заняты, скажем так, более продуктивным делом. Сказать проще — для сосредоточения, для наведения порядка в душе. Было бы смешно, если б с тем мотивчиком вы стали вдруг претендовать на внимание публики; а ведь когда стихи, написанные с такой же, в сущности, целью, кто-то начинает усердно проталкивать в печать, итог получается еще более нелепым. Знаю, по крайней мере, нескольких очень достойных и признанных людей, которые сочиняют совсем неплохие стихи, но категорически отказываются их публиковать, — это делает им честь. Лишь немногим дан певческий дар, с которым можно выходить на сцену, но столь же редок и дар поэтический. И тот факт, что отец вовремя перестал «призывать музу», говорит о нем как о человеке, как сказали бы сегодня, адекватном, осознанно и ответственно делающем свою жизнь: он спокойно разобрался в своем душевном хозяйстве и понял — это не его стезя.

Такое отношение к собственному прошлому говорит о вдумчивости и последовательности отца, о свойственном ему способе жить, не сверяясь с конъюнктурой: что, мол, говорят и делают другие, откуда ветер дует? — а полагаясь на собственное понимание сути происходящего, на свой нравственный кодекс. Люди с таким отношением к жизни, например, либо вовсе не вступают в партию (отец, кстати, и не вступал), либо, если уж вступил, не сжигают публично свой партбилет, надеясь тем самым спасти свою репутацию; не пропагандируют «научный атеизм», чтобы потом стоять «подсвечником» в храме перед глазком телекамеры; не клянутся в «верности идеалам», чтобы малое время спустя клеймить позором «злодеев-большевиков», невесть откуда свалившихся на наши неповинные головы. Для таких людей, каким был отец, важно не сориентироваться «по погоде», а в любую «погоду» жить в согласии с самим собой. Не знаю, передается ли это свойство натуры генетически; скорее всего, не в генетике дело: личность отца, несомненно, определила нравственный тонус жизни нашей семьи, а когда его не стало — семья продолжила жить по тем же нравственным законам, по которым жил он. И хоть мы с отцом во времени разминулись, я думаю, что именно от него — через мать

и брата, через память окружающих о нем — передалось мне убеждение, что жить в согласии с самим собой — единственно достойный способ «сводить концы с концами» в моральном плане в наш идеологически непоследовательный век. И когда, получив письмо от Алика, я начал вникать в обстоятельства «дела» отца, меня поразило внезапное прозрение: да если бы не он, а я был в те годы на его месте, — со мной все случилось бы точно так же! Он погиб не по трагической случайности, а в силу по-своему закономерного конфликта между характером и временем.

Но, возвращаясь к прерванной мысли, я должен признать, что поэтом в начале этой главки я назвал отца опрометчиво и без должных оснований. Что ж, и в семье его помнили не как поэта, а как человека, писавшего стихи: большая разница!

Конечно, я прекрасно это осознавал, когда принимался за свое повествование. Поэтому пишу сейчас не о поэте, который погиб, так и не получив читательского признания. И даже не просто об отце пишу, выполняя долг, увы, уже старейшины рода, — чтобы внуки хоть немного знали о своих дедах. Нет, для меня отец в этом повествовании — обычный сельский интеллигент той поры, который жил обычной же для его социального статуса жизнью. История его жизни и гибели — это, в сущности, обыкновенная (в обстановке безумного российского XX века) история одного из миллионов обыкновенных россиян, которого репрессивная машина растоптала в рубежном для русских поэтов возрасте, не дотащив даже до Гулага.

Нынче я по возрасту, считайте, вдвое старше отца, и даже сравнивать не стоит, насколько его осведомленнее: в моем личном опыте спрессовались и война (хоть пережил ее ребенком), и послевоенная нищета, и «потрясения основ», вызванные XX съездом; и «оттепель», и «заморозки», и суетливая «гласность»; покорение атома и космоса, возвращение хлебных карточек в середине 60-х, падение советского строя, возрождение острозубого капиталистического монстра... С этим опытом, с этим знанием исторических обстоятельств, которые отцу уже не суждено было пережить, я и хочу возвратиться к опыту жизни отца — человека, как читатель понял, родного мне не только по крови, но и по духу, — чтобы попытаться понять: в чем причина его конфликта с «великой эпохой»? Чего добивалась и что потеряла советская власть, убив его в сакральном возрасте русского поэта (да хоть бы и не поэта, хоть бы и в другом возрасте, как было с большинством)?

Восстановить внешние обстоятельства жизни отца поможет мне его расстрельное «дело», с которым нежданно-негаданно довелось познакомиться. А взглянуть на эти обстоятельства изнутри, как бы глазами отца, с учетом его житейского опыта и нравственного потенциала, я попытаюсь, опираясь на стихи из Черной тетради. Конечно, стихи написаны за полтора десятилетия до трагического финала, но в них запечатлен период созревания души, а душа, сформировавшись в юности, сохраняет свой стержень и потом. Думаю, с этим вы не станете спорить.

«От Опоцьки три верстоцьки»

Отец заключил опыт становления своей души в Черную тетрадь, не предназначенную, судя по всему, для посторонних глаз. Насколько я могу судить сегодня, он вообще жил деятельно, открыто, но не нараспашку. Возможно, причиной тому было время, неохотно признававшее право человека на личную жизнь. А может, по природе или по воспитанию он был человек сдержанный, не привыкший «грузить» ближних и дальних своими личными проблемами. Такова же была и наша мама — не знаю только, изначально ли это было ей свойственно или от мужа, нашего отца, ей передалось. На моей памяти в семье всегда все были сдержанны в проявлении чувств, не лезли в душу

друг другу или кому постороннему и никому не навязывали своих болячек, не собирали и не перемалывали сплетни. Эта сдержанность была проявлением не равнодушия к «ближнему» или дальнему, но душевной чистоплотности — привычки, возможно, даже и более важной для здоровья человека, нежели привычка мыть руки перед едой и не бросать сор мимо урны.

У этой семейной традиции была и оборотная сторона: мама редко и мало рассказывала нам с братом об отце (впрочем, все ли знала сама?), не призывала быть такими, как он, и не попрекала тем, что он бы так не поступил. В том не было нужды: в нравственном климате семьи отец и без навязчивых напоминаний присутствовал всегда.

Вот почему Алик, излагая в письме ко мне отцовское «дело», особо выделил биографические сведения: когда и где родился, где учился и т. п. Для нас с братом это все или почти все было внове. Правда, писал мне Алик по памяти и потому допустил некоторые неточности. Кроме того, в «деле» много подробностей, которые брат, видимо, просто не смог запомнить, как не запомнил их и я, просто читая содержимое папки. Однако передо мной сейчас лежат ксерокопии, и я буду постоянно в них заглядывать, рассказывая о коротком, но достаточно извилистом жизненном пути отца.

Но насколько «дело» надежный источник информации, можно ли ему доверять?

Написаны протоколы рукою «допрашивающего». Так определяется его функция в типографски исполненном бланке, буду и я пока что так его называть, потому что назвать его следователем язык не поворачивается (надеюсь, позже вы убедитесь, что это отнюдь не эмоциональная, а вполне адекватная оценка), да и должность у него была, как оказалось, не следовательская. Но подробности о нем — позже, сейчас же достаточно сказать, что это был человек, не обремененный ни чрезмерной грамотностью, ни прилежанием, поэтому написанные его рукой тексты изобилуют разного рода погрешностями. Бросаются в глаза разнобои в написании названий, терминов, фамилий. Даже фамилия отца пишется им чаще с твердым, а не с мягким, как положено, знаком посередине. Когда я буду цитировать протоколы (и другие документы, сохранившиеся в тощей папке), то стану скрупулезно придерживаться орфографии и стиля оригиналов. Вообще-то документы так и полагается цитировать, но применительно к моей теме есть дополнительный резон придерживаться этого правила: в стилистике «судопроизводства» (воспользовался этим словом как более нейтральным, хотя, конечно, по смыслу нужно бы более экспрессивное) весьма заметно проявился стиль той эпохи.

И еще одну особенность подлинников я буду добросовестно воспроизводить при цитировании: многие их строки (в некоторых местах даже густо) подчеркнуты красным чекистским карандашом. Совсем нетрудно понять смысл этих почеркушек: обвинительное заключение, увенчавшее усилия «допрашивающего» по разоблачению «врага», завизированы двумя начальственными подписями. Стало быть, не был отдан мой отец на произвол одного лишь ревностного служаки: более высокие инстанции действия его направляли, контролировали и полученные результаты оценивали. Красные почеркушки в «деле» отца — знаки того, что «допрашивающий» нес свою службу исправно и доказательства получил, с точки зрения своих патронов, неоспоримые.

Однако грамматические ошибки и разнобой в написании географических названий в протоколах допросов не ставят, мне кажется, под сомнение зафиксированные там факты биографии отца. К тому же в искажении таких фактов «допрашивающий» вряд ли был заинтересован (другое дело — их трактовка). А сообщал факты «допрашиваемый», то есть сам мой отец, и в конце каждой страницы удостоверял точность их передачи (но не орфографию!) своей подписью. По-видимому, он не видел нужды (да и не в его характере это было) хитрить, что-то о себе скрывать. Так что этому источнику сведений о жизни отца я склонен вполне доверять и буду пользоваться им в полной мере. Даже

не стану опускать подробностей, вроде бы особого значения не имеющих: это тот случай, когда ничто не должно оставаться в тени, — предельная ясность имеет здесь не только моральный, но и определенный юридический смысл.

Другое дело, что протоколы допросов — жанр, скажем так, специфический. «Допрашивающему» важно ведь было не то, чем и как жил мой отец в разные годы; ему надо было во что бы то ни стало разоблачить заведомого «врага» и «шпиона». В таком ракурсе создатель протоколов и препарировал его жизнь. Но поскольку надуманность обвинений, предъявленных отцу, для меня и всех близких всегда была несомненной, а теперь еще и подтверждена официально, какой смысл их снова обсуждать?

Куда как важнее воспользоваться новыми возможностями, чтоб воссоздать жизненный путь и духовный облик отца, попытаться понять, как и чем он жил в те непростые и неодномерные годы, почему «не ужился» с эпохой, а эпоха — с ним. Понятно, что для такого подхода протоколы из расстрельного «дела» — база, по крайней мере, недостаточная.

Но я уже сказал, что в моем распоряжении есть Черная тетрадь. В ней скупо, но с достоверностью документа запечатлены и внешние обстоятельства жизни отца в переломные годы (даты, названия городов и сел), и, главное, состояния его души, так или иначе связанные с происходящими вокруг событиями. Конечно, состояния души — материя тонкая, для изучения малопригодная: поди-ка пойми, что у человека на душе, когда он совершает тот или иной поступок! Но поэтический «отчет» годы спустя создавался отцом не для посторонних глаз, а для себя: в нем нет лукавства, стремления выглядеть иначе, нежели он сам себя ощущал. При этом он «классифицировал» давние свои переживания, разбив весь рукописный сборник на девять разделов: вот что более всего волновало его в те годы, вот иерархия основных ценностей в его душе.

Напомню, что разделы своего рукописного собрания отец озаглавил по-польски; приведу их названия в русском переводе: I. Слово. II. Работа. III. Природа. IV. Ощущения, поэзия. V. Грусть, мечты. VI. Вера. VII. Борьба. VIII. Житейский круговорот. IX. Свет и тьма. В общем, завершенный круг житейских забот и тревог самоуглубленного молодого человека той поры. Примечательно, что «Слово» он поставил на первое место («Вначале было слово»?), сразу вслед за ним — «Работу», а вот сакраментальную для тех лет «Борьбу» отодвинул аж на седьмое место. Примечательно и то, что в раздел «Природа» включено 39 стихотворений — треть всего, что включено в сборник. А вот раздела «Любовь», казалось бы, неизбежного для стихотворца в таком возрасте, в Черной тетради нет. Хотя даже и для общего счета всех разделов он вроде бы нужен: с ним их было бы не девять, а десять — круглое число всегда выглядит убедительнее... Но, может быть, тема любви не выделена в сборнике потому, что она пронизывает все мироощущение молодого поэта, растворена во всех других разделах? Нет, эта версия не подтверждается: стихи о любви не обнаруживаются и в других разделах этого рукописного собрания. Как объяснить этот факт? Может, молодой стихотворец, в силу природной сдержанности и некоторой рассудочности своей натуры, слишком личные чувства не доверял бумаге? Вполне допускаю. Или зрелый человек, надежный семьянин, наводивший ревизию в «архиве души», не счел нужным сохранять в памяти и в тетради мимолетные увлечения юных лет? Тоже не исключено. Однако могло быть и так, что в те тревожные времена, при множестве резких поворотов судьбы (о чем речь пойдет впереди), сама жизнь не располагала будущего моего отца к романтическим переживаниям.

Так или иначе, Черная тетрадь — важная альтернатива к «делу № 10294», побудившему меня заняться изучением отцовской биографии. В ней не так много биографических фактов, зато он раскрывается не перед энкаведешником, стремящимся изобличить «врага народа», а перед самим собой.

Конечно, в какой-то мере я могу опереться на семейные предания. Да и сам я был свидетелем множества драматических и трагических событий, ко-

торые случились и в стране, и в нашем «ближнем кругу» уже после того, как отца не стало: в них прошлое проявило скрытую до времени суть...

И что же теперь, опираясь на все эти источники, я знаю и могу рассказать об отце?

Важно уже то, что могу назвать точную дату его рождения: 14 августа 1900 года.

Стыдно признаться, но до того, как «дело № 10294» попало мне в руки, я этой даты не знал. Спрашивал у мамы — она отвечала, что отец родился «где-то в августе». Откуда-то в память мне запало — может, с ее же слов — 1-е августа. Алик, уже прочитав «дело», писал мне про 20-е августа (но тут память явно его подвела: в тот черный день отца арестовали). Однако наша «забывчивость» если не извинительна, то объяснима: именины («день ангела, соименного кому святого», объясняет В. И. Даль) в атеистическое советское время отмечать перестали, а отмечать день рождения не научились. Да и как отмечать: не было ни продуктов, ни денег, чтоб устраивать хоть бы самый скромный семейный праздник. Для тех, кого крестили в церкви, эти дни практически совпадали, но таких было уже мало среди моих сверстников, поэтому в детстве я думал, что именины и день рождения — одно и то же; да, кажется, и все вокруг считали так же.

Впрочем, точная дата рождения — проблема частная, семейная. Куда большее значение имеет знание места, где человек родился. И о месте рождения отца мы с братом тоже имели раньше смутное представление, а вот в протоколе допроса оно названо вполне конкретно: «б. Витебской губ. Дриснискoго уезда, ст. Свольна». Правда, на следующей странице протокола говорится уже о Дрисненском, а потом и о Приснинском районе. Между тем ничего похожего по названию на современных картах вы не найдете. Покопавшись в источниках, я выяснил, что речь идет о Дриссенском уезде (районе), ибо райцентром был маленький старинный городок Дрисса, переименованный уже в 1962 году в Верхнедвинск. А станция Свольна названа по небольшой речке, которую пересекает в этом месте линия железной дороги, ведущей от белорусского Полоцка до латвийского Даугавпилса, который в Российской империи назывался Двинском. Речка Свольна впадает в речку Дрисса, а та, в свою очередь, в Западную Двину — она же по-латвийски Даугава. Вот такая география. (Кстати, железнодорожная станция, где родился отец, на современных картах называется Свольно, с буквой «о» на конце, что объяснить трудно, да, вероятно, и не нужно объяснять.)

Чем примечательна «малая родина» отца? Я хотел было сам найти выразительные слова для ее описания, да наткнулся на очень похожий случай в недавно прочитанном романе Вардвана Варжапетяна «Пазл-мазл». Речь там идет о местечке, где родился главный герой повествования: «До Вильнюса, Чернигова, Витебска ехать одинаково. А переходили [эти территории], как карты в “дурака”, то к Польше, то к Литве, то к Украине, то к Белоруссии». В местечке том «жили белорусы, поляки, украинцы, литовцы, немцы, несколько чехов и цыган, один итальянец. Русских не помню»[5]. Отцовские родные места расположены чуть севернее описанных в романе, соответственно и «этнический ассортимент» в них был несколько иной, но столь же пестрый; точно так же эти места переходили то к Польше, то к Латвии, то к Белоруссии. Так много раз переходили, что ингредиенты, варившиеся вместе в здешнем «этническом котле», уже трудно было отделить друг от друга. Покажу это хоть бы на одном примере.

Самый, наверно, знаменитый земляк отца — исследователь Восточной Сибири, географ, геоморфолог, палеонтолог Иван Дементьевич Черский (1845–1892); имя его широко представлено в топонимике Сибири, и даже в Москве

---

[5] *Вардван Варжапетян*. Пазл-мазл. Записки гроссмейстера. Роман. — М.: Время, 2010. С. 12–13.

есть переулок Черского. Он появился на свет в родовом имении Свольна — то есть не совсем там, где мой отец, но где-то рядом: вся-то речка Свольна имеет протяженность 71 км. И кто же он, Черский, по национальности? По одним источникам, поляк, по другим белорус, а по третьим даже литовец. Кстати, в Сибирь его сослали за участие в восстании Кастуся Калиновского, но и тот знаменитый бунтарь тоже был то ли поляк, то ли белорус, то ли литовец (последняя версия встречается реже, но тоже существует). По-моему, подобные случаи (а их не так уж мало) должны бы явиться наглядными уроками для нынешних ревнителей «чистоты крови»: когда люди веками живут в добрососедстве, они настолько срастаются общей памятью, общими обычаями и даже языками, что становится трудно, если вообще возможно, раскладывать их по «этническим полочкам».

Кстати, в семье, из которой вышла моя мама (а родилась она в тех же краях, что и отец), с пеленок говорили и на каком-то белорусско-русском диалекте, и на польском языке, притом к праздничному столу почему-то любили готовить блюда еврейской кухни (лэких, цимес, форшмак, что-то там еще), хотя не были ни поляками, ни евреями.

Вот и отцовские три языка с детства объясняются его происхождением из того же «этнического котла». Между прочим, и в протоколах допросов он значится то как русский, то как белорус, а что было записано у него в паспорте, конфискованном при аресте, даже не знаю. И как сейчас установить? Да и зачем?

Ни на Свольне, ни на Дриссе побывать мне не довелось, но где-то вблизи — скажем так, в треугольнике между древним Полоцком и старинными псковскими городами Себеж и Опочка («От Опоцьки три верстоцьки...» — услышал я в тех местах) — бывать случалось. Незамутненные озера, кристальные ручьи, берендеев лес, наполненный ягодами, грибами и птицами; среди такой благодати кощунственно осквернять воздух сигаретным дымом, и как раз там я когда-то легко расстался с дурной привычкой, вынесенной из заводской юности.

В таких местах рождаются поэты.

Не та ли сказочная природа пробудила страсть к стихотворству и у моего отца?

Мне кажется, что ответ на этот вопрос можно найти, читая стихотворение, где воссоздана очень узнаваемая картинка знакомых мне мест:

Косогоры да болота,
Карлик-лес, обросший мохом...
Пусть поет, кому охота,
Моя песня будет вздохом.
Извивается дорога,
Точно змейка, по болотам.
Край суров, работы много,
Лишь к труду была б охота...

Хочу на минуту отвлечься от содержания этих строф, чтоб обратить ваше внимание на их графический облик. Выше я уже цитировал стихотворение, где строфы смещались лесенкой слева направо, теперь вот не только строфы, но и строки внутри каждого четверостишия сдвигаются в том же направлении. А многие другие стихи в Черной тетради, не разбитые на строфы, написаны тоже лесенкой (иногда, правда, лесенка спускается справа налево). Писал отец ровным, уверенным почерком, опять-таки с левым наклоном. Наверно, графолог-мистик нашел бы в том потаенный смысл, но ни в стихах, ни по жизни (сужу и по семейным преданиям, и по протоколам допросов) мистиком он не был (что мне особенно греет душу, ибо сам таков). А по моему разумению, дело с отцовским почерком совсем простое: писали тогда «с нажимом», стальным пером (а кто-то даже предпочитал перо «рондо» с широ-

ким пишущим концом); нажим получался естественней и ровней, если вести перо наискосок слева направо... Почерк с левым наклоном раньше встречался довольно часто, а перешли на шариковые ручки — давно не встречал.

Привычка писать с левым наклоном сформировала, я думаю, в подсознании отца некую графическую доминанту, которая, в свою очередь, повлияла на расположение строк. Из всей этой «геометрии» для меня очевидно, что отец ценил в стихах «сделанность» — не только смысловую, но и формальную, даже и графическую завершенность. Очевидно еще и то, что он не подстраивался под канон, не боялся в любой ситуации оставаться самим собой — смолоду был человеком определенным, разумным, любящим во всем ясность и последовательность. (Думаю, эти свойства души полтора десятилетия спустя сильно повлияли на его судьбу: выжить, не приспосабливаясь, в ту пору было трудно.)

Однако я процитировал стихотворение все же не ради «лесенки», а чтобы подчеркнуть характерную для многих стихов отца тональность: «Моя песня будет вздохом...» Поводов для «вздохов» находилось много вокруг: «...Отчего в стране свободной / Мы трусливы, как рабы, / С равнодушием холодным / Ждем подачек от судьбы?»; «А ведь этот день, что так вяло плетется, / Тоже в счет жизни зачтется»; «Человек в стране угрюмой / Видит холод, мало света. / Он один с своею думой... / Можно ль ждать его привета?» О настроениях отца, когда он писал о природе, дают представление даже первые строчки многих стихов, обычно выполняющие роль названий: «Качалися голые ветки», «Целый день носились тучи», «Цветики-малютки отцвели, опали», «Дождь монотонно и так тоскливо», «Мрачно и безмолвно», «Саваном снежным покрыта земля» и т.п.

Что это — юношеская меланхолия?

Думаю — другое. В стране происходили бурные события, старый мир был уже разрушен «до основанья», а черты нового прорисовывались смутно. По молодости лет отец не выработал еще своего политического кредо, а в силу интровертивного склада характера не был склонен к стадному поведению. Отнюдь не из осторожности, а потому, что не был убежден в непреложной правоте «красных» или «белых», он держался несколько в стороне от «мировой схватки». В одном из стихотворений, написанных летом 1922 года, он обозначил свою позицию так:

Где-то жизнь кипит, волнуется, как море,
Где-то там есть много счастья, много горя,
Где-то дни сгорают, как в огне.
Эта жизнь не чужда мне.

Но милее мне спокойная природа.
В ней гармония и чудная свобода.
Сколько в ней таится красоты!
К ней летят мои мечты.

А еще милей, как после бури
Станет тихо, прояснится свод лазури,
Снова солнце ярко заблестит,
Все опять озолотит.

Чуткий к поэтическому слову читатель, конечно, заметит, что «гармония и чудная свобода» — несколько иной уровень поэтического восприятия природы, нежели «самая кровная, самая смертная связь» с каждой травинкой у признанного национального поэта. Но чтобы такая связь образовалась, нужно жить единой жизнью с природой; лучше всего это получается у поэтов крестьянского происхождения. А у отца корни были все-таки не крестьянские, и даже стихи, составившие цикл «Природа», он писал не столько о природе, сколько о...

Впрочем, не буду спешить с обобщениями. Чтобы понять истоки его поэтических рефлексий, следует поближе присмотреться не столько к «косогорам да болотам» на границе Белоруссии и нынешней Псковщины, сколько к обстоятельствам его жизни среди людей.

«Социально-чуждые» корни

Об Иосифе, старшем брате отца (я расскажу о нем чуть позже), в разных источниках говорится: «из мещан»; а о социальном происхождении отца в анкете, с которой, согласно установленному ритуалу, начинается протокол первого допроса, сказано более приближенно к советским представлениям о социальной структуре общества: «Из семьи жел. дор. рабочих». Более детально вопрос о его происхождении освещается в показаниях, данных им в застенке (на всякий случай еще раз напоминаю, что при цитировании орфографию, пунктуацию и стилистику оригинала сохраняю в первозданном виде):

«До одиннадцати летнего возраста я проживал вместе с родителями в разных местах бывшей Витебской губ. в том числе и в г. Двинске (Латвия). Отец мой все время работал на ж.д. стрелочником и путевым обходчиком. С возраста одиннадцати лет я поступил учиться в Двинское ж.д. училище, где проучился 2 года, после чего перешел в Дрисненское высшее начальное училище в котором прошел три класса и в 1915 году в следствии эвакуации при наступлении немцев Дриснискoe училище свою учебную деятельность прекратило.

После чего я в Дрисненском районе устроился работать на ж.д. в качестве поденного рабочего где и проработал около 8 месяцев».

В этом коротком отрывке протокольной записи есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, отец, как видите, был «из семьи жел. дор. рабочих», что записано и в анкете, предваряющей его первый допрос. Казалось бы, принадлежность по рождению к «классу-гегемону» обеспечивала ему в условиях «пролетарской диктатуры» хоть в какой-то мере «презумпцию доверия», но у меня возникло подозрение, что на решающем повороте судьбы она отца даже подвела. Но об этом — после.

Из той же записи видно еще, что с раннего детства будущему моему отцу пришлось вести «кочевую» жизнь, что, конечно, расширяло его житейский опыт, но лишало того стабильного окружения, в котором складываются обычно и устойчивые дружеские связи, и групповые, с оглядкой друг на друга, нормы поведения. В одном из стихотворений 1921 года — судя по всему, это стихотворное послание одному из братьев по случаю дня рождения — он пишет:

Мрачное детство досталося нам,
Что говорить! Это знаешь ты сам:
Редко к нам солнца лучи проникали,
Солнышко черные тучи скрывали.
Мы одиноко жили средь полей,
Нам не хватало детишек, друзей;
Зато обладали душой мы крылатой:
Мечта нас вводила в мир, солнцем богатый.
И там мы друзей создали себе.
(Я думаю, помнится это тебе.)
Друзья наши были реальны и живы...
И в мире фантазий мы были счастливы.

Когда человек не встроен или встроен непрочно в систему социальных отношений, жить ему гораздо трудней; но, конечно, многое зависит от того, какой «человеческий материал» попадает под молот судьбы. У сильного человека (каким, несомненно, был отец) он вырабатывает самостоятельность

мышления и независимость поступков. Качества, конечно, ценные, но в определенной обстановке они создают дополнительные опасности.

Отмечу, наконец, и то, что детство в родительской семье у будущего моего отца было коротким. Никто его не выталкивал «в люди», как Алешу Пешкова. О достатке в его отцовском доме не знаю ничего, но если учесть, что железнодорожная отрасль со времен Витте была в России в фаворе и железнодорожным рабочим, хоть бы даже и стрелочникам, жалованья платили относительно приличные, можно предположить, что вряд ли семья бедствовала.

Сохранилась дореволюционная фотография деда Матвея: крепкий и нестарый еще человек с ухоженными гренадерскими усами с подусниками, взгляд прямой и открытый — взгляд человека, знающего себе цену и привыкшего к уважительному отношению окружающих. Фотография содрана с какого-то официального документа; клей был прочный, и на нем удержался тонкий бумажный слой, на котором можно прочитать зеркально перевернутую надпись с «ерами» и «ятями»: «Место для фотографической карточки». А под этим слоем легко читаются слова, написанные рукой, чувствуется, не очень привычной к перу: «сторожъ 8 ок. Матвей Васильевичъ Лукьяновъ» — почему-то именно так, хотя все его сыновья — не только отец, но и его братья — изначально были Лукьянины. Пониже той же рукою: «грамотный». Сам фотопортрет деда на лицевой стороне заключен в овал, а под ним надпись на белом поле более уверенным почерком. Из-за повреждений карточки она плохо читается, но с детства помню ее смысл: некий столоначальник подтверждает, что подпись на обороте действительно дедова.

Почему-то должности Матвея Васильевича менялись, но он все время работал при железной дороге и жил на казенных квартирах то на полустанке, а то и вовсе на перегоне. Дом сам по себе мог быть добротный, но — в стороне от селений. Пока дети малые — нет особых забот, а подросли — где их учить и чем занять? Вот почему все сыновья Матвея Васильевича рано уходили из дому. Сначала их определяли на учебу, а потом они в семью уже не возвращались. Так получилось и с моим отцом. Наверно, поэтому внутрисемейные связи у них были непрочными, буйные ветры революционных событий далеко разбросали их всех друг от друга. Мои родители какую-то — но очень слабую, наверно, — связь с Матвеем Васильевичем поддерживали (иначе откуда попала бы к нам его фотография?), но до нас с Аликом не дошло достоверных сведений о том, когда и где он умер (кажется, уже в начале 30-х на каком-то полустанке), а про его жену — нашу бабушку со стороны отца — мы не знали совсем ничего: не только когда и где она умерла, но даже как ее зовут.

А братьев у отца было трое. И еще сестра. С одним братом и сестрой (моими дядей и тетей) мама переписывалась, а мне даже однажды довелось встретиться с ними обоими. Про другого брата в нашей семье были самые смутные сведения; про третьего я узнал только из протокола допроса, где о нем упоминается совсем вскользь.

Вот что записано в протоколе со слов отца:

«Из близких родственников я имею двух братьев и одну сестру, а также и родственников по жене. Братьями являются: Лукьянин Иосиф Станиславович рождения 1888 года который с 1914 года по 1930 год служил в разных местах ксендзом, был три года ксендзом в царской армии. В 1930 году служа ксендзом в м. Чаусы он б. органами ОГПУ был арестован и сослан в Соловки, где он находится в настоящее время я не знаю».

Не сомневаюсь, что он на самом деле о том не знал (как не знал, вероятно, и «допрашивающий»), потому что в тот момент Иосиф Станиславович все еще находился под бдительным присмотром чекистов (только теперь они уже назывались сотрудниками НКВД), а в самом ближайшем будущем судьба его совершит очередной, теперь уже смертельный вираж: будучи старше отца на двенадцать лет, он пережил-таки младшего брата, но всего на двадцать два дня...

Сейчас, когда многие «дела», подобные отцовскому, засекреченные было на веки вечные, раскрыты и преданы огласке, некоторые подробности о жизни и смерти старшего брата отца, нашего дяди, мы еще с Аликом узнали из Интернета. Там много о нем, но я не стану пересказывать разные интернет-ресурсы, а процитирую лишь один источник, где сведения о моем дяде-священнике даются достаточно полные, но в самом кратком изложении:

«**ЛУКЬЯНИН Иосиф Станиславович**, 1888–03.11.1937. Родился в пос. Казарма № 52 Двинского у. Витебской губ. в мещанской семье. Белорус. Окончил С.-Петербургскую ДС. В 1914 посвящен в сан римско-католического священника. Служил викарием в костеле Пинска с 1914, с 1915 по 1917 капеллан, после 1917 — в костеле Полоцка. Арестован в Полоцке 07.08.1922 по делу «О мощах блаж. Андрея Боболия», отказался присутствовать на их вскрытии. 12.09.1922 отправлен в Витебскую тюрьму. 12.10.1922 освобожден под подписку о невыезде. 03–04.09.1923 губернским судом Витебска оправдан. Вновь арестован в 1925, освобожден по болезни. Лечился в Ленинграде от неврастении, служил в костелах города. С 16.09.1927 администратор прихода в Чаусах Могилевской обл. 30.09.1929 арестован в Чаусах, обвинялся в "систематической антисоветской агитации в проповедях, настраивая верующих против сов. власти, призывая их к объединению против безбожников, эти проповеди кончались плачем верующих". 03.02.1930 по постановлению Особого Совещания при Коллегии ОГПУ — ходатайство о внесудебном приговоре. 13.03.1930 осужден на 10 лет концлагерей. Отправлен в Сызранский ИТЛ, позже — на Соловки, куда прибыл 16.06.1931. С 10.1931 переведен на о. Анзер. 05.07.1932 арестован здесь по групповому делу католического духовенства на о. Анзер. Согласно постановлению от 09.07.1932 следствие ходатайствовало о его "переводе в Ярославский политизолятор и содержании отдельно от всех". Оставлен на Соловках. Вновь арестован здесь в 09.1937. 09.10.1937 по постановлению Особой Тройки УНКВД по Ленинградской обл. осужден к ВМН. Расстрелян и похоронен под Медвежьегорском (Карелия) в урочище Сандормох»[6].

Продолжу, однако, цитату из протокола допроса: «Второй брат Лукьянин Викентий Станиславович 1897 года рождения, он по 1926 год все время служил органистом сначала в латышских, а потом польских костелах в разных городах. С 1921 по 1926 год служил органистом в костеле гор. Гомель, потом в 1926 году там-же в Гомеле перешел на советскую работу в контору Союзхлеб, где на сколько мне известно работал кладовщиком. Приблизительно в 1934 году был осужден, за что, не знаю, и в настоящее время отбывает наказание где-то на Урале».

Дяди Вини (так его звали у нас дома) в Интернете нет, зато однажды я сам с ним встречался. Летом 1949 года мы вдвоем с мамой (Алик уже работал слесарем в вагонном депо и не мог поехать с нами) совершили отчаянное путешествие — побывали у сестры отца Марии Матвеевны (тети Мани). Вот что сказал о ней отец на допросе: «Сестра по мужу Соренс Мария Матвеевна 1903 года рождения в настоящее время учительствует вместе с мужем в неполной средней школе в селе Прошково Идрицкого р-на, Калининской области».

В это самое Прошково мы и отправились. Как мы туда ехали, сегодня не увидишь даже в кошмарном сне. Сначала штурмом брали среди ночи теплушку какого-то «пятьсот-веселого», остановившегося на нашей станции. В дороге дремали стоя, потому что в той тесноте даже присесть на корточки не было возможности. Но за ночь почти все попутчики повысаживались на каких-то полустанках, и к конечной (для нас, однако, промежуточной) станции Орша мы подъезжали «кум королю»: привольно раскинувшись на голом дощатом полу этого двухосного товарного вагона без окон; по сей день помню, как в проеме широко распахнутой двери над искрящимся росой лугом алела заря

---

[6] Книга памяти. Мартиролог католической церкви в СССР // Серебряные нити. — М., 2000. С. 109. Цит. по: http://www.petergen.com/bovkalo/mar/katd.html; см. также: http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=5579

в полнеба. Потом были другие переполненные вокзалы и равноценные по «комфорту» поезда, изматывающая тряска на ухабистой дороге в набитом битком автобусе, езда на случайных попутках и в конце концов незабываемые восемнадцать километров пешком вдоль изуродованной немцами при отступлении железной дороги: очевидцы рассказывали, что к мощному паровозу сзади прикреплялось орудие наподобие плуга — шпалы с его помощью ломались, как спички, рельсы тоже лопались и разваливались на несколько частей. А по сторонам — печные трубы среди крапивы и бурьяна: когда-то там стояли хорошо знакомые маме деревни...

Первый взгляд на нашу тетю Маню вызвал у меня замешательство, граничащее с шоком: согбенная фигура, трясущиеся руки, неуправляемая мимика, непроизвольно вздрагивающая голова; стянутые узлом на затылке волосы будто пересыпаны пеплом. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к ее пугающей внешности, и лишь тогда я смог оценить ее приветливость, доброту и природный ум.

Сорокашестилетнюю женщину сделали страшной старухой война и уже послевоенные, но все-таки связанные с войной беды. Наверно, я не все слышал, что рассказывала тетя Маня моей маме про свои военные годы, — иные рассказы, полагаю, не были предназначены для детских ушей. Но запало в память, как она чуть ли не трое суток скрывалась в болоте от карателей: сама лежала на спине в воде, а на груди, как на сухом островке, спасалась трехлетняя дочурка Люся. И нужно было обеим так затаиться под разлапистой елью, чтобы их не заметил проходящий иногда совсем рядом, в двух шагах, немец с автоматом... Бог, как говорится, ее миловал — осталась живой сама и дочку сберегла. Но уже в первый послевоенный год шестилетняя Люся умерла, получив заражение крови от какой-то злосчастной занозы: невозможно было в той растерзанной глуши получить медицинскую помощь. А вскоре подорвался на мине и потерял ногу, оставшись на всю жизнь инвалидом, сын Леня — мой двоюродный брат... Нервная система тети Мани была непоправимо разрушена. Удивительно, как ей еще удавалось преподавать в школе: и мелом на доске, и записи в классный журнал делала сразу двумя руками; а вот кухонными делами дома заниматься вовсе не могла — перебила бы все горшки. Эту и вообще всю традиционно женскую работу по дому взвалил на себя интеллигентнейший Евгений Александрович Соренс, ее муж, получивший свою датскую фамилию еще до революции от помещика, в доме которого он, белорус, крестьянский сын, в детстве служил мальчиком на побегушках. Она же занималась дома работой традиционно мужской: колола дрова, копала огород...

Когда мы побывали в тот раз у тети Мани, Прошково вместе с районом числилось уже за Великолукской областью, упраздненной еще, кажется, в 1959 году. Сейчас эта территория отошла к Псковской области, только существует ли нынче Прошково? Если верить Интернету, то — да; присмотреться, так даже на снимке со спутника что-то просматривается среди лесов и озер. Но почему у меня возник вопрос? Почти два десятилетия спустя после первого посещения тех мест (а это значит, уже больше сорока лет назад, если считать от наших дней) съездили мы с женой Альбиной и совсем еще маленькой Галей погостить к Лене Соренсу. Он давно уже был тоже женат, имел дочь и сына. Евгений Александрович, к тому времени глубокий пенсионер, тоже жил в его семье и по привычке делал что-то женское по хозяйству. Но жили они уже в Долосцах — это километрах в пяти-шести, если по прямой, от Прошкова. Леня и свозил нас к матери... На месте, где прежде стояло село, мы увидели лишь заросли бурьяна да крапивы: кто-то из «аборигенов» переехал в города и веси, более приспособленные для жизни (как и наш Леня со своим отцом), но большинство переселилось совсем недалеко... На заброшенном кладбище за бывшей околицей, среди разросшихся деревьев и густых кустов, не без труда отыскали мы покосившуюся пирамидку, под которой упокоилась наша тетя Маня...

За сорок с лишним лет, конечно, многое изменилось; давно уже и Лени нет...

Но возвращусь в памятное лето сорок девятого. Как я упомянул, у тети Мани мы застали Викентия Станиславовича, дядю Виню. Он приезжал к сестре из Воркуты: там (а не «где-то на Урале») он отбыл невесть за что назначенный ему срок (отец не знал — это понятно; но и сам он, как я понял, не знал, за что именно); там же, за полярным кругом, и остался доживать, устроившись каким-то счетоводом, что ли, на аптечной базе. А куда и к кому ему было ехать? Жена умерла, его не дождавшись, сын Зыгмусь погиб на фронте...[7] В свои пятьдесят два дядя Виня казался уже совершенным стариком (мне запомнилась его добрая беззубая улыбка), да, в сущности, таковым и был; чуть ли не в тот же год, как мы с ним встретились, он и умер...

Перечислив еще родственников жены (то есть нашей мамы) и упомянув о своих дядьях, «которые проживают в Латвии, но я их совершенно не знаю, не знаю их имен и связи с ними не имею», отец сказал на допросе: «Кроме того, в Польше проживает жена померщего моего брата Вацлава, но где не знаю. Вацлав так-же был органистом польского костела». Кроме того, что заключено в этих двух коротких фразах, о своем третьем дяде я не знаю больше ничего. Есть еще, правда, в Черной тетради стихотворение, датированное 20 октября 1922 года и озаглавленное «Памяти В. М. Л.»:

Снова в сердце удар, беспощадный удар:
Вновь из цепи родной выбывает звено.
Мы идем. Впереди беспросветно темно.
И, теряя своих, мы идем... а куда?

Здесь, как и в последующих двух строфах, нет ни малейшего намека на конкретные житейские обстоятельства, но, может, инициалы «В.М.Л» расшифровываются как «Вацлав Матвеевич Лукьянин»? Если это так, то можно предположить, что умер дядя Вацлав осенью 1922 года; поскольку был он уже женат и служил в костеле органистом — значит, был старше отца и, вероятно, старше дяди Вини.

Понятно, что никаких семейных подробностей в «деле» отца не было, потому что и не могло быть, но интересны ли они читателю? Я рассудил так: это только для меня и моих близких Петр Матвеевич Лукьянин — отец, дед, прадед. А для читателя что он, что его братья и сестра, что «сторожъ 8-го ок. Матвей Васильевичъ Лукьяновъ» — одинаково чужие люди. Но они могут быть интересны ему хотя бы тем, что никаких социально-политических идей собою не воплощали, а просто жили в нашей дорогой и несчастной стране в те годы, когда все ломалось, рушилось, перестраивалось и снова подвергалось разным напастям. Ради чего совершались эти пертурбации? Как оценить их результаты? Какой урок надлежит из всего этого извлечь нам, нынешним?.. Об этом нынче часто рассуждают «вообще», а вот вам конкретные люди и конкретные судьбы. Причем представляют мои родственники то время не по «репрезентативной выборке» социолога и не по художественному вымыслу беллетриста: все они произошли из одного «куста» и прожили свои жизни на самом деле. По-моему, нам сегодня тем более важно их понять, что обстоятельства, в которых мы живем сейчас, унаследованы от тех обстоятельств, которыми сломаны судьбы персонажей этой, увы, непридуманной истории...

«Допрашивающий» не мог, конечно, не спросить отца: «Расскажите следствию почему вы именуете себя по отчеству Петр Матвеевич а братьев Иосифа и Викентия называете по отчеству Станиславовичи?» (С синтаксисом он,

---

[7] «ЛУКЬЯНИН Сигизмунд Викентьевич. Род. 1921. Сержант. Погиб в мае 1943. Похоронен: Западнодвинский район, деревня Барсуки», — записано в тверской Книге памяти (http://www.history.tver.ru/book/book.php?r=7&l=192&ch=2&lim=400&ch=2).



конечно, был не в ладу, но важно другое: такой, по сути, вопрос давно уже, наверно, созрел и у читателя.)

Ответ отца (в «литературной обработке» «допрашивающего») был прост: «Мой отец являлся коталического вероисповедования, и имел два имени — Станислав и Матвей. Братьев по метрикам отец записал по его имени Станиславовичи а меня на второе имя Мотвеивичем. Другого в этом ничего не происходило». Косноязычно, но понять можно.

Кстати, упомянутый выше земляк отца географ Черский, столбовой дворянин по происхождению, при крещении получил даже тройное имя: Ян Станислав Франтишек, а в Сибири стал Иваном Дементьевичем, потому что так ему проще было общаться с окружающими. Вот и наша тетя Маня, Мария Матвеевна Соренс, представила землякам-прошковцам своего брата Викентия Станиславовича как Матвеевича (я сам слышал, что они так его называли), чтобы предупредить недоуменные вопросы. Но это так — к слову.

Путаница с отчествами, видимо, не очень интересовала «допрашивающего»: получил разъяснение и отступился. Он стремился к заведомо ясной цели: уличить отца в связях с его «преступными» братьями. Но это отдельный сюжет, в котором раскрывается не столько характер (отца), сколько обстоятельства, в которые его поставило время. Я непременно вернусь к этому сюжету, но немного позже. А для понимания отцовского характера важнее осмыслить тот факт, что он был одним из пятерых детей путейского рабочего, то есть человека, всю жизнь имевшего дело с железками, а между тем трое его братьев стали служителями церкви, отец же — убежденным атеистом. (Об этом знаю от мамы, которая и сама, прожив до девяноста, вопреки распространенному мнению о стариках, никакого интереса к религии не проявляла. Впрочем, в стихах отца, особенно написанных по-польски, — «Вера», «Школа и костел», — есть прямые свидетельства его убежденного атеизма.)

Впрочем, сам по себе этот факт объяснить, пожалуй, и не очень сложно. Дед мой Матвей Васильевич не был привязан к земле — разве что грядки какие-нибудь при доме у них были. Так что подрастающих детей держать при себе не мог. Отправлять их куда-то работать — годами не вышли, а учиться — куда? Думаю, при его скромных достатках бурса была для старших сыновей самым доступным учебным заведением. А младший, Петр, вступал в жизнь уже в другое время, да и жил сызмальства в стороне и от отца с матерью, и тем более от братьев. Да и характер у него был самостоятельный. Вот он и пошел иными путями, нежели они. Не о том ли строки в цитированном выше стихотворном послании к кому-то из братьев?

> Наша цепь разбрелась. Мы бредем кто куда.
> Одного манит солнце, другого звезда.
> Мы идем все вперед и не знаем куда.

Главная сложность семейной ситуации моего отца заключалась в другом: по канонам советской историографии он и его братья должны были оказаться по разные стороны баррикад, а на деле так не получилось. Впрочем, ксендз Иосиф Станиславович, можно сказать, погиб именно на баррикадах, но про то, чтобы он как-то негодовал насчет атеиста Петра, семейных преданий не сохранилось. Ничего не знаю про Вацлава, да он и жил где-то вдали от родовых корней. А что касается отца — он, возможно, потому и на баррикады не пошел, что пришлось бы противостоять братьям. Прямых свидетельств этому у меня нет, но есть его стихи...

Однако о стихах — позже, а сейчас познакомимся с тем, как повел себя подросток Петр Лукьянин, предоставленный себе самому в самые катастрофические годы отечественной истории.

«В 1916 году, — записывает его показания энкаведешник, — переехал на жительство в г. б. Петроград где и работал швейцаром в одной из столовых, одновременно учился в частном так называемом уездном училище, которое

окончил в апреле 1917 года. По окончанию этого учебного заведения я сразу поступил учеником в Волынцевское почтово-телеграфное отделение откуда в этом-же 1917 году осенью был назначен на самостоятельную работу в Дорогобужскую почтово-телеграфную контору».

Зарабатывая на жизнь швейцаром в столовой, получать одновременно среднее образование, когда в мире война, а в Петрограде голод, когда озлобленные толпы ходят по улицам, все более громко бряцая оружием, — для этого, знаете ли, нужны иные качества души, нежели для того, чтобы «каплею литься с массою»...

Двух станов не боец

Следующий поворот судьбы «допрашиваемого», видать, сильно заинтересовал вершителей судеб из НКВД: тринадцать подряд строк протокола жирно подчеркнуты красным карандашом:

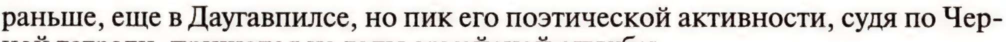
«В январе 1918 г. по личной просьбе я был переведен на работу в Двинскую почтово-телеграфную контору где и работал по день призыва в Красную армию. В 1919 году я был призван в ряды Красной армии и сразу послан по специальности во временную полувоенную почтово-телеграфную контору гор. Двинска. В 1920 году вместе с Двинским горнизоном был захвачен в плен но ни куда не отправлялся и все время до 1920 года проживал свободно в Двинске. В августе 1920 года от начальника Лотгальской области губернатора фамилии его не помню, получил разрешение на выезд в СССР, после чего я сразу приехал в Москву в центр плен. беж.»

Что такое «центр плен. беж.», не берусь расшифровать точно, но смысл более или менее понятен и без расшифровки. Какой же криминал бдительные «стражи революции» усмотрели в злоключениях парня, который невзначай попал в водоворот событий? Ведь ничего против большевистской власти в эти два года он не совершил, чуть стало возможным — отправился в Москву, а не куда-нибудь на Запад. А про то, что пленные — заведомые предатели, тогда, слава богу, еще никто не знал.

Впрочем, это только кажется, что никто не знал. Еще в первую русскую революцию поэт-символист Н. Минский, временно преисполнившись баррикадного духа, сформулировал бессмертную строку: «Кто не с нами — тот наш враг, тот должен пасть». Сам-то Николай Максимович потом уехал в эмиграцию, где и умер в возрасте 82 лет в 1937 году (своею смертью!), а его «Гимн рабочих», откуда пошла знаменитая строка, остался на родине. Его продолжали петь и в 20-е, и в 30-е, даже, помнится, и в 50-е годы он иногда звучал по радио, а строка эта и сейчас у всех на слуху: лучшей формулы для выражения большевистского радикализма за все время советской власти никто придумать не смог. Но в начале 20-х годов советская власть еще не была абсолютна, так что двухлетнее пребывание «вместе с горнизоном» как бы в плену никто двадцатилетнему красноармейцу в вину не поставил, но потом, как видите, припомнили...

Из Москвы, продолжает давать показания отец, он «по командировке наркомпочтеля был послан работать в Смоленскую почтово-телеграфную контору. В октябре 1921 года уездвоенкоматом я был откомандирован в распоряжение командира телеграфно шестовой роты при штабе Западного фронта, где я сначала выполнял обязанности по хозяйственной части, а потом через непродолжительное время в этой-же роте был назначен библиотекарем».

Чекистов эти его признания особо не заинтересовали, а зря: тут они могли бы найти дополнительный компромат на «злодея». На полувоенной «телеграфно-шестовой» службе у будущего моего отца было время для размышлений и книги под рукой: тогда, по-моему, и завершилось формирование его характера. Свидетельство тому — его стихи: писать-то их он начал чуть



раньше, еще в Даугавпилсе, но пик его поэтической активности, судя по Черной тетради, пришелся на годы армейской службы.

Характерно одно из стихотворений этого периода. Написано оно в марте 1922 года в Смоленске (автором же уточнено: в Свирских казармах). Прошло пять месяцев с того момента, как отец начал служить в телеграфно-шестовой роте; перипетии Гражданской войны, в которой он принял лишь косвенное участие, остались позади, как и сама война (по крайней мере, ее «горячая» стадия). Круговорот событий, из которого ему пришлось выбираться в одиночку, тоже был для него уже пройденным этапом; жизнь обрела если не стабильность, то, по крайней мере, очевидную — пусть и казарменную в буквальном смысле слова — упорядоченность. А тут — весна! Вот это ощущение и выплеснулось из глубины души стихотворными строчками:

Жег огнем мороз трескучий,
Да гулял буран могучий,
Да носились снегу тучи...
Все прошло...
Солнце ласково пригрело,
Зло куда-то улетело.
Все вокруг зазеленело,
Зацвело.

Стихи, конечно, любительские, но обратите внимание на затейливый ритмический рисунок: не часто случается видеть, что кто-то вступает на поэтическую стезю с такой изначальной способностью ощущать музыкальную основу стиха. Умение использовать столь тонкое поэтическое средство, как выразительность стихотворного ритма, приходит лишь с опытом, да и то далеко не у всех стихослагателей. Но ритмическое разнообразие стихов, представленных в Черной тетради, свидетельствует о том, что хоть автор и не собирался, по всей видимости, публиковать свой рукописный сборник, но определенный уровень зрелости сам в своих стихах ощущал.

Думаю, однако, что отец не стал бы возражать, если б кто-то уточнил: речь не о профессионализме поэта (иначе он не остановился бы на рукописном варианте), а о зрелости души. Зрелость души — это, прежде всего, способность чувствовать, думать и жить по-своему. Что эти качества свойственны автору Черной тетради, можно заметить и по стихотворению, которое я начал, но не закончил цитировать выше. В тех строчках, что я выписал, заложена классическая матрица «было — стало». Эталонный образец: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась... / А нынче... погляди в окно...» Но у классика радостная тема пробуждения от строфы к строфе усиливается, достигая ликующей ноты (правда, все переводится в иную тональность самой последней строкой, но это уже «высшая алгебра» поэзии). А у начинающего стихотворца из Свирских казарм вдруг в самой радости появляется и резко нарастает горчинка тревоги:

Все цветет и торопится,
Знает уж, как буря злится...
Знает — это все случится
Впереди...
Что здесь больше прав имеет:
Или то, что зеленеет,
Или то, что смертью веет?..
Посуди!..

Этот внезапный поворот темы — уже свое. Причем рожденное, если судить и по другим стихам отца из Черной тетради, не случайной переменой настроения, а устойчивым состоянием души.

А вот строки, написанные несколькими месяцами раньше:

И кажется, будто вся жизнь так ясна,
Как день этот майский, как эта весна...
Но майские дни... ведь не вечны они,
Придут в свой черед и осенние дни...

И еще:

В небесах лазурно-бледных солнышко сияет.
Радость жизни и свободы душу окрыляет...
А что это?.. Заступ роет... свежую могилу...
Разве этим ясным утром смерть имеет силу?

Эти мотивы варьируются во многих отцовских стихах 1921–1922 годов, обнаруживая разные свои грани. Между тем, что именно его «сердце гложет», «душу мучит» (из стихотворения, написанного в июне 1922 года), он ни разу «открытым текстом» не говорит. Можно только догадываться, что не мелкие (да хоть бы и крупные) личные неприятности, а ни много ни мало состояние мира, частью которого он себя ощущает.

Вот мажорное начало еще одного стихотворения, написанного тем же летом:

Пришла обедать уж пора,
А дождик льет как из ведра.
Работать можно под дождем.
А как обедать-то начнем.

И сразу вслед за тем — расхожая вроде бы реплика, ничуть не нарушающая общего мажорного тона: «Пустяк, не знать бы больших бед». Лишь в контексте всех других отцовских стихов она обретает нетривиальный смысл: значит, где-то за рамками житейски обычной ситуации («обед под елью», так называется это незамысловатое по сюжету стихотворение) есть-таки нешуточные беды? В другом стихотворении, написанном в те же дни: «Громада серая / К солнцу придвинулась / И, силы меряя, / На солнце ринулась. / И солнце скрылося, / В себя не веруя, / Небо покрылося / Громадой серою». Еще в одном: «Играйте, дети, покуда солнце»... Практически во всех стихах того лета подспудно присутствует ощущение то ли пережитых, то ли тайно подстерегающих угроз, хотя нигде они не представлены явно и предметно.

Между тем лето 1922 года было для моего будущего отца особенным. Ну, чем-то вроде пушкинской болдинской осени. Я имею в виду, что ему хорошо писалось: за полтора месяца с середины июня до конца июля — семнадцать стихотворений, а в иные дни писалось даже и по два стихотворения. И как раз в стихах того лета промелькнули строки, заставляющие предположить, что Петр Лукьянин даже начинал ощущать себя настоящим поэтом: «Певцом родился, так и пой»; «Что ж ты, муза, мало пела...». В более поздних стихах мыслей о своем поэтическом предназначении отец не высказывал.

У «болдинского лета» отца были, мне кажется, причины, сходные с причинами пушкинской болдинской осени. Я имею в виду не масштабы дарования, не высоты поэтического взлета, не значимость совершенного, а только лишь сходство обстоятельств, которые сообщают людям импульс творчества. Подобно тому, как в свое время Пушкин, мой будущий отец с грузом не уложившихся в сознании житейский впечатлений и, без преувеличения, мировых проблем (ибо старый мир рухнул, а контуры нового были еще очень неясны) оказался в относительной изоляции от внешнего мира, наедине со своими мыслями и ощущениями. Это, наверно, и побудило его погрузиться в стихотворчество.

Внешние обстоятельства, подтолкнувшие тогда отца к поэзии, просматриваются хорошо: команду телеграфно-шестовой роты, в которой он служил, отправили ремонтировать железную дорогу в родные для него места, что уже само по себе не могло не вызвать отклик в его душе. Под стихами, которые он написал в той экспедиции, обозначены места: «313 в. О. В. ж. д.», «311 в. О. В. ж. д.». Аббревиатура О. В. указывает на Орловско-Витебскую дорогу, а «такая-то верста» могла оказаться и крохотным полустанком, и просто мерой расстояния. Эти «версты», обозначенные на местности, в лучшем случае, двумя-тремя казенными домами, а то и одним верстовым столбом с цифирью на затеси, были замечательны своей уединенностью: «В океане безбрежном тумана и тьмы / Виднелась дорога, да небо, да мы...» В своеобразной этой «карантинной зоне» не было уюта: безрадостный пейзаж («Косогоры да болота»), часто перепадали дожди (можно сказать и так: признаки осени явственно проявлялись в то отцово «болдинское лето»). Но все-таки жизнь тут текла понятная и целесообразная: «На железной дороге работали мы. / Лопаты звенели, стучали ломы. / Мы дружно все силы свои напрягали, / Неровность пути исправляли». И вообще, это был благословенный, но сугубо временный «островок спасения», где можно было отдохнуть душой и собраться с мыслями перед тем, как возвратиться в большой мир, где «жизнь кипит, волнуется, как море», где «много счастья, много горя»...

Мир, обступающий со всех сторон «версты», где работает телеграфно-шестовой отряд, напоминает в стихах отца лес, по которому идешь в глухую ночь с карманным фонариком: под ногами все просто и понятно, а со всех сторон — пугающая неизвестность.

Тучи так низко над нами плыли,
Казалося, будто касались земли.
Окрестность лишь слабо во мгле рисовалась.
Все больше в тумане скрывалась.

Сумрачные тучи, грязь под ногами, холодный не по сезону ветер — часто повторяющиеся мотивы в стихах того лета. Это не символы, а вполне реалистические картинки с натуры, но говорят они читателю не столько о погоде на улице, сколько о состоянии души автора. Что же так тревожило отца в этот, казалось бы, благополучный период его жизни? Если сказать совсем коротко — неустроенность мира, разломанного, раздробленного и разворошенного революционными событиями. Речь не о бытовых удобствах — их молодой поэт никогда не имел и на них не рассчитывал. Его тревожила разобщенность людей, одиночество в толпе и бесцельность всякой работы, если каждый только за себя. Оттого, считал он, «в стране свободной / Мы трусливы, как рабы», что «мы недружны»; отсюда характерный для его настроения призыв к единению: «"Друг за друга, брат за брата!" — / Крикнем миру горячо». Символами мироустройства, к которому стремится его душа, становятся провода на столбах, которые «разносят и радость, и горе», почтовая лошадка («Не будь бы нас, как далеки / Были бы люди друг для друга»). Кстати, второе стихотворение заканчивается декларацией, несколько наивной по форме, но отвечающей сути его уже определившейся общественной позиции: «Я твердо верю в дело связи!» Как раз под этой строчкой на чистой половине не до конца заполненной страницы он рисует столбы с проводами вдоль дороги, уходящей вдаль.

Однако трудно рассчитывать на единение людей в мире, где «кто не с нами, тот наш враг». Для брата ксендза, изначально враждебного советской власти, это был, как вы понимаете, не отвлеченный вопрос. На чью сторону ему самому встать в братоубийственной (вот уж воистину!) борьбе?

В самых ранних из сохранившихся в Черной тетради его стихов есть очевидные попытки понять правду тех, кто совершил революцию:

Привет вам, герои! Вы смело восстали
Против угнетенья панов.
Могучей рукою оковы сломали
И свергнули тех, что вас так угнетали
И мучили много веков.

Так он писал, находясь в Даугавпилсе, в латвийском полуплену, прислушиваясь к вестям из-за границы, внезапно перегородившей путь на родину. Но прямолинейная декларативность подобных (их совсем немного) строк не одолевает его сомнений. А сомнения...

Да вот характерное стихотворение весны 1921 года — оно написано уже в Смоленске:

Собрался митинг. Спор идет
О том, как жизнь нам перестроить
И все по-новому устроить,
Чтоб был бы счастлив весь народ.
Умы горят, бушуют страсти;
Друг друга колко упрекают,
Свои идеи восхваляют,
И каждый... хочет стать у власти.
А там вверху звезда горит.
И молчалива, и ясна,
И неприступно-холодна,
Своим сияньем говорит:
«Пойдут года, и все пройдет.
Исчезнет мрак, остынет страсть,
Погибнет зло, погибнет власть, –
Лишь истина всегда живет».

У Алексея Константиновича Толстого есть стихотворение, за которое его, помнится, порицали советские историки литературы:

Двух станов не боец, но только гость случайный,
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,
Но спор с обоими — досель мой жребий тайный,
И к клятве ни один не мог меня привлечь;
Союза полного не будет между нами –
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть,
Я знамени врага отстаивал бы честь!

Не могу утверждать, что отец это стихотворение знал, но позиция его была в точности такова. Толстовский «спор с обоими» — это как знакомое нам, избирателям начала XXI века, желание проголосовать за кандидата «против всех»; нынче эту графу исключили из избирательных бюллетеней — и, оказывается, не в первый раз в нашей несчастной истории.

Отец же упорно голосовал «против всех» и не вставал ни под чьи знамена.

Иногда он, правда, делает попытку «врага отстаивать честь». К примеру, в одном из стихотворений, помещенном в разделе «Природа». Начинается оно с несколько даже пафосного воспевания звездного неба в предполуночный час.

Большая первая строфа, спускающаяся лесенкой слева направо, завершается восторженным вздохом: «Ах, как ночь хороша!..» Но вслед за тем идет вторая строфа — тоже лесенка слева направо: графически подчеркнутая смысловая антитеза первой строфе:

Хороша, да не всем...
Ах, какие же мы!
Позабыли совсем,
Что есть стены тюрьмы.
Там, за этой стеной,
Вечный сумрак царит.
Там уж люди давно
Не видали зари.
Как хотели б они
Жить свободно, как мы!
Но проходят их дни
В мрачных стенах тюрьмы.

Кто томится за этими стенами? За какие прегрешения он туда заключен? Точно ли он виноват или стал жертвой необоснованных наветов? Эти вопросы даже не ставятся. Мистик мог бы предположить, что мой отец таинственным образом провидел трагический исход своей судьбы. Но не о том ведь болит душа у автора этих стихов, что он тоже мог оказаться там, за мрачной стеной. Стены в принципе не должны разделять людей! — вот в чем его пафос. Люди могут быть разные, по-разному смотреть на вещи, даже враждовать, но главное — они люди!

В другом стихотворении отца («Враг») прямо звучит мысль о том, что радикальное противостояние людей противоречит самой природе человека, самой человеческой сути.

Начинается оно с житейски обычной и на первый взгляд естественной ситуации:

Имея смертного врага,
Как водится от века,
Я жаждал сбить ему рога!
Всегда лишь видел в нем врага —
Не видел человека.

Но оказывается, «моя» точка зрения — не всегда единственная, и, значит, вовсе не факт, что единственно верная. У другого человека могут быть свои обстоятельства и своя правда:

А он был мрачный и больной,
Страдавший в жизни много,
И не был он тому виной,
Что в жизни встретился со мной,
Что я был недотрога.
Печальна жизнь его была:
И молодость, и силу
Судьба безжалостно взяла
И молодым его свела
В холодную могилу.

Казалось бы, сама судьба естественным образом разрешила конфликт: враг умер, и его хоронят. О чем тут сожалеть?

Вот ком земли на гроб упал...
Вот гроб земля покрыла...
Я над могилою стоял,
А сам в душе торжествовал:
«Вот, вот его могила»!..

И тут происходит нечто неожиданное:

Вдруг в сердце дрогнул звук иной,
Дремавший там от века,
Звук человеческий, простой...
И я увидел пред собой —
Могилу... человека.

Почему случилось это «вдруг»? А ни почему. Как просто было бы жить, если б движения души подчинялись элементарной логике: по такой-то причине возникает любовь, по такой-то — ненависть... Но тысячи неосознаваемых нитей связывают нас с окружающим миром, с другими людьми, и, ломая всякую логику, безотчетно и необъяснимо, возникают неразрешимые конфликты. Но почему бы так же спонтанно этим конфликтам не разрешаться от одного сознания, что все мы — люди? Мысль, конечно, наивная, но примите во внимание, что она осеняет молодого человека, ставшего невольным свидетелем всеобщего ожесточения, охватившего страну и не прекращающегося в течение нескольких лет.

Стихотворение «Враг» написано еще в смоленской казарме осенью 1921 года, а про узника — «болдинским летом» 1922-го, хотя уже и после возвращения с «313 версты» в относительную «цивилизацию». То есть их разделяет временной интервал протяженностью почти в год, а между тем очевидно, что обе вещи — звенья единой цепи размышлений. Именно размышлений, потому что не могу даже и предположить, что у персонажей этих стихотворений были реальные прототипы, что побудили автора к творчеству действительные события: отвлеченной мысли в том и другом стихотворении больше, чем «вещества поэзии». Но эти мысли были «о главном», и они заметно противоречили лозунгам эпохи. Драматизм размышлений автора усугублялся тем обстоятельством, что с тяжким грузом впечатлений о вселенском раздрае он на какое-то время оказался вырванным из бурного потока событий.

Но вскоре телеграфно-шестовая рота возвратилась с летних полевых работ, и судьба отца совершила новый поворот.

«Цяпер — мы грамадзяне і маем свой закон»

Вот как освещен в протоколе допроса следующий период жизни отца:

«В 1922 году из армии демобилизовался, после чего как хорошо знающий польский язык устроился учительствовать в польской школе в Россонском р-не б. Полоцкого уезда и проучительствовал до 1929 года. В польскую Россонскую школу в качестве учителя я попал по рекомендации местного мед. фельдшера Котовича Франца Станиславовича (поляк)».

Тут названы подробности, которые ни пояснить, ни оценить не могу. Откуда в жизни отца возник и куда потом исчез Франц Станиславович Котович? Никогда раньше не слышал этого имени. Польская школа в Россонах и польская школа в Россонском уезде — это одно и то же? С 1922 по 1929 год он учительствовал в одной и той же школе и все так же преподавал польский язык? Нет ответа.

Зато есть стихи из Черной тетради, под каждым из них педантично обозначены дата и место создания. И если сопоставить эти пометки, то оказывается, что стихотворение «Где-то жизнь кипит, волнуется, как море» написано 30 июля 1922 года еще на 313 версте, а следующее по времени, 22 августа того же года, — «Прибой» («Волна шумит, о берег бьет») — уже на озере Нещердо. Значит, где-то в августе, в промежутке между той и другой датами, он и демобилизовался. Но почему стихотворение написано на озере? И в каком смысле — на озере? Ну, эти-то вопросы, на мой взгляд, самые простые: на северной оконечности этого довольно протяженного озера расположено село Горбачево (произносится с ударным «е», а не «ё»: влияние польского языка); оно находится в двенадцати километрах к востоку от районного центра Россоны.

Большинство стихов Черной тетради помечено названием этого села. Значит, здесь отец и работал после демобилизации.

О работе и жизни отца в Горбачеве известно очень мало. Думаю, однако, что это было плодотворное для него время. Продолжал писать стихи. Вживался в новую для него учительскую профессию — по всей видимости, успешно, потому что остался верен ей до конца своей короткой жизни. Не раз переезжал — и один, и уже с семьей — с места на место, но профессию больше не менял.

У него не было педагогического образования, но работа школьного учителя подошла ему во всех отношениях: он был грамотен, любил детей (это не предположение, а мнение тех, кто его знал лично), легко находил общий язык и со взрослыми, и с детьми; у него была неистощимая тяга к знаниям — он умел заражать ею и своих воспитанников. И еще очень важное обстоятельство: работа в школе помогала ему, видимо, преодолевать смятение в душе, порожденное бурными событиями предшествующих лет. Идти в класс — совсем не то же самое, что подниматься на баррикады: просвещение сближает людей. Обучать детей грамоте — это работа на том общечеловеческом, гуманистическом уровне, тяготение к которому так наглядно проявилось в его стихах про узника и про врага. Наконец, он не мог не отдать должное курсу на всеобщую грамотность, взятому новой властью на заре ее истории: не знаю, какие конкретные житейские впечатления предопределили преобладание мрачных тонов в его юношеских стихах, но работа в школе явно пробудила в нем надежду.

В таком контексте обретает особый смысл упоминавшееся выше единственное стихотворение отца на белорусском языке — в Черной тетради оно записано последним, под номером 119. Не хочу быть категоричным: вполне возможно, что он на белорусском написал и еще что-то, но оно не сохранилось. Стихотворение это не только по языку, но во всех отношениях — по тональности, логической конструкции, по некоторой лубочности, что ли, образного строя, даже и по графическому облику (без «лесенок», без разбивки на строфы) — выделяется среди всех остальных. По-моему, это отличие убедительно объясняется датой написания (как всегда у него, она четко обозначена): «28 кастрычника 1925 г.». Кастрычник по-белорусски — значит, октябрь. Понятно же, что стихотворение должно было прозвучать через несколько дней на традиционном школьном утреннике в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Другие стихи он писал для себя, стало быть, и на языках, на которых думал. Это же должно было прозвучать в школе, где детей учили белорусской грамоте, его он и написал по-белорусски.

Вот это стихотворение:

Даўней служылі пану — хадзілі на прыгон.
Цяпер — мы грамадзяне і маем свой закон.
Даўней дзяды ня знали ні книжак, ні газэт,
Паны ім напявалі пра пекла, пра той свет.
Цяпер мы самі знаем, скуль дождж ідзе, скуль град,
Бо книжкі мы чытаем і слухаем даклад.
Даўней мы працавалі, а пан не працаваў,
Дзе пот мы пралівалі, там пан рублі збіраў.
Цяпер жа мы сказалі: «Даволі піць з нас кроў!»
І ўсіх як ёсьць прагналі паноў і буржэў.
Даўней служылі пану, хадзілі на прыгон.
Цяпер — мы грамадзяне і маем свой закон.

Думаю, перевод читателю не нужен. Разве что стоит пояснить: белорусское «дз» — это не два, а один звук, по звучанию близкий к привычному нам «д», «даўней» — раньше, «цяпер» — теперь, «грамадзяне» — это граждане, «пекла» — пекло (то есть ад), «працавать» — работать. Что вам еще непонятно?

Возможно, кто-то из читателей зачислит это стихотворение, явно написанное к «дате», в разряд «датской» поэзии. Но, по-моему, он будет не прав. Прежде всего, стихотворение и по композиции, и по звучанию, и по ясности смысла хорошо сделано — оно без затруднений воспринимается и легко укладывается в памяти. А главное — оно звучит очень искренне, и не случайно, я думаю, строгий к себе отец счел его своей удачей и переписал в заветную тетрадь. Для моего же повествования о Петре Матвеевиче это стихотворение особенно важно еще тем, что в нем хоть косвенно, однако, на мой взгляд, вполне однозначно выражена его общественная позиция, сложившаяся к той поре: он принял советскую власть. По крайней мере, в той части, в какой она выполняла общечеловеческую, гуманистическую функцию — просвещала народ. Тут он был активный ее помощник. Этот итог — важнейший за все предыдущие три года его работы учителем в Горбачеве.

Породнился с «кулаками»

Случилось у отца в Горбачеве, чуть, правда, позже, еще одно событие, изменившее весь строй его жизни: он женился на будущей моей маме.

В подробностях я эту историю не знаю — семейные предания скупы на детали. А канва выглядит так. В 1927 году в Горбачевскую школу приехала 22-летняя выпускница Полоцкого педагогического техникума Веруника (именно так, с ударением на втором слоге, произносилось ее имя) Барановская. Думаю, она сразу ему приглянулась — и молодой своею статью, и абсолютной надежностью характера, и отношением, скажем так, к основным ценностям жизни, и крестьянской непритязательностью в быту, и даже, я думаю, любовью к литературе. (Про любовь к литературе — маленький комментарий. Мама рассказывала, что, когда училась в педтехникуме, одно время посещала литературный кружок, и был, между прочим, среди кружковцев будущий белорусский классик Петрусь Бровка. Он в те годы в Полоцке возглавлял отдел в окружкоме комсомола, по возрасту на полгодика был ее моложе. Они были в приятельских отношениях, но после окончания техникума мама из Полоцка уехала, окунулась в школьную работу и в быт, а литературные занятия оставила. Так что с Петрусем больше никогда не встречалась. Но любовь к чтению сохранила до конца дней.)

Я пишу не историю своего рода, а эпизод истории страны и все же немного должен сказать о семье, из которой вышла мама. Дело в том, что в протоколе допроса отца, в том месте, где он дает показания о своих близких родственниках, тоже есть подчеркивания красным чекистским карандашом: «Родственники по жене, свояк Барановский Иосиф Петрович и свояченица Анна Петровна раскулачены и высланы в Северный край где находятся и по настоящее время. Вторая свояченица Бронислава Петровна проживает у меня». «Допрашивающий» не потребовал уточнений, хотя в анкете, предваряющей допрос, была записана еще «теща Ефросинья», тоже жившая тогда с нашей семьей. Были у мамы и другие сестры, только жили они в других местах. А у тети Брони был сын Юзик (Иосиф) (отец его погиб в результате несчастного случая) — наш с Аликом двоюродный брат, так он в «деле» вообще не упомянут. Но «допрашивающему» не нужна была подробная картина, ему, как я убедился, был нужен только компромат.

Итак, крестьянская семья Барановских жила в селе Кудлино все того же Россонского района. О том, что ее родного села больше не существует, слухи до мамы доходили еще в пятидесятых: по-видимому, сначала его разорили «раскулачиванием», а в годы войны дотла сожгли каратели. Возродиться оно уже не смогло. Сейчас я попытался найти его с помощью Интернета, но и там упоминаний о нем не обнаружилось.

До революции у Барановских не было своей земли — арендовали клин у помещика. Чтоб оплатить аренду и что-то еще заработать на жизнь, им при-

ходилось ломить в поле с утра до ночи. Но к этому они были привычны и другой жизни не знали. Резкий перелом к худшему наступил у них в 1914 году: у Ефросиньи родился шестой ребенок — дочь Ядя — и примерно в то же время, подхватив какую-то инфекцию, внезапно умер муж, глава семейства и главный работник. Ртов стало больше — работников меньше. И ко всему — началась большая война. Можно только догадываться, какие трудности им пришлось пережить... Но к середине 20-х годов жизнь семьи более или менее устоялась в новом качестве: две старшие сестры вышли замуж и разъехались по разным городам и весям, будущая моя мама — она была уже четвертой в семейном ряду — поступила в Полоцкий техникум, а младшая сестра Ядвига была в ту пору еще подростком, вскоре и она уедет на учебу... Судьба ее сложится трагически, но это другая история.

А хозяйство, точнее то, что от него осталось, приняли на свои молодые плечи упомянутые в протоколе мои дядя Иосиф и тетя Аня. Их-то и раскулачили.

Мне довелось увидеть своими глазами, как они умеют работать. Не там, в Кудлине, которого нынче нет, а много позже. Они сполна «оттрубили» назначенный им срок на лесоповале, потом еще поработали несколько лет на лесобирже — грузили котласский лес на баржи, который отправлялся по Вычегде частью, видимо, на экспорт, частью на переработку. А когда уж вовсе изработались, были отпущены на все четыре стороны. Точно ли «на все четыре»? За это поручиться не могу; во всяком случае, возвращаться в места, откуда их выселили лет двадцать назад, они не стали или не смогли и вроде бы к тому не стремились: кто их там ждал? Как-то исхитрились приобрести крохотную избушку в Лименде, возле Котласа, на самом берегу Вычегды, и стали коротать жизнь вдвоем: судьба так сложилась, что и он не смог жениться, и она не выходила замуж, а теперь уже было и поздно. Дядя Иосиф устроился сторожем склада лесоматериалов — тут же, в полусотне метров от их домика, — а тетя Аня хлопотала по хозяйству. Еще они свою мать, мою бабушку Ефросинью, у себя приютили (от нас она уехала вскоре после моего рождения и жила с кем-то из старших дочерей), у них она и померла, перешагнув рубеж девяностолетия.

В ту избушку я к ним и приезжал летом 1952 года; еще бабушку застал — она уже не вставала, была болезненно капризна и едва ли меня вполне «отразила». Но я вспомнил сейчас о той поездке, потому что даже тогда — в сущности, еще мальчишка — был поражен тем, как дядя Иосиф с тетей Аней умеют работать. У них там при избушке был маленький сарайчик, дровяничок, участок суглинистой земли сотки, наверно, три. Так они развели в этих «владениях» такое «кулацкое» хозяйство! Правда, не «товарное», а натуральное. Зато все у них было свое: мясо, сало, масло, молоко, куриные яйца; колбасы они такие впрок готовили — из магазина никогда такой вкуснятины не пробовал. Про картошку и овощи даже не говорю. Хлеб пекли сами, причем необыкновенно духовитый, вкусный, только муку, конечно, покупали на скромную зарплату сторожа: для злаков места в их огородике, конечно, не хватало. Представляю, какой достаток был у них в Кудлине, где земли было гораздо больше, а на просторном подворье можно было держать и лошадь, и корову (да, наверно, еще и не одну), да и сами были молодыми и здоровыми. Но тут надо заметить, что хозяйство свое даже и в Лименде, а уж тем более в Кудлине, они тащили не только «горбом», но и в значительной мере умом: дядя Иосиф был великий книгочей, читал, среди прочего, литературу по сельскому хозяйству и даже не столько от сознания выгоды, но и в познавательном азарте стремился применить в деле рекомендации науки. Оттого все у него и получалось.

Вот в таком родстве энкаведешники усмотрели компромат на отца!

Но раз уж я начал рассказывать о родных моих «кулаках», так позвольте добавить еще два-три штриха. С дядей Иосифом мы сошлись на книгах. Я уже тогда читал много, но беспорядочно. Он читал неизмеримо больше, по-

нимал толк в хороших книгах, умно и убедительно о них судил и, главное, хранил в своей, казалось, бездонной памяти все прочитанное. (Образование у него было, к слову, — два класса церковноприходской школы.) Помню, как ходили мы с ним белой северной ночью по берегу Вычегды, заря — то ли еще вечерняя, то ли уже утренняя — в полнеба. Он-то «на службе», у охраняемого склада, а я за компанию. И дядя Иосиф увлеченно пересказывает мне какую-нибудь «Эмилию Галотти» или «Джен Эйр». А днем идем с ним в лимендскую библиотеку и набираем на его абонемент целую стопку книг для меня: Шиллер, Лев Толстой, почему-то Шеллер-Михайлов в издании А. Ф. Маркса (что ж, литературный вкус дяди Иосифа развивался стихийно и был, как я сейчас понимаю, небезупречен)...

Кстати, запомнилась еще одна достопримечательность, имевшаяся в их избушке: на стене висела гитара, сделанная его руками. Она была не покрыта лаком: не то чтоб руки не дошли или азарт угас — просто опасался, что красоты при лакировке добавится, но ухудшится звук. А звук у нее был замечательно чистый и звонкий... Дядя Иосиф пытался научить меня брать на ней простейшие аккорды, да недолго я у них прожил.

Когда я уехал, мы с ним года полтора переписывались — в основном на литературные темы. В том, что в конце концов литература стала делом моей жизни, доля его влияния очень велика.

А потом он внезапно умер. Помог соседям освежевать поросенка (и это он умел делать лучше других), утрудился, лег после обеда передохнуть — и не проснулся. Было ему к тому моменту всего 54 года.

А тетя Аня, сестра его и постоянная партнерша по хозяйственным делам, добрейшей души человек, очень уравновешенная, приветливая, с редким тактом и хорошим чувством юмора, прожила почти на четверть века дольше брата. Доживала свой век уже с моей мамой, своей сестрой, в Брянске; мы в то время с женой и двумя детьми навещали их чуть не каждое лето. Там такой «колхоз» тогда собирался, в той тесной трехкомнатной квартирке, — человек до десяти враз, а временами и больше. Всем, однако, хватало места, ласки и тепла...

Умерла же тетя Аня на 75-м году жизни тоже, как и дядя Иосиф, во сне, никого не обременив своими болезнями.

Частная жизнь

Помню, как ехал я к дяде Иосифу и тете Ане из Брянска в Котлас. Четырнадцать лет мне было, впервые один отправился в такую дальнюю дорогу, да еще с пересадкой в Москве. Высадился из поезда на Киевском вокзале часов в шесть утра и наугад побрел по просыпающимся улицам. Дивно хороша — не то чтобы красива, а скорее душевна — была Москва в то погожее летнее утро! Чисто выметенные тротуары, влажные — недавно прошла поливальная машина — газоны, трамвайные трели издали, редкие прохожие. Невзначай вышел на Кадашевскую набережную напротив Кремля. Впервые увидел этот сакральный символ имперской власти не на картинке, не на экране, а в натуре, причем в ракурсе, не навязанном автором изображения, а зависящем только от меня — от того, где я стою, каков мой рост, как повернута моя голова... Помню еще, подумалось: а ведь где-то вот там, за одним из бесчисленных кремлевских окон, сейчас работает Сталин. Подумалось без трепета и пиетета — просто констатация факта. Я, конечно, ошибался, но откуда мне было знать тогда, что Сталин в Кремле не ночует, да и не работает, а в тот тихий утренний час он, скорее всего, просто спал на «ближней даче».

То было время «тоталитаризма» — с лагерями Гулага (их было видно даже из вагонного окна по пути в Котлас), с бесправными ссыльнопоселенцами, с жесткой цензурой, с «маньяком и серийным убийцей» (как предпочитает

говорить сегодня о бывшем «вожде народов» Леонид Радзиховский), помыкающим судьбами миллионов... И то было время, когда вполне можно было наслаждаться уютом и тишиной московских улочек, потом полдня бродить по залам Третьяковки (где, к слову, старый гардеробщик с роскошной бородой патриарха меня «опознал», хоть прежде я никогда там не бывал), потом еще коротать больше суток в душной, но почти семейной атмосфере общего вагона, радостно предвкушая скорую встречу с родственниками, которые, я это точно знал, примут меня как дорогого гостя, хотя ни я их, ни они меня никогда раньше не видели...

Словом, была «система» — и была частная жизнь, вовсе не такая угнетающая, как кажется порой человеку, той жизни уже не заставшему и имеющему о ней представление лишь по откровениям политиков и инвективам публицистов. Частная жизнь вынуждена, конечно, приспосабливаться к системе, но все же она строится по своим законам и не меняется столь уж радикально вследствие политических перемен. Я часто вспоминаю о том, когда вижу на телеэкране суету ведущих политиков, воображающих, что это они вершат судьбы мира; когда слышу, как политологи или деятели культуры оправдываются: мол, «тогда» они не знали и верили, а сейчас вдруг прозрели; когда кто-то усердствует в разоблачениях прошлого, наивно полагая, что если того заклеймим, этого перезахороним, сменим названия, осеним себя крестным знамением — то и страна станет другая, и жить мы начнем по другим законам. Да нет, господа-товарищи, и страна останется прежней (пусть государственный строй в ней и сменится), и в укладе жизни радикальных перемен не произойдет (появление телевизоров, компьютеров и мобильников — это «о другом»), а главное — что считается враньем и подлостью сейчас, оно и тогда было враньем и подлостью. Уж в этом отношении, не питайте иллюзий, точно не изменилось ничего.

Будущие мои родители были погружены в нормальную частную жизнь, и никакими тревожными предзнаменованиями их знакомство отмечено не было. «Пётра» уже пять лет работал в Горбачеве и успел, я думаю, стать там своим. Стихи он, как мне кажется, больше не писал. Вероника, приехавшая после техникума, ему, видимо, сразу приглянулась, да и она довольно скоро выделила его среди своих новых знакомых. Читатель знает, что энтузиасты нового строя пытались тогда утвердить в общественном мнении представление о семье как пережитке старого быта. Но частная жизнь, тем более в белорусской глубинке («До Вильнюса, Чернигова, Витебска ехать одинаково»), была не очень восприимчива к покушениям на старинный уклад, к тому же Петр и Вероника и по семейному воспитанию, и по характеру были по-хорошему консервативны. Так что они довольно долго приглядывались друг к другу и жениться не торопились.

Не знаю, как развивались их отношения. Был, однако, случай, о котором — не помню уж, по какому поводу, — мне рассказала мама. Раз случай ей запомнился — значит, имел значение для них обоих. Как-то встретились они в праздничном застолье у общих знакомых. Вероника обратила внимание на то, как лихо Пётра опорожнил граненый стакан водки — и хоть бы что. Она улучила момент, чтоб сказать ему с глазу на глаз, что такого молодечества не понимает и не любит. Он ей тут же пообещал, что — все, такое не повторится. И по тому, как она с ним об этом поговорила, он, очевидно, понял, что небезразличен ей. А она, в свою очередь, по тому, как он воспринял ее замечание и как потом держал слово, убедилась в надежности его характера и в серьезности его к ней отношения. Не думаю, что именно этот случай подтолкнул их к женитьбе, а все же...

Я почти ничего не знаю о начале их семейной жизни: мама о прошлом вспоминала не часто и почти без подробностей. Вспоминала при этом и Горбачево (потому я знаю, как правильно произносится это название), и еще одно село — Голубово. Находится оно в том же Россонском районе, но от Горбачева

довольно-таки далеко. Что-то отца с ним связывало: название это много раз встречается в Черной тетради под стихами и 1922, и 1923, и 1925 годов. А после женитьбы они вместе с мамой, кажется, и вовсе переселились туда. И там у них родилась дочь Людмила — Лёля, как они ее звали, — моя старшая сестра, прожившая на этом свете, увы, совсем недолго. Она была здоровеньким, жизнерадостным, ласковым ребенком, оба души в ней не чаяли. Но ей было всего лишь годика полтора, когда она подхватила какую-то скоротечную детскую хворь (кажется, дифтерит), и спасти ее не удалось... Родители были настолько потрясены утратой, что решились переехать жить и работать в другое место.

«Допрашивающему» отец ничего о семейном горе не сказал, а просто пунктирно обозначил пути своего дальнейшего передвижения: «После 1929 года учительствовал один год в селе Гута Ушачиского р-на БССР, 2 года в селе Рикшино Пустошкинского р-на ныне Калининской области, откуда по неизвестным мне причинам я как из пограничного района ОблОНО был переброшен в Унечский район. С 1932 года по настоящее время я учительствую в селе Писаревка Унечского р-на».

Энкаведешники это место не подчеркнули, хотя, казалось бы, должны были за него зацепиться. Сомнительно, чтобы Рикшино (оно находится километрах в 75 от латвийской — не самой беспокойной в те годы — границы) было «режимной» пограничной зоной. Да и зоны эти получили свой статус, если не ошибаюсь, с 1934 года. Но если дело обстояло именно так, как сказал на допросе отец, то еще более сомнительно, что регулированием пограничного режима занималось облоно. А можете ли вы поверить, что облоно одной области могло так вот запросто «перебрасывать» учителей подведомственных ему школ в школы другой области? (Ибо Унеча относилась тогда к Западной области с центром в Смоленске.) Но либо они, вершители судеб, знали о причинах перемещения людей что-то такое, чего сейчас не знаем мы, либо прошлым отца они интересовались совершенно формально, поскольку участь его заранее была предрешена, — уточняющих вопросов не последовало.

А мне процитированный фрагмент протокола показался очень даже любопытным. Если мои родители переехали в Писаревку только в 1932 году, то, выходит, приехали они туда уже с годовалым сыном, старшим моим братом Аликом, а у него в метриках и в паспорте, помнится, было записано, что родился он в Писаревке. Даже для меня стало открытием, что он родился в Рикшине: в семье этот вопрос никогда не обсуждался. Но, очевидно, так оно и было. Однако какой смысл заключался в том, чтобы скрывать подлинное место рождения ребенка? Абсурд!

Но этот абсурд легко объясняется, если принять во внимание психологическую атмосферу 30–40-х годов. К слову сказать, и у Б.Н. Ельцина в документах значилось, что родился он в селе Бутка, хотя нынешние биографы утверждают, что — нет: в селе Басманове. Главная причина бумажных «перемещений» сегодня очевидна: сохранять стабильность своей «частной жизни» было легче, если сделать ее простой и прозрачной, не дать повода к лишним вопросам. До ареста отца и в последующие довоенные годы в документах сохранялось все как есть, но война, оккупация немцами тех мест, где мы жили, утрата архивов (или, по крайней мере, неразбериха с ними) позволили тем, кому это было нужно и кто вовремя «сообразил», несколько «отредактировать» свое прошлое.

Не знаю, сама ли мама догадалась или кто-то ей подсказал, а только в 1946 году она выправила нам с Аликом «повторные» свидетельства о рождении — взамен якобы (а может, и вправду) утраченных. Наверно, новый паспорт получила и сама. С тех пор она окончательно перестала быть Вероникой: в школе ее с самого начала называли Верой Петровной, теперь так было записано и в паспорте. Она не сменила свою фамилию, выйдя замуж за отца, так и осталась Барановской. Но вследствие того нас, детей, регистрировали под двойными фамилиями: Лукьянин-Барановский (Алик), Барановский-Лукьянин

(я). В новых метриках мы оба стали просто Лукьянины. Была унифицирована также национальность обоих родителей: «русский» и «русская», хотя если не отец, то мать уж точно по паспорту была «белоруска». Естественно, однозначно русскими стали с этого момента и мы (что, по-моему, справедливо, потому что духовной средой для нас изначально была русская культура). А местом рождения для обоих определена Писаревка, Рикшино же осталось смутной легендой (в рассказах мамы о прошлом это название иногда звучало). Вы скажете: обман! Да ведь вся отечественная история редактировалась с довоенных еще пор по этому принципу: меньше «загогулин» — меньше вопросов, тверже вера в непогрешимую партию и мудрого вождя.

Одну метрическую запись мама напрасно тогда не поправила, оставив за Аликом имя, данное ему от рождения. А назван он был Альфредом. В анкете, предваряющей протокол первого допроса отца, так и записано: «Состав семьи жена Барановская Вера Петровна, сын Альфред 6 л.» и т.д. Нет ничего удивительного в том, что родители дали сыну имя, столь экзотичное для русского уха: сказались дух обновления, царивший в стране, и атеизм, освободивший от необходимости следовать святцам. В детстве человек обычно не задумывается, почему его зовут так, а не иначе, а когда подрастает — очень трудно быть «не как все». Вот и брат мой еще подростком решил сменить имя и провел эту операцию в два приема: сначала приучил окружающих называть его Аликом (вполне ведь нормально производится от «взрослого» имени Альфред), а потом официально сменил «Альфред» на «Александр», оставшись для родных и друзей Аликом.

Думаю, пять лет в Писаревке были для отца счастливыми. Работа ему нравилась, с женой жили душа в душу, сын рос здоровеньким и смышленым. В селе Петр Матвеевич был авторитетен и уважаем. Квартира у них с мамой была казенная — при школе. Квартира — громко сказано: крестьянская изба. Она была холодными сенями соединена с другой точно такой же избой — там располагался школьный класс. В Писаревке многие так строились — две избы, а между ними сени. Одна для повседневной жизни, другая для гостей. Или же одна для «стариков», другая для молодых. И все это при общем дворе, а там хозяйственные постройки: хлев, конюшня, сеновал, овин, навес для дров, телег, саней, плугов... Все эти службы были и при нашей школе, потому что раньше там жили «кулаки», их раскулачили и выслали, а в доме устроили школу. На опустевшее место облоно и направило моих родителей (удобно: оба — учителя) вместе с годовалым ребенком. Потом к родителям присоединились тетя Броня, по трагической случайности потерявшая мужа, с сыном и бабушка Ефросинья. Я помню сам тот «кулацкий дом» — мне еще довелось в нем пожить. А в войну, когда пришли немцы, откуда-то «с северов» появилась суровая старуха — бывшая хозяйка этого дома — и предложила нам убираться восвояси на все четыре стороны, так что потом мы уже скитались по чужим углам...

Отца «забрали» из этого «кулацкого дома», так что я немного соприкоснулся с тем, в какой обстановке он с женой и сыном прожил свои последние годы. Казалось, семья прочно укоренились на том месте. По деревенскому обычаю наладили какое-никакое подсобное хозяйство: развели огород, обзавелись курами, даже, кажется, и коровой. Освоили школьную работу (для мамы особая трудность заключалась в том, что в педтехникуме она училась на белорусском языке, белорусской же грамоте и детей учила там, где они жили в предыдущие годы, а теперь пришлось самостоятельно осваивать русский). Но жизнь входила в колею, и отец понял, что надо учиться дальше. Он поступил (кажется, в 1935 году) на биологический факультет Новозыбковского пединститута — заочно, конечно. В доме стали появляться книги, рассчитанные на многолетнее пользование. Хорошо помню три фундаментальных тома «Жизни животных» А. Брема, десятитомник «Малой советской энциклопедии», изданный в 30-е годы. Эти книги сопровождали все мое детство, я там каждую картинку помнил и, кажется, даже сейчас помню. Мама с этими книгами уже

где-то в конце 50-х рассталась, уезжая к Алику в Воркуту: подарила их кому-то из своих любимых учеников.

Самым крупным книжным приобретением отца было 30-томное собрание сочинений Ленина. Оно хранилось у нас и после того, как отца «забрали», — до самой войны. А когда в село пришли немцы, держать его в доме стало опасно, и мама потихоньку закопала его в землю в сарае, прикрыв его в яме какими-то старыми тряпками и замаскировав сверху навозом. Казалось, ненадолго, но немцы пробыли у нас два года. А это значит, две осени и две весны. Когда же их прогнали и стало возможным яму вскрыть, оказалось, что все тридцать томов безнадежно испорчены просочившейся в яму водой. Выставлять их открыто снова стало опасно. И мама нашла замечательный выход из положения. Она отодрала алый коленкор с переплетов; картон и бумагу, подсушив, потихоньку сожгла в русской печке, а коленкор хорошенько выстирала со щелоком, вытравив с него буквы и черные ленинские профили; просушила, прогладила и пустила в дело. В частности, сшила мне красивую красную рубаху, в которой я и щеголял — непродолжительное, впрочем, время: материал оказался непрочным.

В общем, хоть в партию отец и не вступал, но к советской власти адаптировался и жил, ни в чем себя не противопоставляя советской системе. Он ничего не опасался, позволяя себе и пооткровенничать с кем-то насчет текущей политики или там затруднений в колхозной жизни. Никакой опасности для себя не видел и в том, чтобы завязать переписку с зарубежными учителями на языке эсперанто: политика политикой, а дети — везде дети, и обменяться опытом с европейскими коллегами было ему интересно.

Зато чего-то опасалась, затеяв учинить над ним расправу, советская власть...

«Следствие котегорически предлогает...»

А собственно, какую опасность видела для себя в моем отце советская власть?

На этот вопрос ответить и легко, и сложно. Легко — потому что вот передо мной «Обвинительное заключение по следственному делу № 10294 по обвинению гр-на ЛУКЬЯНИНА Петра Матвеевича по ст. 58 п. 10 и 6 УК РСФСР» — официальная бумага (строго говоря, ее ксерокопия), содержащая квинтэссенцию всего, что было положено на чашу весов якобы Фемиды, на другой чаше которых помещена была даже не судьба, а сама жизнь моего отца. Сложно — потому что изучение «дела № 10294», которое разве что с очень большой натяжкой можно назвать следственным, показывает с непреложной очевидностью и нелепость предъявленных отцу обвинений, и отсутствие чего-нибудь похожего на их доказательства. Но в таком случае — одно из двух: либо лица, уполномоченные государством вести «дело» отца и другие подобные «дела», преследовали какие-то своекорыстные и преступные цели, к советской власти отношения не имеющие, либо они добросовестно выполняли возложенную на них миссию, но сформулированные ими обвинения — лишь внешняя оболочка некоего известного им и недоступного нам смысла. Третьего не дано.

Так в чем же отца обвинили? Ну, это сейчас иные обвинительные заключения читаются на судебном заседании с утра до вечера в течение нескольких дней подряд, а то, что хранится в «деле» отца, если б его решились огласить на каком-то заседании (на самом-то деле никакого заседания не было), не заняло бы и двух минут. Если отбросить всякие бюрократические причиндалы, текст его займет чуть больше половины страницы неровной машинописи (явно перепаянный шрифт какого-нибудь древнего «ундервуда»). Поэтому я пересказывать не буду, а просто процитирую. Итак:

«Унечским райотделением УНКВД З/О 20 августа 1937 г. арестован гр-н ЛУКЬЯНИН Петр Матвеевич, на основании данных о том, что он ведет контрреволюционную террористическую агитацию и в переписке с заграницей, распространяет контрреволюционную клевету о СССР.

Следствием по делу установлено, что ЛУКЬЯНИН Петр Матвеевич имел письменную связь с эсперантами (так в тексте. — В. Л.) Франции, Швеции и Испании, куда сообщал сведения о СССР шпионского характера и контрреволюционную на Соввласть.

Являясь социально чуждым и враждебно настроенным к Соввласти, вел контрреволюционную агитацию против мероприятий проводимых Соввластью на селе, восхвалял фашизм и расстрелянных врагов народа Тухачевского, Уборевича и др. Систематически клеветнические измышления о политике (напечатано «о полотике», но не будем ставить в вину автору документа и явные опечатки) Соввласти, распространял слухи о войне и неизбежной гибели Соввласти /л. д. 19, 20, 22 и 25/.

На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ:

ЛУКЬЯНИН Петр Матвеевич... (опускаю краткое повторение анкетных данных)

в том, что в письмах за границу сообщал сведения шпионского характера и к/р клевету о СССР. Имел связь с братьями ксендзом и арганистом, осужденными за контрреволюционную деятельность, систематически вел контрреволюционную агитацию, восхвалял фашизм и врагов народа Тухачевского, Уборевича и др., клеветал на вождей ВКП(б) и советского правительства, т. е. в пр. пр. ст. 58 п. 6 и 10 УК РСФСР.

Виновным себя признал в том, что в письмах за границу сообщал сведения шпионского характера и контрреволюционную клевету на Соввласть и что он враждебно был настроен по отношению к Соввласти.

Изобличается в контрреволюционной террористической агитации показаниями свидетелей СЕМЕКО Д.В., ГОЛУТВА М.К. и КОНЮШЕНКО С.Д.»

Вот, собственно, и все. Дальше идет вывод, который процитирую позже.

Сразу отмечу, что упомянутые в «Обвинительном заключении» листы дела (19, 20, 22 и 25) я не читал: это показания «свидетелей», с которыми познакомиться мне не разрешили. Но доверяю Алику — тут он не мог ошибиться: мол, во всех протоколах допроса одно и то же. «И в свидетельских показаниях то же самое плюс “клевета” на колхозный строй. Такое ощущение, что все они написаны под диктовку одного человека».

Оставим пока что в стороне эту многократно упомянутую «клевету» и посмотрим, на основании «дела», что именно и как «следствием установлено».

«Установлено», оказывается, что он «имел письменную связь с эсперантами (разумеется, эсперантистами. — В. Л.) Франции, Швеции и Испании». Вообще-то, чтобы «установить» этот факт, особых усилий и не потребовалось: отец вел переписку с зарубежными коллегами, ни от кого не таясь, письма свои посылал обычной почтой и ответы хранил дома открыто. Когда энкаведешники пришли его арестовывать, эту переписку, а также какие-то журналы, книги на языке эсперанто они, уводя отца, забрали с собой в качестве вещественных доказательств (что зафиксировано в «Протоколе обыска», подшитом в «деле»).

Куда как труднее было установить, что он через эту переписку «сообщал сведения о СССР шпионского характера и контрреволюционную (второпях явно пропустили слово. — В. Л.) на Соввласть». Но вот этим-то «следствие», как легко заметить, знакомясь с «делом», утруждать себя и не стало. Перечитайте хотя бы еще раз «Обвинительное заключение», которое я только что выписал полностью: никаких ссылок на вещественные доказательства там нет. Мало того, в «справке», напечатанной в дополнение к «Обвинительному заключению» тем же «ундервудом» и на том же листке бумаги, чуть пониже, говорится открытым текстом: «Вещественных доказательств по делу не име-

ется». Вот те раз: из дому уносили, а тут вдруг — «не имеется». Куда ж они подевались? (Кстати, эта поразительная в своей саморазоблачительной откровенности фраза начисто перечеркнула и без того призрачную надежду найти имена отцовых испанских корреспондентов.)

Историю с исчезновением «вещественных доказательств» можно было бы объяснить тем, что никаких доказательств в тех письмах «следствие» не нашло и потихоньку от них избавилось. Но мне кажется, вопрос решился еще проще и циничнее: никто там ничего и не искал! Чтобы искать признаки шпионских действий в письмах, написанных на языке эсперанто, нужно было, как минимум, те письма прочитать. Но кто это мог сделать? Тот, кто в протоколах фигурирует как «допрашивающий»? Но вы уже, надеюсь, заметили, что это был человек, мягко говоря, не обремененный чрезмерной грамотностью даже по-русски. О языке эсперанто он что-то слышал, но толком не знает, что это такое; само слово ему незнакомо, он не умеет с ним обращаться. Поэтому даже в итоговом документе им написано, что «ЛУКЬЯНИН Петр Матвеевич имел письменную связь с эсперантами». Конечно, «следствие», будь у него желание докопаться до какой-то истины, могло бы найти эксперта, который эти письма прочитал бы и хоть отдельные их фрагменты, для доказательства обоснованности обвинения, перевел. Но в таком случае во время допросов говорилось бы иначе и о другом. Между тем «шпионская» переписка отца в содержательном плане не обсуждалась, при том что сам факт переписки с заграницей на языке эсперанто, как легко заметить, сопоставляя протоколы всех трех допросов, интересует «допрашивающего» больше всего остального.

Первый же вопрос, который был им задан отцу на первом допросе после формальностей насчет семейного положения, был именно про эсперанто и эсперантистов. Сформулирован он был так (еще раз обращаю внимание на «орфографию» оригинала):

«Вопрос: С какого времени вы состоите в союзе экспирантов Советских республик и где вы в этот союз вступили?

Ответ: В союз экспирантов я вступил в гор. Москве в 1930 году когда еще учительствовал в Пустошкинском р-не ныне Калининской области. Меня очень интересовало изучить язык экспеpанта и заиметь переписку с заграницей. В силу чего я очень быстро изучил этот язык и в 1931 году стал иметь переписку с Францией, Швецией и Испанией».

(«Очень быстро изучил» — это косвенное подтверждение свидетельства мамы, что отец прилично знал не только польский, но и основные европейские языки: с ними учить эсперанто было намного проще. Но какие именно языки знал отец, когда и где их изучал — об этом мама не говорила. И никаких вещественных примет его полиглотства дома у нас, насколько я помню, не было.)

«Вопрос: Укажите конкретных лиц с которыми имели переписку за границей?

Ответ: Имел переписку с кружком школьников 1-й Парижской школы, потом переписывался с школьниками 6-го класса г. Ненингам, Швеция и с руководительницей кружка этой школы Анри, кроме этого имел переписку с кустарями одной артели дер. Новый Путь, фамилии их не помню и кружком Испанской молодежи в г. Барселоне.

Вопрос: Следствие располагает материалами что Вы за границу на языке экспиранте сообщали контрреволюционную клевету на Советскую власть, давали сведения об экономическом и политическом состоянии отдельных отраслей народного социалистического хозяйства СССР. Следствие предлагает Вам дать правдивые показания по этому вопросу».

Тут еще раз прерву цитату, чтобы подчеркнуть: «следствие располагает материалами» — но хоть бы два слова о том, что за материалы имеются в виду. В письмах что-то нашли? Или заполучили из другого источника какие-то иные материалы? Блеф чистейшей воды! А как вам нравится обвинение учителя

сельской начальной школы в том, что он давал «на языке экспиранте» зарубежным школьникам информацию явно стратегического масштаба? Гротеск! И что этот «следователь» имеет в виду, предлагая дать «правдивые показания по этому вопросу», если даже и вопрос-то не сформулирован?

Но, похоже, с отцом успели предварительно «поработать», потому что в его ответе появляется выражение: «Теперь я понимаю...» Кто и с помощью каких разъяснительных средств помог ему «понять»? Это остается за пределами протокола, а в протоколе записано вот что (причем почти все записанное подчеркнуто красным чекистским карандашом — оценили важность признания!):

«Ответ: Признаюсь, что в письмах которые я писал во Францию, и Швецию допускал запрещенную политическую информацию о СССР. В одном из писем во Францию к кустарям я сообщил географическое расположение ж.д. узла ст. Унеча и села Писаревка, так-же я сообщал в Швецию и указывал о мощности ж.д. узла ст. Унеча.

В 1934 году в Испанию я писал о не урожае в сельском хозяйстве и о затруднении с хлебом. Теперь я понимаю, что мои сведения очевидно использовали со шпионской целью фашисты и в этом я признаю свою вину. Кроме этого следует указать, что в письмах ко мне из Франции и особенно Швеции обращались с просьбой что-бы я им сообщил что кушают крестьяне, как обстоит дело с культурой, имеют-ли крестьяне велосипеды, как относятся к колхозной работе.

На эти вопросы я ответов за границу не писал».

Писал не писал, а столь необходимое «следствию» признание было получено, и на том завершился первый допрос. Что происходило в последующий месяц с отцом: томили его ожиданием неизвестного или активно «работали» без протоколов? Чего еще от него ожидало «следствие» и чем все это время занималось: ждало, когда «подследственный» «дозреет» до какой-то нужной ему кондиции, или просто забыло о нем, потому что своей очереди дожидалось еще множество подобных «дел»? Ответить на этот вопрос сейчас вряд ли возможно, однако заметим тот факт, что следующий допрос состоялся 28 сентября, и первый вопрос, заданный отцу, был опять-таки про эсперанто.

И снова «допрашивающий» блефует, причем с самого начала круто взвинчивает тон: «На предыдущем допросе вы уклонялись от дачи следствию правдивых показаний и заявляли наглую ложь. Следствием же установлено, что вы как эксперантист были завербованы для шпионской работы, системотически за границу на языке эксперанта сообщали сведения шпионского характера. Следствие настаивает дать откровенные правдивые показания по этому вопросу?»

Вот, оказывается, в чем причина повторного обращения к этому вопросу: энкаведешники «дело» отца хотят укрупнить, вырастив из него, как колос из зерна, целую шпионскую сеть! Отец, видимо, понял этот маневр и, понимая, что от него самого все равно не отступятся, тащить за собой в гибельную воронку еще кого-то не собирался. Он повторил те же, в сущности, «признания», что были выдавлены из него на первом допросе (или во время «разъяснительной работы», предшествующей ему), но дальше — ни шагу:

«Ответ: 1930 г. я добровольно вступил в Союз эксперантистов, после чего на языке эксперанта вел переписку с заграницей и в частности с Францией, Швецией и Испанией Вербовать меня для шпионской работы никто не вербовал. Но я лично сам по своей инициативе на языке эксперанта написал за границу несколько писем в которых сообщил сведения о политическом и экономическом состоянии Советского Союза а так же и о тяжолой на мой взгляд жизни крестьян, по сути дела сообщал за границу сведения шпионского характера, в чем я признаю себя целиком и полностью виновным».

По-видимому, «следствие» поняло, что «зерно» не прорастет, и перешло к другой теме. Но все же с вопроса об эсперанто начался и третий допрос. На

этот раз «допрашивающий» придать «делу» новый размах, похоже, больше не стремился, ибо время торопило, пора было эту «шпионскую» историю завершать. Поэтому он просто «обкатывает» формулировки вчерне, видимо, уже готового «Обвинительного заключения»:

«Вопрос: Признаете-ли вы себя виновным в предъявленом вам обвинении, в том, что вы состояли в Союзе эксперантистов, систематически за границу сообщали в письмах сведения шпионского характера о Советском Союзе и контрреволюционную клевету на Советскую власть. Признаете ли вы это?

Ответ: Это я признаю полностью и поясняю, что в письмах которые я посылал за границу как член Союза эксперантистов сообщал информацию шпионского характера о Советском Союзе. Кромя этого сообщал за границу на языке эксперанта клевету на Советскую власть».

Такова полная картина «расследования» главного преступления, в котором обвиняли отца, таковы его «методы» и таковы итоги. Больше ни слова по этому вопросу в «деле № 10294» нет — даже, полагаю, и в его закрытой для меня части, потому что, судя по «Обвинительному заключению», свидетели «свидетельствовали» лишь о «контрреволюционной клевете», а эсперанто слишком явно выходило за пределы круга их компетенции.

Но вот на что нужно обратить внимание: «следствие» не посчитало нужным заглянуть в переписку отца, чтобы отыскать хоть самомалейшее основание для обвинения. Для него оказалось вполне достаточно самого факта, что переписка с заграницей была. Точно так же ему достаточно было факта, что обвиняемый «имел связь с братьями ксендзом и арганистом, осужденными за контрреволюционную деятельность», чтобы объявить его «социально чуждым и враждебно настроенным к Соввласти». Правда, тут перед «следствием» стояла задача несколько более сложная: писем от братьев при обыске, видимо, не нашли, на свидетелей сослаться не получалось: Иосиф Станиславович и Викентий Станиславович в Писаревке никогда не появлялись, даже теоретически никто их там никогда видеть не мог, — пришлось бы сочинять легенду уже вовсе фантастическую. Оставалось полагаться на «царицу доказательств» — признание[8].

На первом допросе (23 августа, через три дня после ареста) «следствие» спросило о них отца в достаточно нейтральном тоне:

«Вопрос: Расскажите о ваших связях с братьями, ксендзом Иосифом Станиславовичем и органистом Викентием Станиславовичем?»

Отец уже, судя по всему, знает, чего именно от него хотят, и дает «правильные» показания, однако не больше того, что «следствию» и без его показаний известно. При этом нынешнюю свою связь с братьями категорически отрицает, ибо ее не только не было, но и не могло быть. Вот что записано в первом протоколе:

«Ответ: С братом Иосифом я поддерживал связь по 1929 год. Для меня хорошо известно, что он был крайне враждебно настроен к Советской власти, обладал красноречием и часто выступал с речами среди верующих. В 1922 году в г. Полоцке арестовывался за оказание сопротивления представителям власти при из'ятии из костела ценностей. С 1929 года никакой связи я с ним не имею. Со вторым братом Викентием Станиславовичем я поддерживал связь по 1934 год т.е. до периода его ареста».

---

[8] Принцип «признание обвиняемого — царица доказательств» некоторые нынешние публицисты приписывают А. Я. Вышинскому, генеральному прокурору СССР в 1934–1939 годах, но другие авторы напоминают, что он был в ходу еще в Древнем Риме, приводят даже латинское выражение «Regina probationum». Да, собственно, какая разница, кто именно возвеличил эту «царицу»? Важно, что этот юридический термин создавал видимость правового решения вопроса, и в расстрельном 1937 году вершители человеческих судеб в СССР им широко пользовались.

На втором допросе (28 сентября) вопрос о братьях поднимался ровно в такой мере, чтобы «допрашиваемому» было ясно, что эта тема не снята: почему, мол, они Станиславовичи. Что ответил отец, я рассказал раньше.

Но на третьем допросе (2 октября) «допрашивающий» вопрос о связи с братьями не просто ставит — он подает его так, будто все уже неопровержимо доказано и обсуждению не подлежит:

«Следствием установлено, что вы до последнего времени имели тесную связь с врагами Советской власти вашими братьями Иосифом ксендзом польского костела и Викентием органистом польского костела, которые за контрреволюционную деятельность осуждены. Вы это подтверждаете?»

Кто и как проводил расследование? Какие факты вскрылись? Насколько они достоверны? О том — ни слова. Я бы сказал, что «допрашивающий» опять блефует, но это слово было бы уместно, если б он рассчитывал таким образом выведать у «допрашиваемого» дополнительную информацию, которая помогала бы если не истину выведать, так хоть выстроить более правдоподобную систему доказательств. Но ничего этого ему просто не нужно! Он ожидает от отца лишь подтверждения уже сформулированного пункта обвинения. И что поразительно — он его получает! Ответ отца напоминает по форме «развернутый» ответ ученика на вопрос учителя: «Да, это я полностью подтверждаю». И больше от него ничего не требуется — ни имен, ни дат, ни еще каких-нибудь конкретных деталей. «Признание» получено — «дознание» (можно ли назвать его следствием?) завершено...

Таким же точно способом добывалось и «признание» отца, положенное в основу третьего пункта обвинения, — о «контрреволюционной террористической агитации». На первом допросе речь об этом вовсе не заходила. На втором «допрашивающий» сразу берет, что называется, быка за рога:

«Вопрос: — Следствием установлено что вы среди крестьянского населения и служащих г. Унеча системотически проводили контрреволюционную деятельность. В июне и июле 1937 г. неоднократно высказывали злобу и контрреволюционную клевету на Советскую власть и колхозный строй высказывались, в защиту растреляных врагов Тухочевского Уборевича и других предсказывали о войне и скорой гибели Советской власти. Дайте по этому вопросу показание?»

«Допрашивающий» то ли нервничает, то ли торопится, то ли нервничает оттого, что торопится: это видно и по более размашистому почерку, и по полному уже пренебрежению орфографией, и по нарастающей бессвязности слога. «Допрашиваемый» понимает, чего от него ждут, но придерживается своей линии: мне уж не спастись, но вслед за собой никого не потяну. Вот как записан его ответ:

«Контрреволюционной деятельности указанного характера как среди кр-кого населения а так же и служащих города Унеча я не проводил, хотя я был и не совсем лояльно настроен к Советской власти но все это тоил в себя и нигде не высказывал. Контрреволюционной клеветы на Советскую власть и колхозный строй я нигде не высказывал в защиту растреляных врагов Тухачевского Уборевича и других так-же ничего нигде не говорил».

«Допрашивающий» явно срывается на крик (удивительно, но это чувствуется по протоколу, который сам же он вел; наверно, психологический нажим также считался законным приемом ведения «следствия»):

«Вопрос: Прекратите измышлять всякую ложь. Следствием ваша контрреволюционная деятельность полностью разоблочена и установлено, что вы системотически среди крестьянского насиления проводили контрреволюционную работу. Следствие котегорически предлогает вам рассказать правду по этому вопросу?»

Отец в своей позиции тверд:

«Ответ: Заявляю, что никакой контрреволюционной работы я нигде не проводил. И других показаний по этому вопросу дать не могу».

«Допрашивающий» снова пытается надавить на отца на последнем допросе:

«Вопрос: Следствием установлено и предъявлено вам обвинение, что вы среди крестьянского насиления и служащих г. Унеча систомотически проводили контрреволюционную деятельность, клеветали на Советскую власть и колхозный строй, высказывались в защиту растреляных врагов шпионов Тухачевского Уборевича и других, восхволяли жизнь кр-н в копиталистических странах, проводили пораженчискую контрреволюционную агитацию. Вы это признаете или нет?»

С отцом перед этим, несомненно, «поработали». Его, как вы помните, принудили признать, что он до последнего времени общался с братьями, хотя этого просто физически быть не могло. Но он ясно осознавал, что этим признанием им не навредит, а свою участь уже не утяжелит. Но признание в «контрреволюционной деятельности» могло послужить средством вовлечения в гибельную воронку еще каких-то невинных людей. И он выдерживает свою линию до конца:

«Ответ: Нет этого я не признаю, контрреволюционной деятельности среди кр-н и служащих г. Унеча я не проводил».

Что ж, у «следствия» был запасной вариант: необходимые показания были получены от «свидетелей», и вскоре (точная дата на документе не обозначена) появилось на свет «Обвинительное заключение», полный текст которого я привел выше.

Вот такое было «следствие»...

Не было суда, но был Суровягин

«Обвинительное заключение» я несколькими страницами раньше привел полностью, но не процитировал итог:

«ПОЛАГАЛ БЫ:

Следственное дело № 10294 следствием закончить и направить на рассмотрение НКВД СССР».

Тоже не тривиальная деталь: направить не в суд, а «на рассмотрение НКВД СССР».

Алик написал мне в письме после чтения «дела»: «Каким образом выносили приговор, об этом нигде ни слова». Так не было же никакого приговора! «Допрашивающий» сам сочинил «Обвинительное заключение» и представил своему же начальству вместе с протоколами допросов. Начальство к его «трудам» отнеслось не формально, о чем свидетельствуют почеркушки толстым красным карандашом в текстах протоколов, но осталось ими довольно, в связи с чем на чистом верхнем поле листка с «Обвинительным заключением» появилась виза: «С обвинит заключ. согласен Пом. Воен. прок (*и какая-то невнятная аббревиатура*) Генкин 9.10.37». Место для одобрения в более высокой инстанции было заранее предусмотрено: в левом верхнем углу, выше заголовка документа, пропечатано на машинке: «“УТВЕРЖДАЮ”. Нач[альник] Клинц[овской] Межрайопергруппы Лейтенант Госбезопасности (*оставлено место для подписи*) (ЛЕВИНСОН). “__” октября 1937 г.» Этот высокопоставленный Лейтенант местом для подписи не воспользовался и дату не проставил: просто размашисто черкнул наискосок, поверх машинописных строк, свою «фирму» — дал документу ход.

О том, какой это был ход, ясно из «Заключения» Брянской прокуратуры, пересмотревшей «дело № 10294» в 1989 году: «На основании решения НКВД и прокурора СССР от 12/X–1937, протокол № 100, приговорен к расстрелу». Так что не было ни суда, ни даже какой-нибудь «чрезвычайной тройки», а так вот, чохом: «протокол № 100». Кстати, не знаю, как вас, а меня смущает эта круглая цифра — номер 100: наверняка она условная. А сколько действительно было таких протоколов и сколько фамилий значилось в каждом из них?..

Еще в «деле» подшит (но в описи не зафиксирован) какой-то невзрачный клочок бумаги с угловым штампом НКВД СССР, и на нем карандашом и корявым почерком нацарапано, что обвиняемый «приговорен к ВМН». На основании этого, что ли, «документа» и была совершена казнь?! На какой-то еще бумаге, подшитой в «деле», но для меня не ксерокопированной (сам же не попросил), сказано как-то мельком, мимоходом, что казнь совершилась 12 октября. (Информация не бесспорная: откуда-то же всплыла дата 18 октября, обозначенная в справке о признании меня пострадавшим от репрессий?) Оцените скорость развития событий: 2 октября последний допрос, 9 октября некто Генкин завизировал обвинительную стряпню, в тот же день (не мог ведь раньше?) наложил свой росчерк наискосок некто Левинсон. А всего через три дня окончательное решение принимается в Москве, и тут же (телеграммой, что ли, оповестили, что «добро» дано?) отца расстреляли. Почему так спешили? Чтобы освободить место для новых жертв? Но я сомневаюсь, что движение бумаг совершалось точно в те сроки, что вытекают из обозначенных на них дат: к чему такие формальности, если все решено заранее? «Колесики» и «винтики» были не безупречны, но машина работала безотказно...

Вот теперь история жизни и смерти Петра Матвеевича Лукьянина, моего отца, высвечена, кажется, до последнего звенышка...

Но — нет, не до последнего. Из расстрельного «дела» не стало, к примеру, ясно, в каком месте провел отец последние недели своей жизни, где совершались допросы, где совершалась казнь. Алику запомнилось: «Под стражей он находился в г. Стародубе». Понятно, почему так запомнилось: в «Постановлении о задержании» (ксерокопии у меня нет, но документ существует, я его читал) говорится, что он препровожден в тюрьму города Стародуба. А в «Справке», приписанной к «Обвинительному заключению», на том же листочке, — ксерокопия его у меня под рукой, — говорится: «ЛУКЬЯНИН П.М. содержится с 20 августа 1937 г. в тюрьме г. Клинцы». Стародуб и Клинцы — города в нынешней Брянской области, первый в тридцати километрах южнее Унечи, второй в тридцати трех километрах к западу от нее, а прямой дороги между ними нет. Сознательно ли кто-то запутывал следы или такая царила неразбериха?

И ни в одном документе нет ни слова о том, где именно совершилась казнь.

Кстати, есть еще какая-то нестыковка в том, что в «деле» Унеча не раз называется городом, между тем как статус города она получила только в 1940 году. Что бы это значило? Я бы даже предположил, что дело сфабриковано задним числом, но под каждой страницей всех трех протоколов допросов стоит легко узнаваемая подпись отца. И частности семейной истории никто не мог бы за него придумать. Да и зачем?

И «заинвентаризовано» «дело» почему-то только в 1940 году (штамп на папке). Где и в каком виде оно хранилось на протяжении трех предшествующих лет? Все ли в папке при этом сохранилось? Не добавилось ли еще что-нибудь — но откуда? Между прочим, в описи значатся два протокола допроса отца, а на деле их оказалось три — почему так? И еще: список документов в папке (составленный, видимо, при инвентаризации, то есть в 1940 году) завершается протоколами допросов (отца и «свидетелей»), но подшито там еще и обвинительное заключение, подписанное в 1937 году, то есть до момента «инвентаризации», а в списке его нет. Когда и откуда оно туда попало? Едва ли все это — нарочно подпущенный туман: «дело» ведь не предназначалось для посторонних глаз. Может, просто чья-то небрежность: «сильно быстро делали», потому что было очень много «работы». Но в любом случае становится очевидным, как мало ценилась человеческая жизнь.

Однако самой большой загадкой для меня после изучения отцовского «дела» осталась фигура «допрашивающего». Практически все это «дело» — продукт его личного творчества: его рукой написаны все протоколы допро-

сов, им подписаны документы, напечатанные на машинке, он и «стратег», и «тактик», и главный исполнитель. Его фамилия повторена в «деле» много раз — и от руки написана в соответствующей графе, и напечатана на машинке, а если даже стоит только подпись — и она отчетливо читается. Однако нигде нет инициалов — только должность и звание. Кто же он таков (теперь уже, конечно, нужно спросить: кем же он был) — этот вершитель судеб, властелин над жизнью и смертью таких людей, каким был мой отец?

Точно известна только фамилия: это был Суровягин.

Важная подробность: изобличая «шпионов» и прочих «контрреволюционеров», следователем он не был. Не только по сути (в чем читатель, я думаю, убедился), но и по должности. По должности он был «нач. Унечского РО УНКВД З\О». И ситуация с отцом в этой связи выглядит так: сам начальник райотдела занялся им. То ли «работы» было у них много и ее разделили между всеми имевшимися в наличии «штыками», то ли «дело» показалось ему особенно важным, поэтому никому не доверил — взял на себя. (К слову: сам ли ездил, чтоб допрашивать отца, в Стародуб или в Клинцы, или отца к нему на допросы привозили? И это неизвестно.) Вполне возможно, что заведующего школой из крупного села, расположенного всего в десяти километрах от райцентра, он лично знал до ареста, поэтому какие-то нормы вежливости (особенно поначалу) соблюдал. Но, с другой стороны, зная его как человека независимого и прямого, он мог себе позволить действовать нахраписто и бесцеремонно.

Судя по всему, это был поднаторевший в своей службе человек; как видно по итогам отцовского «дела», начальство ошибок в его «работе» не находило. Он уверенно делал карьеру: «Постановление о задержании» он подписал еще как «ст. сержант госбезопасности»[9], а допросы ведет уже как «мл. лейтенант гос. безопасн.». Я сделал попытку выяснить его дальнейшую судьбу через Интернет. Выяснилось, что эту фамилию носило и носит немалое количество достойных людей; как правило, ни по возрасту, ни по роду занятий к вершителю отцовской судьбы они не могли иметь отношения. И все-таки в двух-трех материалах «засветился», судя по всему, именно тот самый Суровягин, который меня интересовал: работник НКВД, который уже во время войны занимался проблемами все той же госбезопасности на территории нынешней Брянской области — «очищал» партизанские отряды от шпионов и диверсантов. В одном документе 1943 года он проявился как «представитель УНКВД по Орловской области капитан В. И. Суровягин», а в краеведческом материале гораздо более позднего, послевоенного уже времени, видимо, он же упоминается тоже в связи с партизанским движением, но уже как подполковник. Правда, инициалы подполковника — В. Н., но ошибки такого рода вполне объяснимы, тем более что при размашистом почерке (а у отцовского «следователя» почерк был размашистый) заглавные буквы И и Н легко спутать. Не могу, конечно, поручиться, что это именно тот самый Суровягин, даже и хорошо бы, чтоб не тот. А все-таки у «особистов» военных лет — хоть на фронте, хоть в партизанском тылу — репутация нынче такова, что моя версия, связанная с интернетской находкой, не выглядит такой уж невероятной. Но если шпионов и диверсантов на войне разоблачали такими же методами, как создавали расстрельное «дело» моего отца, — это означает, что еще одна страница нашей военной истории остается не до конца прочитанной.

Однако вполне допускаю, что именно тот самый Суровягин, который ни разу не написал правильно слово «эсперанто», но, в сущности, именно за эсперанто (права была мама!) подвел отца под расстрел, — допускаю, что именно он партизанил и даже совершил какие-то военные подвиги. Потому что, судя

[9] «Википедия» сообщает, что «во времена Ежова в милиции и ГУГБ установились персональные звания и знаки различия, похожие на армейские, однако фактически соответствующие воинскому званию на несколько рангов выше».

по отцовскому «делу», никакой личной неприязни к отцу у него не было, он был лишь этаким «верным Русланом» на службе у тех, кто осуществлял «высокую политику». Выше его стояли совсем неведомые мне Генкин и Левинсон: в их власти было остановить рвение Суровягина, принесшего им на одобрение свое криминально-фантастическое сочинение о шпионе-эсперантисте, но они сочли, что все сделано им как надо. А Москва, в свою очередь, поддержала Генкина и Левинсона — уж не сам ли генеральный прокурор А. Я. Вышинский подписал «протокол № 100», заменивший приговор?

Легче всего было бы мне сейчас повторить известную банальность, что, мол, в гибели отца виновата «система». Но это значило бы, что, в сущности, никто и не виноват, кроме как «большевики», которые невесть откуда явились на нашу голову, а теперь, слава богу, сгинули, как нечистая сила, побежденная крестным знамением нынешних праведников.

Но, между прочим, Алик в памятном письме после прочтения «дела» написал мне, даже изумляясь: «Самое обидное, что, вопреки всей этой клевете, отец верил этой власти, был активным ее сторонником, полагал, что действительно строится светлое будущее». «Верил» — это следует, конечно, не из самого дела: ни на одном допросе отец не унизился до заверений в своей лояльности. Да и не власти он верил, а способности народа по-новому устроить свою судьбу. Было ведь искреннее его стихотворение «Даўней служылі пану — хадзілі на прыгон», была увлеченная и творческая работа в школе — из-за нее потом односельчане долго вспоминали о нем добрым словом. Что он критиковал топорные действия властей и в колхозном строительстве, и по отношению к «врагам народа», — тут, я думаю, «свидетели», чем бы они там ни руководствовались, не наврали. Но ведь он призывал не строй ломать, а разумней проводить правильную по идее государственную политику. О том же самом говорили и «шестидесятники» на легендарных кухнях (я сам постоянно в таких разговорах участвовал) — до появления радикалов-диссидентов.

Разумней... Помню, просматривал я лет десять назад в бывшем партархиве протоколы партсобраниий 1937 года — собирал материалы для историко-публицистической книги. И наткнулся на поразительное проявление духа времени. Некая партийная активистка громко возмущалась на собрании: как же, мол, так получается, что мы, малограмотные рабочие, легко распознаём врагов народа, а вот они (кивнула на инженеров) в упор их не замечают?! Бедная женщина, она и не знала, что ее устами глаголет сама истина! Дело в том, что чем невежественнее человек, тем менее он склонен к рефлексии, к анализу ситуации, к осмыслению последствий своих поступков. Вместо разума ему служит «классовое чутье» или «зов крови», вместо осмысленной программы действий — наглядный пример, вместо взвешенного выбора — стадный инстинкт. Чтобы «мобилизоваться» в едином порыве, ему нужен вождь, чтобы объяснить самому себе неудовлетворенность реальной жизнью, ему нужен враг. А если есть и вождь, и враг — наступает «великая эпоха». (Не привожу примеры, их более чем достаточно не только в прошлом, но, увы, в сегодняшнем дне тоже.)

Не было у нас «тоталитаризма» — была попытка соединить не очень просвещенный, скажем мягко, народ на благие, в общем-то, дела (читайте лозунги, смотрите фильмы, пойте песни того времени) средствами, которые больше годятся для того, чтобы сплотить толпу вокруг вожака и поднять ее на какой-нибудь погром.

Не было «злодея» Суровягина — был «верный Руслан», добросовестный служака из тех, что «голосуют сердцем», а потом радостно следуют за вождем хоть строить, хоть воевать, хоть громить «иноверцев» (евреев, генетиков, интеллигентов — какая разница?), облизывая руку, в которой зажат понужающий их кнут.

Не был и мой отец невинной жертвой сталинизма, случайно попавшей (а мог бы благополучно отсидеться в сторонке) в жернова репрессивной машины, — был он носитель разума и здравого смысла, человек, абсолютно не

«стадный» по характеру, учитель по профессии и просветитель по призванию. Он был принципиально чужд... Нет, не социализму, предполагавшему организацию общественных отношений на основе разума, гуманности и справедливости, а системе, которая создавалась в стране под видом социализма. Прокламируя высокие и благие цели, идеологи и стратеги «социалистического строительства» по-советски, с помощью полуграмотных служак типа Суровягина, направляемых их непосредственными начальниками (Генкин, Левинсон и им подобные), при своекорыстной помощи доброхотов вроде Вушлятого, при трусливом пособничестве «свидетелей», при молчаливом согласии запуганной общественности, эта система целенаправленно и успешно превращала граждан свободного общества в бездумную и агрессивную толпу. Эта толпа еще со времен римских прокураторов с энтузиазмом избавлялась от тех, «кто не с нами» («Распни его!» — это ведь толпа кричала Понтию Пилату), и отец просто не мог не стать ее жертвой.

И механизмы толпы, и деятели, умело ими пользующиеся, и «верные Русланы», живущие инстинктами, и не стадные люди, которым «горе от ума», — это было тогда, это есть всегда, и это, увы, есть сейчас. Причем надобность именно в таком способе «решения» стоящих перед обществом проблем возрастает по мере того, как нарастает сложность тех проблем и становится все труднее находить рациональные их решения. Так было в период борьбы за советскую власть, на этапе форсирования индустриализации; к сожалению, и в войну тоже. Но такая ситуация складывается и сейчас, когда «инновации» не идут, «модернизация» не получается, либеральная экономическая модель, которая в XX веке привела «цивилизованный мир» к процветанию, вдруг обнаружила свою бесперспективность... Не думаю, что должен повториться 1937 год: история никогда не сообщает заранее, чем она собирается нас удивить. Но тревожно наблюдать симптомы...

И мне не следовало бы садиться за это повествование, если б дело касалось только оскомину набившего прошлого.

Андрей Козлов

Четвертая реформа кириллицы

Играют волны — ветер свищет,
The mast is creaking and asway...
Увы, он счастия не ищет...
It's not from bliss he flees away!

Под ним струя светлей лазури,
Above — a sun ray, gold and warm...
А он, мятежный, просит бури,
As if there's peace in any storm!

Лермонтов & Калужский
«...Под знойным солнцем бытия»
"...Under the scorching sun of life"

Некоторое время назад Александр Верников, известный в узких кругах как Кельт, созвал екатеринбургский литературный бомонд на презентацию книги переводов Лермонтова на английский, выполненных Александром Калужским, первым президентом Свердловского рок-клуба.

Из рок-клуба на презентацию книги Калужского, предавшего рок-н-ролл ради классики, никто не пришел. Кельт захлебывался от восхищения: и ритм, размер, и смысл — все совпадает. Браво, брависсимо, наибрависсимо.

— И главное, что развенчан миф о неполноценности обратного перевода, — подчеркнул Кельт.

В смысле, считалось, что на англицкий могут хорошо переводить только те из англоязыких, которые родились-выросли там, но оказалось, что нет: родившиеся тут перевели Лермонтова еще даже лучше, а родившиеся там переводят только верлибровыми подстрочниками. Кельту зааплодировали, а я добавил, что развенчан попутно и миф о непереводимости на их языки Пушкина, и это вызывает у нас подозрение, что не переводят они Пушкина на англицкий потому просто, что им неохота, а то и вовсе специально, чтобы «солнце нашей поэзии» и «наше всё» не стало бы, чего доброго, их солнцем и всем. Ведь даже и на эритрейский язык перевели Пушкина и памятник поставили посреди эритрейского майдана. /... /

Серенькая книжица Лермонтова-Калужского меня заворожила. Я даже не поленился строчки правой и левой страничек поменять. Читаю на обоих языках — и музыка не исчезает. Лермонтов остается, но какой-то новый. Не могу сказать «глобальный» — будь Лермонтов с нами, он, судя по «немытой России» и «мундирам голубым», был бы скорее антиглобалистом. Хронотоп какой-то иной, третий: Кавказ, Россия, Калифорния... А третье-то как раз совсем не лишнее, а самое то...

Мнения авторов данной рубрики в силу своей курьезности зачастую не совпадают с мнением редакции.

Андрей Козлов — литератор, организатор проектов и художественных акций, таких как установление памятника букве «Ё» в Екатеринбурге, учреждение литературно-художественной премии «Нобелевская Бука» и др. Автор проекта памятника «Мамонт — русский слон». Изобретатель супрематических шахмат «Нёркирдык».

К тому же все лето я находился в глубоких раздумьях о кириллице и латинице, особенно после встречи с челябинским мыслителем Станиславом Жаровым, создавшим так называемый «именной туризм», о котором вы сами можете прочитать, найдя это сочетание по Яндексу. Общий же смысл в том, что буковки очень конкретно шибают по подсознанке, так что ими можно даже лечить мигрень, хандру и депрессию, последняя из которых, кстати, уступает по массовости разве что СПИДу, раку и свиному гриппу...

***

Теперь, если немножко позволится нам ликбеза, напомним, что греческие монахи Кирилл и Мефодий придумали вдвоем и кириллицу, и глаголицу, которые еще называют славянскими азбуками. Но если говорить точнее, это не славянские азбуки, а азбуки одного из славянских народов, славян, живших в Солониках. Так что если выразиться, несколько (совсем несколько) модернизируя: язык, для которого эти двое великих изобрели свою азбуку, был древнесербским или древнеболгарским. У нас этот язык назвали церковнославянским, а иногда, чтобы не нервировать фундаментальных атеистов, называли еще старославянским. Восточные славяне Древней Руси говорили в целом на своем собственном языке, довольно похожем на древнецерковный, но не совсем. В конце концов, древнерусская интеллигенция для литературных и делопроизводственных нужд выработала свой литературный язык, используя для него кириллицу-мефодицу.

В пассионарные времена Петра Алексеевича первым русским энциклопедистам стало очевидно, что азбуку надо несколько подрезать, так же как бороды, мундиры и прочий домострой. Русскую азбуку так или иначе в петровские и последующие времена скорректировали. Поменяли архаичную графику, неудобную для типографских шрифтов, удалили «юсы» (большой и малый), «пси», «кси». Убрали самые кошмарные буквы. Кстати, о други, наш великий земляк Татищев предложил из 44 букв кириллицы Кирилла убрать 15 и оставить 29 . Но Василия Никитича проигнорировали и удалили лишь самые одиозные буквы. Так что в 18, 19 и начале 20 веков книги русских классиков писались на кириллице не Кирилла, а на кириллице придворных безбородых умников Петра, среди которых, кстати, был и бывший мариенбургский суперинтендант Глюк, в семье которого жила приживалкой-служанкой сиротка Марта Скавронская, будущая царица Екатерина Первая...

Это была первая реформа кириллицы. Само слово «кириллица» осталось прежним, но азбука изменилась.

Вторая реформа произошла в 1918 году, уже при советском правительстве Ленина, Свердлова, Троцкого, Сталина, Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова и др. Убрали «ять», «фиту» (дополнительная буква для звука «ф»), две дополнительных буквы для звука «и», ъ в конце слова. Всем было понятно: экономятся шрифты, экономится пространство бумаги. Все всем было понятно, тем более что реформу придумал не Луначарский вовсе, а дореволюционные старорежимные русские филологи вроде Бодуэна де Куртенэ. Всем, кроме Репина, которому казалось, что теперь его фамилия, раньше писавшаяся с «ятем», будет звучать как «рёпин». Конечно, это было извечным ворчанием интеллигентской фронды, которая не понимала революцию и которая из всего «ленинского наследия» мазохистски запомнила единственную фразу: «Интеллигенция — не мозг нации, а говно». Новая азбука большевистской России имела 33 буквы. Она тоже называлась кириллицей, хотя ее можно было назвать советицей, ленинице, луначарицей, социализмицей. Но теория большевиков не считала азбуку чем-то очень важным, и они, большевики, не стали осуществлять ребрендинг в этой сфере.

Третью реформу хотел было осуществить Хрущев, предлагавший заменить ЗАЯЦ на ЗАЕЦ, но товарищи сместили его осенью 1964 года, так что третья

реформа начала осуществляться лишь спустя 45 лет, летом 2009 года. Вернее, не началась даже, а завершилась, так как началась эта реформа в январе 1986 года, когда мы доложили уральскому филологическому сообществу наше мнение об ошибочности позиций как московской, так и ленинградской фонологических школ.

Как известно, одна из этих школ считала, что фонема «ы» является вариантом фонемы «и», другая считала, что «ы» и «и» сидели на трубе в качестве самостоятельных фонем. Школы не шли ни на какие компромиссы, так что провинциальной филологии только оставалось констатировать факт двух мнений и двух школ. Само по себе это было неординарно, ведь советская идеология придерживалась демократического централизма, что означало, что за некоторым разнообразием мнений торжествовало одно правильное: миром правило бытие, материя, социалистический реализм и управляющая рука единопартийной партии. А тут — две. Видимо, большевики опять решили, что тонкости фонетики — вещь факультативная, не особенно для исторического материализма существенная.

Если ленинградские и московские языковеды спорили, сколько в русской фонетике гласных: 5 или 6, то нами было установлено, что их — 12. При этом мы лишили твердость и мягкость согласных фонематического смысла. А Й (и краткую) в ее лицемерно-двурушническом качестве полугласной разоблачили как фикцию наподобие теплорода или астрологии.

— Ни полугласных, ни полусогласных не бывает! — выкрикнул я, как Ленин на том съезде Советов, где какой-то меньшевик заявил, что «нет такой партии».

То есть, как сказал Сёрен Кьеркегор: “Ubi... ubi...”

Реакция была неоднозначная. Одна из позиций состояла в том, что исповедующий сие отныне проклят именем Бодуэна де Куртенэ и всей русской лингвистики. Другая состояла в пожелании, чтобы я сам нашел должные аргументы и отрекся от ереси.

Из вежливости я не сказал ни да, ни нет. И на многие годы забыл про «свой вересковый мед». Почти забыл. Стасик Жаров напомнил мне о лингвистическом дифференциале Журавлева. Я все вспомнил и понял, что я не поставил над и десятеричной (i), которая была в дореволюционных кириллицах, точку. Следуя правилу выделения фонем Николая Трубецкого, я определил состав фонем русского языка и при этом удивлялся, почему же сам Трубецкой этого не сделал. Провал моего открытия 1986 года я механически отнес на счет «нормальной», в смысле «нереволюционной», науки (если воспользоваться терминологией Т. Куна из его теории «научных революций»). Вопрос, почему же даже те, кто в согласии с научным этикетом отказывались предавать меня анафеме, не признали мою школу правильной, я себе тогда не задал.

Трубецкой этого не сделал, а советские филологи не позволили этого сделать, потому что им мешал старый алфавит (!)

Я его исправил. Произошла третья реформа. Кирилл, Мефодий, Петр с Татищевым и суперинтендантом Глюком, Луначарский с Лениным и Бодуэном де Куртенэ — ну и я, незначащий червь мира сего. Я устранил из советицы пять букв: Щ, Ц, Ч, Й, Ъ. Осталось 28... Вау! У Татищева было 29! Полагаем, что 29-й и самой заковыристой была буква Й (и краткая). Не то чтобы эта буква такая уж неправильная. Она правильная, просто буква Й и буква Ь означают один и тот же звук. Неудивительно, что он, Татищев, этого не заметил. Удивительно, что он заметил целых 15 лишних букв. Татищев, этот первый русский историк, основатель Екатеринбурга, Перми и еще десятка городов, первый в мире мамонтовед, начертатель границы Европы и Азии по Уралу и реке Яик, был практически первым русским энциклопедистом... О, как я зауважал Татищева, ведь он ошибся всего на одну букву, а жил в 18 веке в России, которая только-только разбила шведов под Полтавой, только-только сбрила бороды столичной знати...

***

Но, прочитав переводы Лермонтова на английский, сделанные Калужским, я ощутил зов изнутри.

— А что, если неокириллицу освежить несколькими буквами латиницы, так сказать, взять и генномодифицировать нашу азбуку? — подумал я. — Ну хотя бы для начала во имя эксперимента.

Мы осуществили несколько операций нанопипеткой — и пред нами была кирилатица. Это была уже четвертая реформа. Во-первых, она полностью продолжала смысл третьей реформы. Во-вторых, решался вопрос относительно предрассудков носителей латиницы к кириллице. С восемью буквами из латиницы кирилатица представляла собой азбуку, где половина (14) букв совпадала с буквами латиницы и лишь 14 были — «чужими». Новая русская азбука давала носителям латиницы недвусмысленный дружественный сигнал. В-третьих, русскоязычное население получало новый качественный уровень своей цивилизационной матрицы, «новое вино» получало «новые мехи». В-четвертых (по счету, но не по значению), наша орфография, наконец, получала возможность избавиться от абсурдного, «мракобесного» правила «Жы Шы пишы через И».

— Почему? — спрашивали мы маму, папу, учительницу.

— Пиши, и все тут. Это правило. Это исключение. Это образование и грамотность. Пиши.

Для многих и многих это ЖИ-ШИ стало символом могущества культуры, образования, русской словесности и чуть ли не поэтическим даром, этаким предшествием гениальности. На самом же деле ЖИ-ШИ — это чушь, антинаучный архаический предрассудок.

Ниже в таблице приводится кирилатица и соответствующие ей буквы кириллицы, а также примеры слов, написанных на кирилатице.

В релизе, сопровождающем нашу азбуку, мы сообщали:

«Азбука кирилатица не представляет сложности для чтения русскоязычным читателем. В кирилатицу не вошли те буквы обоих алфавитов, которые, имея графическое сходство, звучат по-разному (например, русское «Р» и латинское «Р»). Исключением была русская буква X, похожая на латинский X (икс), поскольку латинская H («х») также похожа на русскую H.

Новая русская азбука (пятая) удаляет «железный занавес» между двумя цивилизационными блоками на уровне гуманитарной ментальности. Вместе с тем русские тексты на кирилатице полезны для тонизации, оживления процесса чтения. Новое письмо простимулирует на подсознательном уровне креативную, поисковую активность русскоязычного читателя, станет ингредиентом эвристических практик, которые лягут в основу новой российской идеологии. Продолжительная практика чтения текстов на кирилатице приведет к пробуждению новых мнемонических функций, созданию параллельного ментального поля, которое создаст ситуацию для так называемого скорочтения и экстраординарного запоминания и снятия психологических барьеров (чужое по виду письмо — очень скоро оказывается абсолютно «своим»). Наконец, кирилатица не стремится тотально вытеснить кириллицу — для перевода на кирилатицу будут отбираться только знаковые, архиважные, ключевые, структурирующие передовую общественную ментальность русскоязычного читателя тексты, чтобы помочь массам выплывать в современных информационных наводнениях

Даешь кирилатицу!

ДАЁШ KYRYЛATYTSU!

Именно по новой азбуке большинство людей мира узнают, что Россия преодолела период разброда, либерально-капиталистического маразма и, идеологически обновленная, приступила к мировой духовно-общественной трансмутации.

ДА ZДRAVSTVUET TRANSMUTATSЫЯ!»

№	Кирилатица	Кириллица	Примеры написания
1	А а	А	ANTiГЛОБАЛiZM
2	Б б	Б	БiFFURKATSiЯ
3	V v	В	VАЛАТiЛNOSTЬ
4	Г г	Г	ГENOMOДiFiTSЫROVANNAЯ SOЯ
5	Д д	Д	ДERiVATЫ
6	Е е	Е	EVROSOЮZ
7	Ё ё	Ё	ЁKARNЫЬ БАБАЬ
8	Ж ж	Ж	ЖЫДОMASONЫ
9	Z z	З	ZОЛОТОЬ MiЛЛiARД
10	I i	И	iПОТЕТШЬNЫЬ KREДiT
11	Ь ь	Й	ГiMNASTiKA ЬОГОV
12	K k	К	KONSTiTUTSЫЯ
13	Л л	Л	ЛiБERAЛiZATSЫЯ TSЭN
14	М м	М	METROПОЛiTEN
15	N N	Н	NANOTEXNОЛОГii
16	О о	О	ORГANAЬZER
17	П п	П	ПARNiKOVЫЬ ЭFFEKT
18	R R	Р	RESПUБЛiKANSKiЬ
19	S s	С	SiMVOЛiTШESKiЬ КАПiТАЛ
20	T t	Т	TERRiTORiАЛЬNЫЬ
21	U u	У	UЛЬЯNOV-ЛENiN
22	F f	Ф	FRAKTАЛЫ
23	X x	Х	XARiZMA
24	TS ts	Ц	TSENTROБANK
25	ТШ tш	Ч	ТШЕЛОVETШESTVO
26	Ш ш	Ш	ШOU-БiZNES
27	ШЬ шь	Щ	ШЕЛKUNTШiK
28	Ь ь	Ъ	SЬEZД
29	Ы ы	Ы	МЫШЛENiE
30	Ь ь	Ь	EЛЬTSЫN
31	Э э	Э	ЭЛEKTRONNAЯ ПОТШЬТА
32	Ю ю	Ю	ЮVENАЛЬNAЯ ЮSTITSЫЯ
33	Я я	Я	ЯПONSKAЯ KUXNЯ

Я разослал наш релиз по Интернету разным авторитетам, показывая, как теперь будут писаться русские слова в кириллице пятого созыва:

ЛUKOШЭNKO
ЖЭNЯ KASIMOV
KARЛ MARKS
SOTSIAЛIZM
KONSTITUTSЫЯ
ДZЭN-БUДДIZM
KVN
VOЬNA I MIR
ШUM I ЯROSTЬ
OTTSЫ I ДETI
ROMEO I ДЖUЛЬETTA

MATERIAЛIZM I ЭMПIRIOKRITITSЫZM
SOЮZNOE ГOSUДARSTVO
MESTNOE SAMOUПRAVЛENIE

***

Архитектор, художник и куратор экспериментально-лингвистического движения дюпонистов Павел Ложкин ответил первым, признавшись, что «ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ ЕМУ САМОМУ ТОЖЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ».

Игорь Богданов согласился, что проект алфавитной реформы «ЖЖЕТ, НО ОБРЕЧЕН НА ПРОВАЛ».

А ПОЧЕМУ? — послал я эмейл. — ВСЕ ВЕДЬ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИИ?

Федор Еремеев (известный книгоиздатель) категорически не согласился с нашей заботой о снятии «железного занавеса на уровне гуманитарной ментальности»:

«ЗАНАВЕС НАДО ЗАКРЫТЬ».

Я не стал Федю упрекать в вечном интеллигентском фрондировании и пообещал поправить посылку:

«ПРИ ПОМОЩИ НОВОЙ АЗБУКИ ЗАНАВЕС МОЖНО И ОТКРЫВАТЬ, И ЗАКРЫВАТЬ».

Где-то году в 1996–1997 Свердловская облдума приняла закон о запрете латинских букв на улицах областных городов. Но оказалось, что чуть ли не 90% латинских букв на улицах городов являются логотипами, товарными знаками, которые не закрываются при помощи областного закрывания. Само же закрытие было предпринято из опасения утерять у молодежи патриотические чувства, которые по закону условных рефлексов академика Павлова возникали от латинских букв. Кирилатица же, как мы видим, увеличивает патриотизм неокрепшей молодежи более чем на 50% (в советице было 7 букв, совпадающих с латиницей, сейчас их стало — 15).

В моем релизе был приведен показательный пример, текст из романа «EVГENIЬ ONEГIN»:

VI

ЛatыNь iz моды vышла NыNe:
Так, esлi пRavдu vam skazatь,
ON zNaл dovoльNo по-латыNy,
Тшtoб эпiгRafы Razбiratь,
Пotoлкovatь об ЮveNале,
V koNtsэ пiсьма postavitь vале,
Да помNiл, xotь Ne без гRexa,
iz ЭNeiды дva stixa.
ON rытьsя Ne iмел oxotы
V xRoNoлoгitшeskoь пылi
БыtoпisaNiя zемлi;
No дNeь miNuvшых aNekдotы,
Ot Romuла до Nашых дNeь,
XRaNiл oN v памяti svoeь.

Сеня Соловьев, автор прототипа бессмертного Серафима Шарташского, посоветовал перевести на кирилатицу Бианки и Чуковского. Я согласился, нашел сразу же стихотворение Агнии Барто и перевел:

Net, NaпRasNo мы Reшылі
ПRokatitь kota v машыNe:
Kot katatьsя Ne пRivык –
OпRokinuл гRuzovik.

Бурная наша переписка происходила в 2009 году, как раз накануне юбилея известного уральского поэта Николая Мережникова (ныне уже, к сожалению, покойного), стихотворение которого я обнаружил в подшивке «Вечернего Свердловска» за май 1961 года. На кирилатице стихотворение выглядит так:

V эtot пRazдNik zvoNkoголosыь
Vsë, tшto доRoго, блizko Naм
Мы, svetлея лitsoм, пRoNosiм
По toRжestveNNым площадям.
Na плеtшях Neбesa i zoRi
I полеь RoдNых малахit
ПRoNesut skvozь жыvoe мoRe
Te, kto ix ot vRara xRaNit.
A потом поплыvut плаkatы:
ПeRvoмaь! ПRiNiмaь ottшёt.
Skoльko пeseN, tsvetov, пRoKata
ПRiгotoviл teбe NaRoд...
...MiR и Maь!
ix Soюz veseNNiь
Soziдaet NaRoд-гeRoь,
... i s tRiбuN NezRiмo ЛeNiN
Sxoдit v Naш пeRvoмaьskiь stroь.

И как еще мог поздравить и приветствовать поэт поэта! Что может быть приятнее в декабре, чем воспоминания о мае! Что могло быть приятнее в 2009 году, чем воспоминания о 1961 годе, когда только-только поменяли деньги, запустили Гагарина, Хрущев официально впервые встретился с американским президентом, воздвигли Берлинскую стену, объявили коммунизм через 20 лет, взорвали термоядерную бомбу, изобрели КВН, а Солженицын принес в «Новый мир» свой рассказ «Щ-854...», который на выходе стал называться «Одним днем Ивана Денисовича»!... В том старом, добром 1961-м году были буквы Щ, Ч, Ц, Ъ, Й... Романтичное было время.

P.S. Строчные латинские буквы N и R пишутся как прописные, чтобы избежать их перепутывания с кириллическими «П» и «Г» (см. отрывок из «Евгения Онегина»). Это правило вводится на переходный период, пока программисты не придумают что-то со шрифтами карилатицы.

Елена Сафронова

«Сампечат» разбушевался?

На вечере памяти Иосифа Бродского, в честь его 70-летнего юбилея, поэт и культуртрегер Андрей Коровин рассказывал, что в среднем ученическом возрасте ему в руки попали стихи дотоле неизвестного великого поэта — на растрепанных листочках, блеклым машинописным текстом. Эти подборки Андрей по неопытности читал в школе. Их заметила у мальчика и... попросила на одну ночь учительница литературы. К счастью, этот курьез не имел для школьника никаких неприятных последствий.

Эти стихи были типичным «самиздатом».

Новое время — новое слово

История слова «самиздат» в России не столько длинная, сколько бурная, напрямую увязанная с ближайшим прошлым нашей страны. Правда, молодежи уже требуется расшифровывать, что во времена советской власти так называли всякую запрещенную литературу, «изданную», вернее размноженную, кустарным способом, на пишущих машинках. «Эрика» берет четыре копии — вот и все, и этого достаточно», — пел А. Галич. В почти слепых копиях читали наши родители книги М. Булгакова, Д. Андреева, стихи М. Цветаевой и О. Мандельштама и даже «Гадких лебедей» Стругацких.

В наши дни классический «самиздат» свелся к минимуму. Хотя в краткую эпоху первых ротапринтов и ксероксов некоторые широко известные в узком кругу поэты и прозаики пользовались этими «гаджетами», чтобы размножить плоды своих писчих трудов. Но сейчас это уже не так актуально: достаточно, раз набрав на компьютере, выложить стихи, либо прозу, либо их производные в интернет.

Правда — любопытный феномен — Интернет еще не для всех граждан и не для всех регионов стал важнее «реала» (не буду отвлекаться на статистику!). В сугубо литературном аспекте он тоже пока еще не «рулит». В массовом сознании мерилом писательского успеха остается «бумажная» книга — не потому ли, что большинство заядлых «читателей» — немолодого возраста и гуманитарного образования, им непривычно восприятие текста с мерцающего экрана (кроме того, иные и компьютер не признают либо не имеют). Как бы то ни было, сакрализованное отношение к печатному художественному изданию в кругах писателей и «потребителей» их творчества остается. И диктует необходимость производить на свет книги.

Получается, что у слова «самиздат» появился новый смысл, более логичный: книга, изданная тщанием самого автора. За свой счет либо собственными усилиями.

Можно ли точно указать момент, когда издавать книги за свой счет стало распространенной практикой? В конце 80-х — начале 90-х в числе прочих частных бизнесов «расцвел» и издательский. Но начинали частники-

---

Елена Сафронова — поэт, прозаик, критик, печаталась в региональных изданиях, литературных журналах «Знамя», «Урал», «Родомысл» и др. Автор нескольких сборников стихов. Лауреат литературной премии «Золотое перо Руси». Живет в Рязани.

книгоиздатели с западной фантастики и западных же детективов, ликвидируя голод читателей по литературе такого рода. А вот где-то в середине 90-х уже казалось нормой найти издателя и заплатить ему за изготовление своей книги — как и найти спонсора сего «самиздательского» процесса. И до сих пор кажется нормой. Посему термин «самиздат» резонно было бы относить ко всем книгам, авторы которых возжелали увидеть свои труды напечатанными типографским способом. И вложили в сию акцию энную сумму (возможно, и спонсорскую). Львиная доля книг, выпускаемых провинциальными издательствами по всей России, увы, тоже «самиздат». Особенно хорошо это понимают издатели и авторы на стадии продажи книги: «самиздат» с неохотой берут книжные магазины, продавать его авторам приходится самостоятельно. Наиболее честные издатели предупреждают об этом своих клиентов заранее. Другие ставят перед фактом, когда книга готова. Подсчитать «самиздат» нет никакой возможности. Ведь часть его не имеет даже ISBN. Но вот зайдешь в бюро пропаганды при каком-либо областном отделении Союза писателей (где еще сохранились бюро пропаганды)... и вдоль стен, и на столах, и в шкафах, и на полках громоздятся издания «местных авторов», не востребованные книжным рынком. Глядя на эти кипы, считаешь их, подобно готтентоту: «один-два-три — много!».

Много в России «самиздата». Хорошо это или плохо — однозначного ответа не имею. Это — данность дня нынешнего. Таким образом формируется особый пласт отечественной художественной литературы. Есть коммерческая, которой полны книжные прилавки (а затем развалы); есть «большая», которой гордятся «толстые» журналы, которую выпускают либо профильные издательства, либо — периодически — издатели-гиганты; а еще есть третья сила — которая посередке, между двумя берегами. И, как правило, ни с одного берега не регламентируется. Не подходит под стремительный формат «развлекухи», не дотягивает до лаврового венка «современной классики».

Построить пропорцию этих трех «пластов литературы» тоже вряд ли кому по силам. Качество нынешнего «самиздата» как по содержанию, так и по оформлению очень разное — тоненькая брошюрка с неумелыми стихами не тождественна тяжелому тому с полноценным романом. Но для оптового книжного склада, как и для книготорговой сети, то и другое «самиздат».

Как этот массив литературы назвать? «Любительская»? — но она все же не колбаса. «Непрофессиональная»? — тот же смысл, только обиднее. Быть может, «инициированная авторами» литература? Парадокс в том, что ее, пожалуй, больше, чем любой другой, — по числу авторов. Но и меньше, чем любой другой, — по тиражам, по объемам (ведь за свой счет романы не больно-то издашь, «выпекаются» таким образом в основном сборники рассказов и стихов), наконец, по ее распространенности и «доступу» к читателям.

Мне грустно от «уравниловки» в книготорговой политике, когда «инициированную автором» книгу не берут в магазин, не продают централизованно через интернет. Плохо, что под одну мерку попадают и книги, которые доставили бы радость сáмому привередливому библиофилу, — и те, которые никому, кроме автора, не нужны. Но пишущая братия настолько свыклась с необходимостью издаваться за свой счет, что не видит в этом проблемы.

Впрочем, и в книготорговле бывают исключения. Недавно Константин Ситников, один из самых «продвинутых» издателей Рязани (издает «умные» книги в красивом, достойном оформлении, по всем правилам полиграфии, с иллюстрациями отличного художника Татьяны Полищук-Кноссен и профессиональной редактурой, не чурается центральных книжных выставок и держит сайт издательства), порадовал меня известием, что его книги десятками закупает для дальнего зарубежья одна из крупнейших российских компаний — распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и других информационных ресурсов. Они сами на издателя Ситникова вышли через интернет. Их интересует малотиражная литература (до 1000 экз.) — ибо экс-



клюзив. Они работают со всеми регионами. По данным Константина, фирма сделала закупки книг и других рязанских издательств. Тенденция такая, что сейчас в России много мелких издательств, выпускающих редкие в смысле тиража и содержания книги. Сами представители этой фирмы говорят, что давно пора работать с регионами — там сохранились очаги культуры, а в Москве печатают «ширпотреб».

Возможно, лед тронулся и спустя какое-то время не будет разницы в схеме продаж книги от издательства-гиганта и от частника-индивидуалиста. Дай Бог, чтобы так, — но я не экономист, пишу не о книгообороте. И не о частном издательском бизнесе, в котором «то густо, то пусто» — если, конечно, издательство не на договоре с какой-либо бюджетной структурой, поставляющей ему заказы на издание книг, допустим, «местных классиков» (порой эти «классики» хуже непризнанных авторов). И не о том, как реконструировать издательскую систему...

Меня больше интересует человеческий фактор, стимулирующий не выходящий из практики «самиздат».

Но вот издатель Константин Ситников, дипломированный полиграфист и ответственный человек, обижается не на шутку всякий раз, как слышит от меня слово «самиздат» в смысле «самоинициированная книга». Ему тут слышится негативная оценка: что-то «ненастоящее», неумелое, на коленке сработанное. Ротапринтная книжонка, прошитая степлером... Гордость издателя бунтует: он делает хорошие книги, а не «самиздат»! Он приводит мне в пример, что некоторые писатели с именами издают свои книги в провинциальных издательствах (и тоже за свой счет или за счет каких-либо грантов) — тут издание дешевле, а качество не хуже! Но это, мне кажется, совсем другая история. Когда у тебя есть имя, оно уже работает на тебя. А заработать имя самиздатными книгами невозможно... Если Пупкин выпустил книгу в том же издательстве, что Пушкин, изменится ли от этого его фамилия? А биография?..

Из постоянных споров с издателем Ситниковым («Да я не о качестве полиграфии, а о том, что автор сам оплачивает работу издателя!») я поняла, что необходим другой, исчерпывающий термин. Правда, ничего лучше «сампечата» не придумала. Но все-таки слово новое, не отягощенное устоявшимися образами.

Детектив за свой счет

Несомненно, что в феномене «сампечата» лидирующую роль играет человек. Мотивация прозрачна.

Все писатели хотят, чтобы их читали. Значит, все писатели хотят издаваться. Но не всех писателей хотят издавать крупные издательства по нормальной схеме — за гонорары. Вот писатели и ищут хоть какой-то возможности выпустить свое, «выстраданное». Раньше для этого требовались пропагандистско-политические игры — например, моей подруге в середине 80-х советовали для более успешного издания книги стихов написать несколько «паровозиков» — о Ленине, о партии, о созидательном труде, на худой конец, о Родине. Она смогла, не кривя душой, породить только стихотворение о «малой родине». Слабый, вероятно, был паровозик. Или время «незаметно сменилось». Только книга у нее до сих пор всего одна. Самостоятельно изданная (почти все она, дизайнер, сделала сама — сверстала, иллюстрировала, вывела на пленки, в типографию лишь за тираж заплатила) в середине 90-х. Практически стопроцентный «самиздат». Правда, стихи хорошие...

Сомневаюсь, что сейчас политические «паровозики» сильно помогут. Хотя головой не поручусь. Тонкий нюанс: практически у каждого, кто сегодня стоит в топе изданий и продаж, были какие-то ноу-хау, подсобившие оказаться на этом престижном месте. Но каковы они, кто ж из широкого круга читателей точно знает? — свечку не держали... Да и речь я веду не о тех авторах, кто в «топе», а кто... не будем переходить на рифмы.

О тех, кто выпускает, плюнув на невыгодность всего предприятия, свои опусы за свой счет, — лишь бы получить шанс дойти до читателя. Вряд ли самиздат оправдывает упования писателей... Если вдуматься, пятьсот экземпляров книги (стандартный тираж «сампечата») — это ничтожно мало... Но больше, чем ничего, и потому, вероятно, поток «сампечата» не иссякает.

Впрочем, об одном ноу-хау из практики некоторых авторов, ставших известными, мне говорили: за свой счет выпустить ограниченное количество экземпляров книги, послать в Книжную палату и прочие хранилища, затем отправить нужное количество экземпляров на престижную литературную премию. Если роман «выиграет», премия окупит затраты, а солидные издательства чуть ли не потребуют передать рукопись им — и всем будет счастье. Схема эта лично мне кажется сомнительной, ибо кто ж поручится, что ты будешь допущен к премиальному пирогу...

В советские времена функции менеджеров и рекламщиков брал на себя (хотя бы отчасти) Союз писателей, организовывавший плановые издания книг членов Союза (кстати, не сказать, чтобы все официально изданные книги заслуживали внимания!). Теперь автору на первых порах, пока он еще не «раскручен», все приходится делать самому — находить издательство, предлагать рукописи, заинтересовывать своей персоной, заключать договор. Либо с помощью литагента — эта фигура, ключевая в литпроцессе на Западе, в России пока еще выглядит диковинкой. Нередки случаи, особенно в провинции, когда авторы и знать не знают, как подступиться к издательскому процессу, как найти координаты крупных издательств, — хотя они не являются закрытой информацией, в интернете лежат свободно. Другое «но» — нет опыта работы «под формат»... Один местный автор позвонил мне как-то: обратился в центральное издательство со своим романом «за жизнь», сразу сказали — не нужен, напишите детектив, тогда возьмем. Как, мол, быть? Я ответила однозначно: хочешь издаться — напиши детектив! Автор гордо сказал что-то вроде: не хочу отрекаться от себя!.. Ой! А есть, от чего отрекаться?.. А ты сможешь написать детектив? Что-то мне подсказывает — не сможешь. Потому и не хочешь. С такими амбициями, перемешанными с малым писательским потенциалом, пожалуй, единственный путь — в «сампечат».

Хотя — и это самое важное — «сампечатная» литература — все-таки не помойка. А в нее норовят свалить все. И то, что здорово написано, да вот «не повезло», и то, что ни в какие ворота не лезет. Мы к этой коллизии вернемся.

Мне порой бывает обидно... нет, не за тех, кто гордо отрекается от попытки поработать с «форматом». Но почему авторы издают за свои средства книги, имеющие шансы на издание и по другой схеме? Только за последнее время, только в Рязани столкнулась с несколькими выразительными примерами.

Во-первых, это две книги Ирины Челикановой, вышедшие в серии «Рязанский детектив» (Рязанский издательский дом, 2010): «Жертвоприношение дракону» и «В аркане свадебного марша». Детективы написаны известной местной журналисткой, специалисткой по криминальной тематике, и вполне, на мой взгляд, укладываются сразу в несколько «действующих» издательских форматов: женский детектив (очень популярен!), эксцентричный детектив, журналистский детектив. Едва ли не в половине современных российских детективов (начиная с Сергея Максимова, известного еще до перестройки) главные герои — журналисты. Профессия обязывает, доступ к секретной информации имеется... Прочитав два томика Ирины Челикановой, я вынесла вердикт: чушь (как и положено эксцентричному детективу), но перспективная! Абсолютно нереальная и здорово сделанная. Ничем не хуже той, что издается огромными тиражами. Лично я эксцентричному детективу предпочитаю интеллектуальный — А. Переса-Реверте, У. Эко, В. Платову. Но дока книготорговли, владелец книжного магазина, говорит: «Вашу Платову никто не берет, потому я ее и закупаю мизерными партиями». Значит, массовый читатель требует от книги зрелищ и феерии. Того и другого в книгах

Челикановой с избытком. Написаны они грамотно: возможно сколько угодно продолжений, сквозная героиня, взбалмошная и смелая журналистка Ирина Лебедева, по законам жанра, не умрет, пока не надоест автору. Соблюдены все неписаные законы развлекательного чтения: легкий слог, обилие приключений, «чернуха» игрушечна, трагедии условны, смерти обойдены по касательной, флирта и красивой жизни много. Прелесть эксцентричной истории не в правдоподобии, а в лихости закрученного сюжета и легкости его течения.

Несколько лет назад в одном из крупнейших издательств России, специализирующихся на детективах, начиналась серия любовно-криминальных романов «Гонки на шпильках», к сотрудничеству в которой приглашали авторов. В этой серии романы И. Челикановой о журналистке Лебедевой смотрелись бы уместнее, чем в «изобретенной» специально под эти романы серии «Рязанский детектив». Я считаю это словосочетание оксюмороном. Географическая привязка к слову «детектив» возможна в двух случаях: как указание на место создания (пример — советская мегасерия «Современный швейцарский детектив», «Современный французский детектив» и т.д.) и когда сюжет детектива «завязан» на особенностях юрисдикции или ментальности какой-то страны (пример — «Чисто английское убийство» С. Хэйра). Так что, наша серия задумана специально для детективов рязанских авторов о Рязани? Но вряд ли здесь сыщется целая плеяда детективщиков... Или дело в особенностях рязанской жизни? Ирина Челиканова обходится без названия города, современные реалии узнаваемы, но типичны, их легко поместить в какой угодно вымышленный город, вроде Тарасова Татьяны Поляковой. Да и чем коррупционеры (с которыми ведет борьбу бесстрашная Ирина Лебедева) в Рязани отличаются от таковых же в Томске?.. И даже в столицах? Без «звучного» бренда «Рязанский детектив» романы Челикановой выиграли бы, став «универсальнее».

Или вот эта новая книга рассказов «Среди людей» («Русское слово», Рязань, 2010). Людмилы Анисаровой. У Людмилы выходили по «правильной» схеме в издательстве «АСТ» три книги любовных повестей, романов и рассказов: «Знакомство по объявлению», «Вы способны улыбнуться незнакомой собаке?», «Ненаписанное, или Страница ниоткуда». Лично я не поклонница любовной прозы, она порой даже отталкивает меня, но это чтение пользуется огромным спросом. Да и автор для солидного издательства не новичок. Лирические рассказы Людмилы Анисаровой в книге «Среди людей» отличаются от тех, «АСТ»-овских, разве что большей философичностью, отступлениями от сугубо любовной темы, при этом вполне профессиональны. Знаю, что сборники рассказов большие издательства берут с неохотой — но это не значит, что не берут совсем. «АСТ» продолжает выпуск серии рассказов, собранных Мартой Кетро; в этом году вышла книга рассказов Вячеслава Харченко «Соломон, колдун, охранник Свинухов, молоко, баба Лена и др.» («Рипол-Классик», 2011) — там вообще «коротышки», зато прелестные; фантаст Леонид Каганов сделал себе имя на одних (!) рассказах...

Издание стихов — куда более щекотливая тема, лейтмотивом звучит: мол, стихи никому не нужны!.. Не только из уст провинциальных поэтов, но и от признанных мастеров. Между тем обильно издаются томики стихов известных русских и зарубежных поэтов. И не только классики, но и современники. Существуют издательства, специализирующиеся на поэзии, которые могут выпустить стихи без вложения авторских средств, — например, московская «Воймега», питерский «Геликон-Плюс», давший путевку в жизнь не одному ныне знаменитому поэту, или таганрогский «Нюанс», издающий в некоммерческой ознакомительной серии «32 полосы» писателей и поэтов юга России. Наверняка есть и другие «стихотворные» издательства. Другое дело, что их усилий не хватит на издание книг всех желающих... Когда предложение превышает спрос, в действие вступает строгий закон редакторского отбора: за счет издательств печатаются только безусловно хорошие рукописи, а не «условно годные». Переплетаются экономические законы рынка и нематериальное по-

нятие «качества текста». Возможно, жесткий отбор противоречит понятиям «свойства», «землячества» и пр., безусловно, он не комплиментарен — зато идет на пользу литературе в целом. Ведь основной бич чуть ли не девяноста процентов «сампечатных» поэтических сборников сегодня — непрофессионализм их авторов, несовершенство стихоподобных текстов.

Я, кстати, не думаю, что кощунственно сопоставлять издание детективов с изданием стихов. Нет «непотребных» жанров, но в каждом жанре существуют свои провалы и взлеты — и блестящий детектив не ниже блестящего социального романа. А если еще вспомнить, что Набоков называл творчество Достоевского «полицейскими романами», то понятно, что граница меж «высоким» и «низким» весьма размыта и мобильна. Если издательство продуцирует, вкладывая огромные средства, серию детективов, это не всегда подрыв культуры. Если у писателя не берут шеститомный автобиографический роман, это не всегда заговор против культуры. Вполне вероятно, это просто плохой роман.

«Братва, по рублю!»

Самое уязвимое место «сампечата» — качество. После того как в рязанском издательстве «Узорочье» вышла книга некоего Д. Фокина «Приключения на золотых приисках Чукотки», состоящая из романа и стихов, причем роман представлял собой грубо слепленные цитаты из приключенческих романов Майн Рида, Г. Эмара и Л. Буссенара, а стихи — прямые построфные заимствования у С. Есенина, Б. Пастернака и рязанского классика Анатолия Сенина, а я писала об этом полиграфическом нонсенсе, мне долгое время хотелось мыть руки, подержав «сампечат». Директор издательства никакой вины за собой не чувствовал и говорил, что вся ответственность лежит на редакторе книги... который по совместительству являлся автором.

Но здесь невозможны обобщения и «спецификации». По разным причинам в этом поле оказываются конкурентоспособные книги и произведения «третий сорт — не брак». Но меня всерьез тревожит психологическая подоплека, которая лежит в основе «сампечата», — даже если он не такой невзрачный, как у Д. Фокина.

С тех пор как «сампечат» стал нормой, вступить в писательский союз куда проще, чем раньше. Тем более что и писательских союзов стало гораздо больше. Но у всех примерно одинаковые требования к кандидату в члены: предъявить книги! В большинстве случаев — две! Подумаешь, задача!.. Были бы деньги (или покладистый спонсор), можно наштамповать собрание сочинений в тридцати трех томах за год. Издатели крайне редко заморачиваются содержанием и качеством книги. Грозная тень директора издательства «Узорочье», не сумевшего (или не захотевшего?) рассмотреть в публикуемой «сампечатной» книге «купюры» из классиков приключенческого жанра, отославшего этот сгусток абсурда в Книжную палату, витает надо мной и множится — и я понимаю, что на просторах России он не одинок. Не одиноки и те, кому тяжко признаться себе, что они не профессионалы слова! Кто предпочитает обманывать себя и пытаться обманывать других, опубликовавшись за свои деньги в авторской редакции. Ведь наличие книги у автора по инерции, по памяти прошлых времен, когда, как верила читающая публика, «абы кого» не печатали, считается признанием его «писчих» заслуг.

Еще один распространенный вид «сампечата» сегодня — альманахи, сборники, литературные журналы, изданные на совокупные вложения авторов. Это незаметно вошло в «плотную» привычку. Не могу перечислить всех изданий, которые меня приглашали «примкнуть», — «Страна «Озарение», антология современной поэзии в составлении Владимира Тугова, сборники миниатюр под общим грифом «Белая скрижаль»... Но меня это не прельщает. Я давно выступаю против публикации за свой счет. Подаю пример — если он кому-то нужен — с 2007 года не печатаюсь ни в каком проекте, где надо хотя бы книги выкупать. Правда, разовые отказы не смущают издателей — найдется гораздо

больше тех, кто готов заплатить и увидеть свои труды опубликованными. Особенно если в том же альманахе в первых рядах засветился кто-либо из живых классиков, а потом уже идут неизвестные имяреки. По принципу «Братва, по рублю!» строится львиная доля альманахов. Особенно вновь возникших.

Поэт Виктор Крючков (Рязань), скажем, гордился участием в альманахе «Эолова арфа», 2008 г. (Москва), хотя оно обошлось ему недешево, — ибо сборник открывался подборкой Андрея Вознесенского (Царство ему небесное!). Крючков заплатил фактически за право печататься рядом с Вознесенским, но заплатил ли Вознесенский за благо печататься рядом с Крючковым? Рязанскому автору не пришло в голову спросить издателей, на каких условиях состоялось участие Андрея Андреевича. Впрочем, не исключено, что ему бы не ответили, — это ноу-хау издающей команды... Но звучные имена действуют магически, многие хотят пристроиться в арьергард.

Что за престиж в этом? Какая неведомая сила вопрошает сампечатников: «Ты памятник воздвиг себе нерукотворный?..».

«Мы за ценой не постоим!»

Моя знакомая Светлана Малышева (с известной детективщицей просто однофамилица!) издает журнал «Три желания» — проза, поэзия и публицистика. Этому альманаху в июле 2011 года исполнилось три года. Сама издатель живет в Рязани, но присылают ей тексты даже из Австралии! По сегодняшним меркам ее «страницы» стоят не очень дорого. В схему оплаты включен выкуп готовых книжек. Книги, по словам составителя, сегодня получают и в Архангельске, и в Новороссийске, и даже в Сиднее. Налицо «перекрестное опыление»: заодно с собой авторы читают и соседа по странице. Лучше, чем замкнутость в своем тесном кругу...

Светлана, замечательный прозаик малой формы, выпускница Литинститута и обладатель премии «Золотое перо Руси», имеет художественный вкус, позволяющий отбирать из присланного — лучшее. Мы говорили со Светланой о том, что движет издателем (кроме того, что это фактически кормящая профессия). У Светланы есть несколько железных аргументов в пользу такой издательской политики — люди часто пишут рассказы; людям трудно публиковать рассказы, тем более — выпускать книги рассказов; читатели тоже интересуются малой прозой, но издателям-гигантам их интерес «параллелен», и шанс на издание книги рассказов имеют авторы с популярностью Б. Акунина, Д. Рубиной, Л. Улицкой... Поэтому Светлана выпускает свой журнал в интересах таких же, как она сама, авторов рассказов. И отмечает, что самой ей не стыдно печататься в своем же альманахе. Светлана ведет работу профессионально: отсеивает то, что ниже плинтуса, строго редактирует. Так что у нее не бывает историй вроде той, которая произошла с одним «сампечатным» альманахом. Его составитель зазывал Сергея Лукьяненко, то ли не разобравшись, кому на сайт пишет, то ли не зная, кто это такой. А тот — наверное, «на отвяжись» — прислал коротенький рассказ Виталия Бианки, а его опубликовали... был насмешливый скандальчик... Поэтому Светлана Малышева текст обязательно мониторит через разные поисковые системы и ищет в сети сведения о своих респондентах. Чтобы не попасть впросак, не сделать свое детище объектом насмешек, не дискредитировать себя как издателя. В общем, составитель журнала борется за его солидность. А также устраивает конкурсы — на право бесплатной бонусной публикации, награждая ею лучших прозаиков. Год назад «вознаградила» талантливых авторов отдельной книгой малой прозы («Три желания. Избранное. http://magazines.russ.ru/ra/2010/8/sa37.html).

По итогам сотрудничества со Светланой и альманахом «Три желания» я сделала вывод о «типовой» ментальности «сампечатовцев». Не буду обобщать, но характер с подобной мотивацией к «сампечату» закономерен, как мороз на Крещение. Сдается мне, что авторы к публикации в альманахах такого рода подходят, как к визиту в парикмахерскую: «Сделайте нам красиво! Имеем право

за наши деньги!» Особенно «парикмахерский» подход проявляется на стадии критического разбора произведений. Несмотря на то, что я всегда стараюсь быть максимально любезной и никогда не перехожу на личности, не задеваю писателя, критикуя его текст (да еще издатель «шлифует» иные спорные места, выкидывая то, что может, по ее опасению, «уколоть»), рецензия с выявлением недостатков часто вызывает у авторов реакцию «в штыки». Позу обиженного и непонятого злобным критиком. Либо желание «переспорить» критика, доказать ему, что он не прав. Либо желание доказать ничтожность самого оппонента. Боюсь, это свидетельствует, что такие авторы, соглашаясь на рецензию, ждут не профессионального разбора, а заведомого восхищения своим творчеством.

Похоже, платное издание настраивает участников его на совершенно рыночный лад: за свои кровные участник хочет быть причисленным к лику русских поэтов. Он не задумывается об уровне своего таланта и профессионализма; он пошел по самому легкому пути — «покупает» себе право зваться поэтом. То есть он думает, что купил это право. И звереет, когда ему говорят, что одного «договора купли-продажи» мало. Это касается как публикаций в складчину, так и «сампечатных» книг. «Сампечатники», даже когда просят о редактуре своих творений, чаще всего хотят, чтобы редактор совершил невозможное: сохранил все их благоглупости нетронутыми, придав им облагороженный вид. Аргумент тот же, что и у автора, не пожелавшего писать детектив: «Если так меня редактировать, ничего от меня не останется!» Иногда процесс редактирования прерывается по желанию авторов: «Это не я! Я так не писал(а)!».

Итак, типичный «сампечатник» почему-то не считает, что в литературе есть свой профессионализм. Наверное, это отголосок известного мифа, что в литературе и медицине все разбираются. Авторы, которые публикуются за деньги, должно быть, все профессионалы в своем основном ремесле — от сантехников до экономистов, и, должно быть, законно рассердятся, если я вторгнусь в их сферу деятельности с дилетантскими советами. Но в литературу с дилетантскими опусами они считают нужным входить, как в собственный офис (или цех). «Мы за ценой не постоим!» — но только до предела, когда зайдет речь о квалификации литературного труда.

Кого гипнотизирует клич «Братва, по рублю!»? Почему гипнотизирует? Что это — неверие в свои силы? Или неверие в возможность прославиться в литературе «честным» путем? Чего не хватает «сампечатникам» — медалек или здравой самооценки?

Во-первых, какой практический в этом смысл? В конце концов, что решает в современной жизни литературное имя? Какая от него ощутимая польза? Немногие «покупаемые» писатели и то не на одни гонорары живут. А тут человек не получает от литературы, а тратит на нее — в честь чего? Кому и что доказывая? Товарищам можно просто заявить, что ты писатель. Предъявить «четыре копии» — или одну электронную версию, — этого достаточно!

Во-вторых, куда заведут такие «игры»? Ведь игра — это, утверждают психоаналитики, прообраз жизни. И как бы истолковал психоаналитик то, что «сампечатники» предпочитают игры в литературную активность и достижение популярности? Если хочется состояться конкретно в литературе, может, обратить все силы на штурм «настоящих» издательств? Между прочим, эта практика проникает и в другие жанры искусства — прочитала в «Огоньке», что на новый «Кинотавр» привозят все больше фильмов, снятых без помощи государства. Так и называется статья: «Кино за свои» (http://www.kommersant.ru/doc/1650620). Тут имеются в виду, видимо, инвестиции бизнеса, а не собственные сбережения — кино не книга, денег сожрет кучу! Хотя... чем черт не шутит... главное — начать... создать прецедент... а дальше — и до кино на свои недалеко... Мало ли в нашей стране богатых самолюбивых людей, желающих состояться в искусстве, но не сверять свой вкус со вкусом окружающих и «навигаторов»?

А может, всем «сампечатникам» хочется не этого? Тогда чего? И зачем?

Не то беда...

Постоянный «консультант» моих публицистических работ Сергей Зубарев — психоаналитик, публицист, автор нескольких книг по психологии — ответил, урезонивая меня: «Что может быть естественнее для человека желания увидеть свое произведение в конечном, оформленном виде? ...Сакральный образ матери, которая... любуется только что рожденным ею ребенком. О каком несовершенстве его она захочет сейчас слышать? Так и здесь: автор честен, поскольку издает свое творение за свой счет. Те, которых не печатают издательства, — заведомо плохи? Охотно поверю, что в самиздатовском потоке очень мало высококачественных произведений. Но разве в советском (позднесоветском) литературном потоке соотношение было иное? За чей счет издаваться можно (если не за свой)? Попасть в идеологию или попасть в бизнес. Маленькие тиражи не могут быть бизнесом при любом качестве текста. Тираж в 1000–2000 экз. оптимален в соотношении количества-цены-удобства-реализации... Тиражи в 100–500 экземпляров дают очень высокую себестоимость экземпляра.

Впрочем, о стотысячных тиражах за свой счет я ни разу не слышал. Но осмысленный бизнес начинается именно с этих порядков. На тысячных тиражах самой ходовой книги бизнес невозможен».

Далее, оперируя цифрами, которые постиг на собственном опыте книгоиздания, Сергей Зубарев логически пришел к выводу, что «сампечатник» должен быть честен с собой и ясно оценивать свои перспективы (как и желания): «...“самиздатовские” авторы, просто “фиксирующие” результат своего труда в материальной вещи, поступают, на мой взгляд, естественно и честно. А вот если они попадают в ловушку фантазии о быстром обогащении — тогда беда. Им самим. Но чем плохо отдавать все силы на штурм издателей? Издатели могут говорить очень неприятные для авторов вещи. Бывает, что издатели несут невежественный вздор, хамят не по делу, учат жизни, но иногда высказывают дельные профессиональные замечания, к которым стоит прислушиваться. Многие “самиздатчики”, увы, слишком ранимы для этого. Не готовы они к столкновению с родительскими фигурами, поэтому предпочитают их обойти. Но бывает, что такой обход — разумный компромисс, если автор не планирует себе карьеру бизнес-писателя. Но если планирует — самообман».

Самообман «сампечата» — игра в «крупных писателей». Наверное, это игра, по сути, в самореализацию? Мне не совсем ясно, насколько оправдывается такая самореализация, приносит ли удовлетворение играющим в нее. Я дифференцирую «сампечатные» проекты по признаку «пользы людям». Готова приветствовать проекты, пусть выстроенные по типу «сампечата», но несущие выгоду широкому кругу. Например, Захар Прилепин во время своего визита в Рязань (май 2011 г.) похвалился в интервью рязанской «Новой газете»: «В Нижнем Новгороде отличная поэтическая «движуха», по-настоящему серьезная и очень презентабельная. Я буквально неделю назад частично на свои деньги, частично на деньги еще одного человека издал антологию нижегородской поэзии — отличное издание, 600 страниц, там 51 поэт». Не во грех и похвастаться добрым делом... Интервьюирующий Прилепина журналист и культуртрегер Анатолий Обыденкин в ответ пообещал в комментариях к этому интервью в своем ЖЖ, что сделает аналогичную рязанскую антологию — в пику официальному изводу рязанской литературы, альманаху «Литературная Рязань».

Другой пример «полезного сампечата» продемонстрировал музеевед, кандидат педагогических наук Иосиф Будылин, бывший работник Пушкинского музея-заповедника (заведующий музеем-усадьбой Тригорское в 1995—2000 гг.), автор ряда книг о Пушкине и его родине. Он подарил мне свою книгу «Пушкинский заповедник. Музей и жизнь» (М: Профиздат, 2009 г.). Книга охватывает историю и современность Михайловского, анализирует публицистические и художественные произведения о музее, касается

проблемы его возможной коммерциализации и адресована широкому кругу читателей. В интересах читателей и поклонников музея Иосиф Теодорович и выпустил «Пушкинский заповедник...», по его собственному признанию, влезши в долги.

Остро чувствуется разница: издает ли человек «себя, любимого», — или «других, любимых», — или трудится ради просвещения общества.

Когда меня спрашивают, с каким «самиздатным» литературным альманахом можно сотрудничать, чтобы это было пусть за плату, но авторитетно и хорошего уровня, — я отвечаю: одинаково несолидно печататься везде, где ставится вопрос об оплате публикации. И в профессиональных литературных кругах вряд ли оценится такой «демарш» со стороны начинающего. Издать себя самому — зачастую расписаться в своей невостребованности. Выбирать между площадками «сампечата» — все равно что выбирать способы творческого самоубийства. И слова «Ты памятник воздвиг себе?..» на меня повевают «надгробным» смыслом...

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ СОВПИСА

Всеволод Бенигсен. ВИТЧ. — М., «АСТ», «Астрель», 2011.

Лет двадцать назад Виктор Ерофеев провозгласил конец советской литературы. Прогрессивная общественность бурно аплодировала. Немного погодя выяснилось, что овации, мягко говоря, были преждевременны. История отечественной словесности, как и русская история вообще, циклична, — и толковать о «началах» и «концах» здесь по меньшей мере наивно. Более того, «конец» и «начало» — в русском языке слова этимологически родственные. При желании можно увидеть здесь высший промысел.

Попробую все-таки объясниться без мистики, терминами непопулярного истмата. Закон соответствия базиса и надстройки осмеян и благополучно забыт, — и совершенно напрасно. Ибо в культуре нашей происходит ровным счетом то же, что и в экономике: жестокая, на износ, эксплуатация советского наследия. Желаете убедиться? — включите телевизор и посмотрите старые сказки на новый лад: «Служебный роман» в офисных интерьерах или «Розыгрыш» под аккомпанемент хип-хопа. Если речь о литературе, — настоятельно рекомендую Бенигсена.

Всеволод Бенигсен, прозаик дарований весьма скромных, отчего-то слывет виртуозом социального гротеска и мастером придумывать анекдоты. По поводу первого титула промолчу: дело вкуса. По поводу второго скажу, что наш герой ничего-то не придумывает, все больше пересказывает. Персонажи Хармса то и дело спотыкались: тьфу, черт, — об Пушкина! тьфу, черт, — об Гоголя! В.Б. всякий раз прилежно спотыкается о советскую литературу. «ГенАцид» отдавал «Центрально-Ермолаевской войной» Пьецуха. «Пзхфчщ!» был вариацией на тему тыняновского «Киже». А злоключения шахида в «Террористах» в точности воспроизводили обломы шпиона Джеймса Монда из пародийной повести Едина и Кашаева «Крах агента 008». Украшениями пастишам служат чугунные, a la Войнович, смешарики. Оттого читать Бенигсена можно лишь при избытке времени и терпения. В том числе и «ВИТЧ».

Но время и читательское терпение теперь дефицит, потому придется пересказать сюжет. В 1979 году Лубянка превратила закрытый город Привольск-218 в санаторий для диссидентов: неполный рабочий день, отдельные квартиры, отменное снабжение. И начальник лучше некуда: умный и терпимый майор КГБ, хоть и слуга ЦК, но отец солда... пардон, ссыльным поселенцам. Плюс полная свобода творчества. Неблагодарная пастернакипь, однако, творчеством пренебрегла и впала в полное совковое ничтожество. Сперва вольнодумцы передрались из-за квартир. После писали друг на друга анонимки и, показного героизма ради, фоткались в лагерных бушлатах. А кончили тем, что и впрямь навели в Привольске лагерные порядки. Журналист, расследуя эту историю 30 лет спустя, выяснил, что всему причиной ВИТЧ, вирус иммунодефицита талантливого человека: «ВИТЧ — это серость... Есть краснуха, есть желтуха. А это... серуха, что ли».

В СССР, если помните, качество текстов считалось второстепенным, главным критерием оценки служила идейность: наш — не наш. Подозреваю, что свои регалии Бенигсен стяжал именно так. В «ГенАциде» г-н сочинитель живописал неисцелимое русское невежество, в «Раяде» — врожденное русское



черносотенство. За что и был обласкан журналом «Знамя». Теперь, надо думать, паренька приголубит газета «Завтра».

(Замечу в скобках: ментальные виражи нашего героя вовсе не удивляют, — тоже, между прочим, дань традиции. Всяк уважающий себя совпис был и жнец, и швец, и всех армий боец. Лауреат Сталинской премии Рыбаков кончил «Детьми Арбата», а политэмигрант Зиновьев — «Русской трагедией». Бенигсен всего лишь принял эстафету идейной всеядности; не им оно начато, не им и кончится.)

Ну да Бог с ней, с идеологией, — не знаю, как вам, а мне она глубоко по барабану. Книги, по верному слову Уайльда, делятся на хорошие и плохие, не более того. В малой прозе своей Бенигсен ни хорош, ни плох, — вылитый ангел Лаодикийской церкви. Но как только дело доходит до романа, автор выдает откровенный брак. «ВИТЧ» — не исключение.

Возможно, все дело в том, что объем здесь непропорционален жанру. Анекдот тем и хорош, что краток. А станете вы слушать анекдот длиною в 76 851 слово? То-то же...

Может быть, корень зла в том, что житейскими реалиями Бенигсен пренебрегает, предпочитая (опять же по-советски!) растиражированные прессой мифы: прежде — либеральный, сейчас — национал-патриотический. А публицистика — право слово, не лучший исходный материал для изящной словесности.

А может, впору еще раз помянуть экономику: износ оборудования прямо пропорционален фондоотдаче. Популярный прием социального гротеска до того изношен, что разваливается на глазах. У Хармса это был шедевр. У Искандера или Алешковского — труба пониже и дым пожиже. Войнович верхом на «Чонкине» въехал в такую гомерическую пошлость, что стало ясно: «кризис жанра» — определение чересчур мягкое. Но для Бенигсена чужого опыта, похоже, не существует. Результат налицо: «Максим опустил эпизод с поэтом Кукориным, который, напившись, влез в дискуссию о силлаботоническом стихосложении Пушкина и стал кричать, что класть он хотел на Пушкина. Обидевшись, что его никто не слушает, он, шатаясь, ушел куда-то, а через пять минут вернулся с томиком Пушкина, который швырнул на стол, а затем расстегнул ширинку и, достав под смущенный визг дам свой детородный орган, действительно и буквально положил его на Пушкина».

А может статься, всему виной удручающая вторичность. В.Б. избытком оригинальности никогда не страдал, а в последнем опусе споткнулся о весь Союз советских писателей разом. Лагерь с санаторно-курортными условиями содержания — тьфу, черт, об Погодина! Душка-чекист — тьфу, черт, об Семенова! Перерождение диссидентствующих кроликов в гэбэшных удавов — тьфу, черт, об Искандера! Серость как лейтмотив — тьфу, черт, об Стругацких!..

Добавьте дистиллированный, без особых примет, язык с преобладанием пудовых сложноподчиненных конструкций, — в итоге получим скверную и безбожно затянутую, с претензией на актуальность, юмористику вполне советской выделки. Серуха, как и было сказано...

Мы уже выяснили, что начало и конец — понятия родственные. Потому напоследок еще раз процитирую Ерофеева: у нас есть писатели, но нет литературы. Отчего же нет? — очень даже есть. Советская, которая оказалась живее всех живых. Таковой, видимо, и пребудет.

Александр КУЗЬМЕНКОВ

Кровяной Неты́чет

Ему за семьдесят. Он рыболов. Или рыбак, как он сам себя называет. Тщедушный, сморщенный, уроженец жемчужины Евразии города какого-то-по-счету-Уральска, места серого и пыльного даже в дождь и в снегопад. Он ловко насаживает на крючок щипок хлебного мякиша, именно так — щипок, щипочек, а не катыш, как это делают все, — забрасывает удочку и сидит-сидит-сидит, говоря вслух сам с собой. Говорит всегда одно и то же (как «пластинки» Ахматовой, но там были истории-анекдоты-притчи, а здесь — нудно однообразный монолог изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту): вчера, мол, вытащил двух лещей на 2 и 1,5 килограмма; дома чищу — кровяной! Лещ-то кровяной. Ох, кровяной... А нынче щё-то вообще никак, даже чебак не тычет. Не тычет и все тут. Не тычет. Лещ-то кровяной, а чебак не тычет. Кровяной. Кровяной. Кровяной. Не тычет. Не тычет. Не тычет. И так без конца (мостки наши почти рядом — между нами метров 15, — и я начинаю сходить с ума, словно этот старичок — старибашечка серенький, мордочка с кулачок, — потихоньку подрезает мой язык, отщипывает от него по кусочку, загоняя весь мой задушенный его стоном и искромсанный язык в дикое словосочетание «кровяной нетычет»). А он то декламирует во весь, как Маяковский, голос, то стонет, как Надсон, то бормочет, как Вениамин Блаженный: Кровяной Нетычет. Кровяной Нетычет. Кровяной Нетычет.

Не знаю, почему я его до сих пор не утопил в чистых и холодных водах Демидовского пруда. Как-то привык, что ли?.. Или почувствовал в нем наличие зловещего архетипа современного пользователя Всего На Свете. Вот откуда ноги растут! — осенило меня. Вот откуда эти проплаченные (родителями) и проплаканные (наукой и сознанием) студенты, молодые люди, офисные миллионояйцевые близнецы (а может быть, миллиардонояйцевые?!), эти странные хорошо одетые горожане с пустыми и весело-злыми глазами, в сущности бездельники, производящие на свет Божий бумажки с буквами и цифрами. Производятся, изготовляются только они и деньги, но не вещи, не предметы (вещи делают японцы, китайцы, корейцы, а остальные 4,5 миллиарда Кровяных Нетычетов все это перепродают, покупают, перекупают, выкупают, откупают etc.).

Кровяной Нетычет живет в хибарке, бывшей баньке, обшитой деревянным дрязгом. Все у него серое, пыльное (как Некоторый-Уральск), страшно ветхое и ненужное. Летом он обитает здесь, а зимой прозябает в городской квартирке, мечтая о летних кровяных нетычетах.

Так бы и жили все, кабы однажды... Onse Upon A Time некто, шагнувший чуть дальше в своем развитии Кровяного Нетычета, не изобрел бы кнопку. И все сразу научились ее нажимать: Enter. И вся бездельничающая планета сразу же занялась делом...

Так мой Кровяной Нетычет (в сельско-поселковом своем воплощении) породил городского (и иного) Кнопкотычета. Таким образом, Кнопкотычет есть сын, кровинушка, наследничек Кровяного Нетычета. Ох-х-х...

А в городе все сложилось к этому времени так, как надо: экономика (производство) превратилась в деньгономику, идеология — в деньго-о!-логию, а семантика, смысл (всего на свете) — в информацию.

Несколько слов о законе исчезновения информации
(пролегомены к Закону Гибели Информации)

Сначала (обычно) происходит исчезновение семантики (смыслов, лексических значений, полисемии / многозначности, синонимии и т. д.). Семантика — это результат познания предмета (любого): ты его (предмет) воспринимаешь, он закрепляется в правом полушарии головного мозга в виде голограммы, схемы, символа, вообще изображения, — потом в левом полушарии возникает понятие, то есть описание образа предмета, — а затем уже и наконец возникает слово-называтель сего предмета. Господа! Дамы! Коллеги! Товарищи! Друзья! Я утверждаю, что современный молодой человек, продукт посткнижной культуры, обладает огромным словарным запасом (от 10 до 60 тыс. слов — больше Шекспира и Пушкина!), но лексикон этот представляет собой некую сферу (ядро 100–200 слов общеупотребительных), в которой одна половина лексического наполнения (то есть слова) колышется в сознании, как пенопласт на воде: значение этих слов носителю языка неизвестно, а другая половина кишит (броуновское движение) жаргонизмами, вульгаризмами, сленгом и иными единицами в недоязыковом состоянии (то бишь или форма слова искажена, или значение прикрепляется к слову не то, чужое). Семантика помирает. И тут — хоп! — кнопка. Интернет. И добровольный дебил пользуется информацией. Информацией, которой уже почти нет. Информацией, которая умирает, вытесняемая фактологией.

Интернет — замечательно простое и удобное средство связи. И Интернет — хранилище Бог знает чего. Объясняюсь. Предположим, в процессе познания человек (человечество) за все время своего существования сформировал (сформировало) в своем сознании (языковом, эмпирическом, духовном etc) определенное (неопределенное) количество смыслов, значений, сем (сема — квант значения слова / его семантики); пусть их будет 10 млн + n ($1 + n \rightarrow \infty$?), и больше этого количества смыслов в данный момент в данном месте (в вечности-бесконечности) быть не может. Не мо-жет! Если загрузить этими смыслами Интернет, то он окажется просто-напросто пуст: в нем будет функционировать несколько сайтов научно-художественно-познавательного содержания. Но ведь Интернет перенаполнен! И он — безразмерен! (?). Значит, все остальное — мусор. Мусор, называемый информацией. СМИ, индивидуальные СМИ (ЖЖ, блоги, твиттеры, контакты, все социальные сети etc) наполняют интернет-лакуны (пусто́ты) «фактами», выдавая их за события. Пример: во Владивостоке Газпром погасил «пламя Вечного огня», которое горело на территории мемориального комплекса, за неуплату (87 тыс. руб.). Этот факт транслировался по всем телеканалам как нечто данное, объективно неизбежное и т. д. Факт, фиксируемый где-либо, когда-либо и кем-либо без отношения, без оценки, без контекста, без статистики, без какого-либо нравственного наполнения, — сей факт есть недоинформация, или убитая информация (не говорю уж о рекламе, промо, анонсах и бесконечных порноиллюстрациях, выныривающих в мониторную рамку Бог весть откуда). Убитую информацию, лишенную событийности, статистики, контекста, оценки и полнокровной модальности (множественного отношения говорящего к предмету говорения), начинают реанимировать графически, видеорядом и заголовками. Заголовок сегодня (в информационных полях) — это изуродованный фразеологизм, идиома, пословица и т. п. Например: «Спикер с горы» (ну, ясно, что спикер здесь соотносится с половым органом) — это «МК», «Плач Ярославля» (из «Слова о полку Игореве») — там же; «Народ к возврату готов» (о желании В.В. Путина вновь пойти в президенты) — там же; «Слово о голе Игореве» (о сотом голе футболиста Игоря Семшова) — «Россия-2»; «Флаг в руки» (передача флага Универсиады из Шенженя в Казань: «и барабан на шею», и — так сказать — пошел ты с этим флагом и с этим барабаном сами знаете куда) — ТВ-1. Что это? Языковая игра идиотов? В палате № 6? В бараке Гаринской колонии усиленного режима? Нет. Это — глумление над языком, — русским языком. Невежественный посткнижнокультурный журналист прика-

лывает и прикалывается. Прямо говоря, убивает себя, свое языковое сознание, память и совесть.

В отличие от животного, в человеческом сообществе, раз-обществе, недообществе появилось мертвотное. Тупое, хитрое, алчное — оно и не подозревает, что живет. Мир для него существует только в визуальном воплощении. Правое полушарие мозга мертвотного перенабито картинками. Левое — абсолютно пусто. Или почти. Мертвотные — мутанты. Они не способны высидеть лекцию. Они не воспринимают звучащую речь и требуют сопровождать ее видеорядом. Они не знают слов. У них другой и другие языки: язык тела, желудка, жесты, ритмизованные наборы ключевых жаргонизмов и т. д. и т. п. (25% населения России сидит на игле, на «колесах», на «дорожках», на траве, а в СМИ почему-то об этом молчат; почему? — ответ ясен: наркомафия существует и контролирует СМИ [вспомним недавние телеинвективы, направленные против Е. В. Ройзмана — бескорыстного борца с наркоторговцами]).

Информацию нельзя «взять» без участия в процессе познания. Потребители фактологии (желтой, жареной, жирной) духовно мертвы: они как мертвотные живут глазами, нервами, биологигигией и анатомимимией. Ф. Ницше поспешил перевернуть песочные часы отчаяния: умер не Бог — умер человек. (Можно, конечно, войти в дискуссию: сначала — Бог, потом — человек; думаю, что это не так просто: появление мертвотного — это процесс долгий, многотысячелетний.)

В моей деревне произошел такой случай (я не был его свидетелем — слышал рассказы очевидцев): автомобиль зацепил игравшего на дороге котенка. Рыжего с белыми пятнами. Подростка. Месяцев трех от роду. Он лежал на обочине, живой, но в шоке (видимо, болевом). Кое-кто двинулся к нему, чтобы как-то помочь. Но тут из своей баньки выполз Кровяной Нетычет (кошка была его, а значит — и котята), подошел к рыжему бедолаге, наступил на него резиновым рыбацким сапогом и отрубил ему топором голову. Побросал останки в мешок и скрылся на своем огороде. Все. Слова кончились...

Виртуальное и реальное. Фактология и информация. Информация и семантика / смысл. Кнопка и топор. Оливер Кромвель и Кровяной Нетычет... Русское горе от ума восполняется горем от совести и чести. На гуманитариев, художников и интеллектуалов в нашей стране стали посматривать как на безумных. Однажды, лет 7 назад, меня вызвали в мэрию, чтоб оштрафовать Союз писателей (и — писателей) за невыход литераторов на субботник (все тогда в Сером доме были увлечены строительством небоскребов, а мэр журил горожан за то, что мусорят где попало, и дружески называл их свиньями). Глава административной комиссии спросил меня, чем мы там, в географическом прайм-месте, на Пушкина 12, занимаемся? Пишем книги, ответил я. Какие книги?! — возопил чиновник и твердо указал: делом нужно заниматься. Делом!

Нет слов. Нет. Поэтому закончу свою эпистолу стихотворением Вениамина Блаженного, прожившего страшную и счастливую жизнь поэта и умершего от любви к умирающему миру.

Опять пронзительный котенок
Напоминает мне о том,
Что был он взбалмошный ребенок
И бил Господь его кнутом.

Опять я выброшен из детства
В какой-то дикий полумрак,
Где по приказу самодержца
Не стало кошек и собак.

Опять мне жалуется мама,
Что ночью бьет ее озноб,
И что летит куда-то яма,
И что летит куда-то гроб.

...Но что-то знаю я такое,
Что мне не стыдно на миру
Стоять с протянутой рукою
И вопиять, что я умру.

Умру я свято, бестолково,
Но воскрешу себя сперва —
И загорятся в нимбе Слова
Мои безумные слова...

Идет дождь. Октябрь. Холод собачий. Кошачий. Человечий. Сижу на своих мостках с удочками, жду леща. Сижу и думаю: Земля наша, планета, внутри устроена как небо... На небе под небом живем — и в небо ложимся.

Юрий КАЗАРИН

Шестой и Летающие собаки
(обзор последней премии им. Розанова и 6-го номера журнала «Октябрь»)

Какие в этом году слова, чтобы культурно похвалить за стихи? Слова, чтобы сегодня культурно похвалить за стихи, — это «глубина», «горечь» и «ирония». Марианская впадина глубока, следовательно, она — поэтична или лирична. Водка — горька, следовательно, — экзистенциальна и тоже поэтична. Что говорит мне словосочетание «Трагическая ирония»?.. Трагическое — это когда меня колбасит, а ирония — когда мы с поцанами кого-то колбасим, желательно ногами. А трагическая ирония — это как в анекдоте: «А нас-то за что?..» Когда в 100500 раз читаешь про «метафизический план» и «экзистенциальный план», хочется пошутить у товарищей: курили они сами этот план и какой из этих планов сильнее вставляет?..

Екатерина Качалина обнаружила у Варвары Бабицкой даже такой редкий вид иронии, как «нераздражающую иронию». Спрашивается, кому нужна ирония, которая никого не раздражает?.. Тут же «нераздражающая ирония» переходит у Бабицкой в, «простите за штамп, уничижительный сарказм». Давно заметил варварскую путаницу понятий. Иронией у нас сарказм зовется повсеместно, а ирония зовется стебом. Хорошая, годная ирония — это когда, например, Анна Орлицкая о книге «Сказки не про людей» Андрея Степанова пишет: «Это остроумная, увлекательная проза, наполненная скрытыми цитатами и ироничным отношением к окружающей действительности». Вот тут да, ирония, потому что непонятно, серьезно она это пишет или издевается. Бьюсь об заклад, что она сама не в курсе.

(Да, разве сложно заменить дурацкое «многажды» на «много раз» или, точно сказать, сколько именно раз?..)

> — Эй, Порфирий,— кричал Ноздрев,— принеси-ка щенка!
> — Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову. — Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева...
> Чичиков, впрочем, отроду не видал ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

Рецензии написаны сложноподчиненными и сложносочиненными распространенными предложениями с эпитетами. Все они написаны словами. Слова состоят из букв. Буквы обозначают звуки. Звуки в свою очередь... (тому следуют пункты).

Аркадий Штыпель пишет о стихотворении Ф. Сваровского: «Это необычное образное словосочетание, катахреза — «толстые ее движения» с зиянием гласных ыеее». Катахреза — это всегда хорошо (Петр Казарновский даже придумал новое слово — КАТАХРЕЗНОСТЬ, в переводе на простой русский —

«нецелевое использование выразительных средств»), а вот зияния там нет — «толстыйэ йэйо движенийа», пишу для ясности по-олбански (я вообще-то редко пишу по-олбански, люди вкурсе). «Й» — это пока еще согласный, да?.. Еще раз, да?.. В слове «поэт» есть зияние, а в слове «поет» нет, хотя я сомневаюсь, что зияние есть даже в слове «поэт», скорее дифтонг (паэт) или смычка (паjэт). Ну, как бы это объяснить, бл, зияние не свойственно русскому, бл, языку нах, да.

Также нет зияния в слове «Иосиф» в стихотворении Льва Лосева, которое разбирает Алексей Конаков. Нет там ни зияния, ни звука «о», потому что «и» и «о» произносятся одновременно. Алексей Конаков пишет: «Обилие шипящих звуков «ф», «ш», «ч» и ударение на «о» в четвертой части случаев придают лосевскому стихотворению плавность, размеренность и какую-то полуалександрийскую, полувологодскую ленивость». Если бы Алексей Конаков переписал стихотворение Лосева по-олбански, ему было бы ясно, что не так уж много там вологодского, если не произносить с вологодским акцентом нарочно (в Вологде библиотеку затопило — это плохо).

И кагда кулаком стучат ка мне ф двери,
кагда арут: у варот сарматы!
аджибуэи! лизгины! гои! —
гаварю: аставьте меня ф пакое.
Удаляюсь ва внутренние пакои,
прахладные сумрачные палаты.

«До дивана не доберусь без одышки» — ни одно «о» не произносится по номиналу.

Отсюда мараль: учите олбанский. Кстати, по-новогречески «стихи» — это просто «данные», data, информация, а звука «ч» в нем нет.

Владимир Кочнев (привет, Володя!) начинает статью по-пушкински: «Лимонов — один из любопытнейших наших поэтов». Володя не боится в трех строчках подряд три раза задействовать слова «поэт» и «прозаик», и это правильно! Я всем в Липках говорил: «обедняйте словарь». Володя пишет далее: «Стилистика вообще изумительная. Тут и «высокие» книжные слова, и общеупотребительные, и литературные. В одной из последних строчек: и гопники, и хулиганы. Гопники — это ведь и есть хулиганы...» Володя! Лимон, Елизаров и Дриманович пишут не на русском, а на харьковском, поэтому Лимон и считает нужным пояснить, что гопники — это хулиганы. Эта фигура, затемняющее пояснение (тавтология, основанная на синонимии), используется довольно часто.

Например, Марта Шарлай использует словосочетание «поэтическое творчество» (поэзия — это и есть «творчество»). Екатерина Качалина — «кредит доверия» (кредит — это и есть «доверие», кто придумал это идиотское сочетание?..). Марта Антоничева считает нужным пояснить прилагательное «практический» прилагательным «функциональный», достигая противоположного результата. У Анастасии Башкатовой рецензент — это «диггер, копатель, золотоискатель». Диггеры вообще-то лазают по московской канализации, какое, спрашивается, золото они могут там найти?.. Кто-то использует сочетание «динамическая сила». Вообще-то «динамис» — это и есть «сила». Технарям это может быть неизвестно, а филологам лучше быть вкурсе. Наконец, какая статья Валерии Пустовой обходится без словосочетания «живая жизнь»?.. Но это понятно, это мировоззрение.

Эту фигуру хорошо стебанула Валерия Жарова в «Явлемно явлать» про Бойко Михаила. На поверку «явлемно явлает» не только Бойко, но и все-все-все. Бойко хорош, что явлемно явлает явно, в то время как остальные делают то же самое испотай.

Г. Дашевский («впечатлительная личность», характеристика Анаст. Башкатовой) и Оробий не поделили пару слов за метатекстуальность. Света Лит-

вак и Галина Щекина в помощь! Чему учит нас Галина Щекина? Она учит нас тому, что писать критику на собственные стихи — это первая обязанность поэта, иначе кто же еще о них напишет. В идеале, конеш, хочется, чтобы стихотворение само было критической статьей для себя, как то получилось у Гронаса. Это сложно, но, короче, надо к этому стремиться. Света Литвак сделала очень хороший ход. Она сделала анаграммы из Байтова. Анаграммы — это когда разбираешь слово на буквы и из этих букв составляешь другие слова. Только Света взяла не слова, а целые строки, то есть упростила себе задачу. Да и буквы лишние остались. Я бы таки задачку усложнил: составляйте анаграммы из слогов, как учил Гаспаров. Чтобы после того, как вы ее нашли, ее нельзя было бы потерять. А лучше писать критику на статью, пользуясь только теми словами, которые уже есть в стихе. Давайте, кстати, я тоже напишу о стихотворении Гронаса. Это очень просто. Я перепишу его целиком и подпишу своим именем. Вуаля.

«Об одном метатекстуальном шедевре Михаила Гронаса
(критическая типо статья)

Это стихотворение написано автором ночью.

Это — двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи сто восемьдесят шестое стихотворение после Освенцима (цифра неточная).

В нем выражаются такие чувства, как тоска по родине, любовь к любимым и дружба с друзьями.

Все это выражено словами.

Василий Ширяев».

Ну, вот и я написал об одном метатекстуальном шедевре Михаила Гронаса. Апропо, анекдот из Гаспарова. Заболела одна старушка графоманией. Приходит к доктору. Доктор говорит: «Ну, читайте хороших поэтов, Пушкина». Приходит, приносит образцовые стилизации. «Ну, тогда читайте критические статьи, Белинского». Приходит-приносит образцовые критические статьи. «Ну, тогда попробуйте написать критику на собственные критические статьи». И графоманию как рукой сняло.

Наталья Черных диалектику учила явно не по Гегелю, а по (не знаю, по кому, по Мережковскому, наверное). Она почему-то считает, что статью следует составлять из парадоксов, напр., «развоплощенность как обретение плоти» (плоть обретается по бартеру, видимо, у Григория Дашевского, который «делится собственной плотью для писательских экспериментов над человеческой природой», по словам Анаст. Башкатовой). Вообще хреновато, что статьи о стихах пишутся так же поэтично, как и сами стихи, просто метафоры новые и необычные переводятся на метафоры старые или стихи переводятся на язык психодрамы. Вспоминаются пародии Владимира Соловьева:

Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полузеркальные
В лавровишневых лесах...

Ну и тд.

Полина Андрукович пишет о стихах рифмованной прозой. Иногда, чтобы выдержать ритм, хочется даже матом ругнуться. Что мелочиться, пишите о стихах стихами, Буало же писал, и ничего.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

— Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет!

— Да зачем мне собаки? я не охотник.

— Да мне хочется, чтоб у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку...

Шестой номер журнала «Октябрь» посвящен 200-летию Белинского. Я, как и все нормальные дети, думал в детстве, что Белинский был отцом тов. Сталина, а тов. Сталин соответственно — сыном Белинского. Может статься, критиком стал тоже поэтому.

Алена Бондарева о Данилкине («Фиги царя Мидаса») пишет тоном Ноздрева, который хвастается борзыми щенками. «Чутье, к слову сказать, у Данилкина развито невероятно». Крепость черных мясов и комкость лап «нахрапистого уроженца» наводит изумление. Алена типо на время забыла, что у царя Мидаса были ослиные уши и поэтому он носил спецшапку, «мидасовку», как у папы римского. И еще Алена пообещала Данилкину место в учебнике «пожизненно», видимо, имея в виду «посмертно». Но место в учебнике хорошо в любом случае. — Кстати, вы знаете, почему Ленин любил сцену охоты в «Войне и мире» перечитывать?.. — Потому что там слова непонятные.

Валерия Пустовая хорошо работает по Анкудинову. Претткновение в том, что Валерия Пустовая и Анкудинов очень похожие по мироощущению люди. Обои любят за мифологию. Поэтому стороннему человеку не очень понятно, что же они делят. Анкудинов пишет о поэзии поэтически (хотя и на удивление ясно), обосновывая тем, что действительность поэтична и люди живут мифами. Проще говоря: мифология на мифологии сидит и мифологией погоняет. Такой же подход у Валерии Пустовой. Если мы находимся внутри мифа и литература — тоже миф, то и статьи можно тоже писать, как Демиург на душу положит. А также Валерия Пустовая пользуется асигматическим аористом «цап».

Марта Антоничева пишет, что Наталья Курчатова — функциональный критик. При этом «лучшей статьей Курчатовой можно назвать «О стихах Родионова», потому что эта статья — не о стихах Родионова». Потому что «стихов Родионова», думаю, не существует». Это прекрасно. Только если лучшая статья автора — о том, чего нет, потому что этого нет, то при чем тут функциональная критика?.. Или я плохо понимаю слово «функциональный»?.. Марта Антоничева не всегда внимательна. Она цитирует Курчатову, при этом не замечая у той ошибки на стр. 164 (второе слово) — «взрос» вместо «возрос». Хотя, может, это питерский акцент такой. У питерских интонации какие-то глумливые, говорил Саша Карасев.

«На рубежах колумнистики» — статья Эли Погорелой о Сергее Белякове. Многим из нас мешает писать критику то, что мы пишем что-то еще и вообще занимаемся разными вещами. Критика, написанная журналистом, критика, написанная историком, критика, написанная поэтом, — это все три большие разницы. Чем в данном случае интересен случай Белякова?.. Во-первых, образ простого читателя можно использовать до известной степени. Когда человек 30 лет в чтении и делает вид, что из фигур знаком только с метафорой, то это вызывает сомневания. Во-вторых, когда критик одновременно историк, это ставит вопрос за индентичность. Кто он в первую очередь: критик или историк? русский или православный? немец или австриец? пельмень или равиоль?.. Иначе говоря, литература — часть истории или история — часть литературы?.. Вот Пустовая с Анкудиновым реально похерили бы тему и ска-

зали, что и то, и другое — мифология (в просторечии вранье). И это верно. Потому что история нам известна только из источников, а источники — это литература. А рабочая («функциональная») мифология возникает, когда появляется явлемно являющий обло и озорно призрак истории, независимый от источников. Наконец есть техническое решение. Если большую часть своего времени ты тратишь на историю, а меньшую часть — на литературу, то ты — историк. Хотя опять-таки история известна нам только из источников, и я не хотел бы встретиться с Большой Историей в темном переулке. (Да, Эля, разве можно «искриться оттенками»?.. А впрочем, смелый образ.)

Очень хорошая статья Алисы Ганиевой про меня.

Статьи в журнале «Октябрь» написаны предложениями. Все предложения длинные, только последнее предложение короткое. «Штирлиц знал, что запоминается только последняя фраза».

Василий ШИРЯЕВ,
Камчатка, поселок Вулканный

Содержание журнала «Урал» за 2011 год

ПОЭЗИЯ

ПРОЗА

ДРАМАТУРГИЯ

ДЕТСКАЯ

ПАЛАТКА №6

БЕЗ ВЫМЫСЛА

БОРИС РЫЖИЙ: 10 ЛЕТ СПУСТЯ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРАЕВЕДЕНИЕ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЧЕРНАЯ МЕТКА

Рубрику ведет Александр КУЗЬМЕНКОВ

СЛОВО И КУЛЬТУРА

Рубрику ведет Юрий КАЗАРИН

КРИТИКА ВНЕ ФОРМАТА

Рубрику ведет Василий ШИРЯЕВ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

К сведению авторов:

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Свидетельство о регистрации № 225 выдано Министерством печати и массовой информации РСФСР 17 октября 1990 г.

Журнал «Урал» — постоянный член международной ассоциации «Форум европейских журналов» (5.12.2002 г., Будапешт).

Редакция журнала «Урал»:
620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24
Телефоны: 3-765-741 — гл. редактор, зам. главного редактора по развитию
3-765-625 — отдел прозы, отдел поэзии
3-765-754 — отдел публицистики, отдел критики

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ГУП СО «Асбестовская типография», 624260, г. Асбест, ул. Садовая, 5
Подписано в печать 11.11.2011
Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2
Уч.-изд. л. 20,6
Тираж 2000
Заказ № 4770

Сайт журнала «Урал»:
http://uraljournal.ru/
Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/ural/
Адрес электронной почты: editor.ural@mail.ru

Максимилиан Волошин
Парижу

Е.С. Кругликовой

Неслись года, как клочья белой пены...
Ты жил во мне, меняя облик свой;
И, уносимый встречною волной,
Я шел опять в твои замкнуться стены.
Но никогда сквозь жизни перемены
Такой пронзенной не любил тоской
Я каждый камень вещей мостовой
И каждый дом на набережных Сены.

И никогда в дни юности моей
Не чувствовал сильнее и больней
Твой древний яд отстоенной печали

На дне дворов, под крышами мансард,
Где юный Дант и отрок Бонапарт
Своей мечты миры в себе качали.

19 апреля 1915
Париж

ISSN0130-5409 Урал, 2011, 12, 240 Индекс 73412

Журнал "Урал" вы можете приобрести в редакции, театральном киоске Дома Актёра (ул. 8 Марта, 8), киосках "Роспечати", а также в екатеринбургских магазинах:

"Дом книги" (ул. Антона Валека, 12)
"Книга 343" (ул. Ленина, 41)
"100000 книг" (ул. Тургенева, 13)
"Книжный терминал" (ул. Челюскинцев, 23, ул. Декабристов, 51)
"Академическая книга" (ул. Мамина-Сибиряка, 137)

Подписывайтесь на журнал с любого месяца во всех почтовых отделениях России. Общероссийский индекс **73412**

Льготный индекс для подписчиков Екатеринбурга и Свердловской области **46358**

Подписку на журнал "Урал" можно оформить также в Центре подписки и доставки ООО "Урал-Пресс Город" по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130, телефоны: 26-26-543, 26-27-898

Информационные спонсоры журнала "Урал":





Культур Мультур .com





УРАЛ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 2011

12